

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. М. В. ЛОМОНОСОВА

---

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
КАФЕДРА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

# СЛАВЯНСКИЙ ВЕСТНИК

**Выпуск 1**

Под редакцией  
В. П. Гудкова и А. Г. Машковой

Издательство Московского университета  
**2003**

УДК 802/809.1; 82 (091)  
ББК 81.2; 83.3 (4)  
С 47

**К 250-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**К 60-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета  
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Рецензенты:  
д. ф. н. Е. А. Галинская,  
д. ф. н. Д. П. Ивинский

Под редакцией  
В. П. Гудкова и А. Г. Машковой

*Издание осуществлено за счет средств  
филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова*

Электронная версия сборника, опубликованного в 2003 году.  
Расположение текста на некоторых страницах электронной версии может не  
совпадать с расположением того же текста книжного издания.  
При цитировании ссылки на книжное издание обязательны.

С 47 **Славянский вестник:** Выпуск 1 / Под ред. В. П. Гудкова и  
А. Г. Машковой – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 264 с.  
ISBN 5-211-06143-8

Научное филологическое издание «Славянский вестник» является  
продолжением публиковавшейся ранее в МГУ им. М. В. Ломоносова се-  
рии сборников «Славянская филология» и содержит статьи по пробле-  
мам славянских языков, литератур, межславянских связей и истории  
науки. Адресовано широкому кругу филологов-славистов.

**УДК 802/809.1; 82 (091)**  
**ББК 81.2; 83.3 (4)**

ISBN 5-211-06143-8

© Филологический факультет  
МГУ им. М. В. Ломоносова, 2003

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

К основанию нового продолжающегося издания кафедры славянской филологии .....	5
---	---

### МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНЫХ ЧТЕНИЙ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ ВОССОЗДАНИЯ В МГУ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (1941–2001)

<i>К. В. Лифанов.</i> Вклад лингвистов кафедры славянской филологии в изучение истории славянских литературных языков.....	8
<i>А. Г. Машкова.</i> Популяризация славянских литератур в Советском союзе и России членами кафедры славянской филологии .....	19
<i>Т. С. Тихомирова.</i> Вклад лингвистов кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ в славянское сопоставительное языкознание.....	28

### ЯЗЫКОЗНАНИЕ

<i>В. Ф. Васильева, А. Г. Широкова.</i> Чешский язык в новом тысячелетии (общая характеристика языковой ситуации и динамических инноваций).....	46
<i>Н. Е. Ананьева.</i> Морфонологические типы субстантивных парадигм, функционирующие в подсистеме иноязычной лексики чешского языка и в его обиходно-разговорной разновидности .....	70
<i>В. Е. Моисеенко.</i> Ещё раз об истории слова <i>водка</i> (этимологический этюд) .....	84
<i>Е. И. Якушкина.</i> Анатомия стыда (этическая семантика соматизмов в славянских языках) .....	96
<i>Ф. Б. Людоговский.</i> Современный церковнославянский язык: обоснование существования и определение понятия.....	106
<i>А. А. Хрущёва.</i> К изучению своеобразия церковнославянского языка русской редакции у сербов («Рѣководство къ славенскѣй грамматикѣ» Аврама Мразовича).....	120

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<i>А. Г. Машкова.</i> Соотношение реального и фантастического в новелле Ф. Швантнера «Пиарги» и повести Ш.-Ф. Рамю «Дерборанс» .....	165
<i>С. Н. Мецзяков.</i> Сербский исторический роман первой половины XX века .....	175
<i>С. В. Клементьев.</i> Творчество Михала Хороманьского 1930-х годов .....	190
<i>А. Г. Шешкен.</i> Поэма «Вероника» Максима Богдановича в контексте русских и европейских литературных традиций.....	201
<i>Е. Н. Ковтун.</i> Из опыта изучения и преподавания истории славянских литератур в России (В. И. Григорович – А. Н. Пыпин) .....	211
<i>Н. Н. Старикова.</i> Словенская литература как предмет научного изучения (из истории российской академической славистики) .....	227

## ИСТОРИЯ

<i>В. П. Гудков.</i> К изучению русских связей Вука Караджича. Караджич и Александр Тургенев .....	237
--	-----

## ХРОНИКА

<i>К. В. Лифанов.</i> Научная стажировка в Питтсбургском университете (США) .....	250
<i>О. А. Остапчук.</i> Научная стажировка в Гарвардском университете.....	252

## БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание сборников статей «Славянская филология» и «Исследования по славянскому языкознанию».....	256
---	-----

## **К ОСНОВАНИЮ НОВОГО ПРОДОЛЖАЮЩЕГОСЯ ИЗДАНИЯ КАФЕДРЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**

Славяноведение как широкая многоаспектная дисциплина или, точнее, совокупность дисциплин (славянское языкознание, история славянских литератур и фольклор, национальная история и культура славян) было введено в систему высшего гуманитарного образования в России университетским уставом 1835 г. с учреждением должности одного профессора, слависта-универсала.

Развитие науки, дифференциация ее ветвей, углубление специализации славяноведов и назревшая в XX веке потребность в подготовке гуманитариев, активно владеющих славянскими языками и высоко компетентных в сфере литературы и культуры, обусловили необходимость организации в вузах коллективных научно-педагогических подразделений – кафедр славянской филологии.

В Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова такая кафедра – объединение профессоров и преподавателей, специалистов по отдельным славянским языкам и истории славянских литератур – была открыта во время Великой Отечественной войны, в 1943 г.

За шестьдесят лет своего существования, из года в год расширяясь и укрепляясь, кафедра подготовила сотни дипломированных филологов-славистов, успешно работающих в вузах, научных институтах, издательствах, в редакциях средств массовой информации, библиотеках, в дипломатических и торгово-экономических представительствах – всюду, где востребованы специалисты, владеющие славянскими и другими европейскими языками и хорошо осведомленные в литературе и культуре славянских и иных народов мира.

Для нормального функционирования кафедры и учебного славянского отделения было необходимо, во-первых, создать учебный план и программы славистических курсов; во-вторых, организовать подготовку учебных пособий; в-третьих, развернуть научно-исследовательскую работу.

«Был разработан учебный план отделения, содержащий общелингуистические дисциплины, курсы славянских языков и литератур в их историческом развитии и современном состоянии, а также ряд курсов по русскому языку и отечественной литературе», – вспоминал фактический основатель кафедры С. Б. Бернштейн (номинально ею в 1943–1947 гг. заведовал акад. Н. С. Державин)<sup>1</sup>. Концепция учебного плана, в котором

---

<sup>1</sup> *Бернштейн С. Б.* Становление славянского отделения на филологическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова //

сопрягаются курсы общелингвистической значимости (включая изучение классических языков), фундаментальные курсы инославянских языков и литератур и дисциплины русистики, успешно выдержала испытание временем.

Для обеспечения учебного процесса работники кафедры изготовили и издали несколько практических (поурочных) учебников славянских языков, в частности пособия по болгарскому языку (С. Б. Бернштейн), чешскому (в двух томах, авторский коллектив под руководством А. Г. Широковой), сербохорватскому (советско-югославский коллектив авторов при участии М. П. Киршовой) и др., описания фонетики, грамматического строя и лексического состава отдельных славянских языков (книги А. Г. Широковой, Т. С. Тихомировой, В. П. Гудкова, Т. П. Поповой, О. С. Плотниковой, Р. П. Усиковой, К. В. Лифанова). Выпущен обзорный труд «Славянские языки (Очерки грамматики западнославянских и южнославянских языков)» под редакцией А. Г. Широковой и В. П. Гудкова. Недавно, в 2001 г., вышла в свет новаторская «Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком» Н. В. Котовой и М. Янакиева. Опубликован ряд словарей болгарского, сербохорватского, словенского и македонского языков (составители – С. Б. Бернштейн, И. И. Толстой, В. П. Гудков, О. С. Плотникова, Р. П. Усикова)<sup>1</sup>.

Создан фундаментальный двухтомный «Очерк сравнительной грамматики славянских языков» С. Б. Бернштейна, а также «История и диалектология польского языка» Н. Е. Ананьевой.

Пособия по славянским литературам представлены, в частности, книгой Р. Р. Кузнецовой «История чешской литературы» и трудом российско-словацкого коллектива авторов под редакцией А. Г. Машковой и С. С. Скорвида «Словацкая литература. От истоков до конца XIX века», а также учебником Н. И. Кравцова «Славянский фольклор».

Кафедра славянской филологии МГУ стала авторитетным научным центром. Активная исследовательская деятельность ее сотрудников нашла воплощение в текстах кандидатских и докторских диссертаций (в последнее время докторские работы защитили В. Ф. Васильева, Н. Е. Ананьева, Е. Н. Ковтун, К. В. Лифанов), в монографиях (таких как «Разыскания в области болгарской исторической диалектологии»

---

Актуальные проблемы славянской филологии (материалы научной конференции). М., 1993. С. 7.

<sup>1</sup> Подробнее о научно-издательской деятельности членов кафедры см. в кн. «Филологический факультет Московского университета. Очерки истории». М., 2001. С. 204–220 (другое издание: «Филологический факультет Московского университета. Очерки истории». Ч. I. М., 2000. С. 203–219).

С. Б. Бернштейна, «Из истории польско-русских литературных связей XIX–XX вв.» Е. З. Цыбенко, «Особенности развития болгарской прозы 60–80-х гг. XX в.» З. И. Карцевой, «Поэтика необычайного» Е. Н. Ковтун и др.), в многочисленных статьях, опубликованных в журналах и тематических отечественных и зарубежных сборниках.

С 1951 г. кафедра имела свой печатный орган: периодически издававшийся сборник научных статей под общим названием «Славянская филология». В нем печатались исследовательские работы по славянскому языкознанию и литературоведению, в некоторых выпусках с участием лингвистов-русистов<sup>1</sup>. К сожалению, в 80-х гг. прошлого века издание сборников «Славянская филология» прекратилось.

Теперь, в год своего шестидесятилетия, кафедра возобновляет подготовку и выпуск серии научных сборников по проблемам славянских языков, литератур, фольклора, межславянских культурных связей. Сборникам дано новое единое название, поскольку словосочетание «Славянская филология» фигурирует на титульных листах многих книг, в частности в продолжающихся публикациях Санкт-Петербургского университета.

Предполагается сделать содержание новых сборников (в отличие от прежних) более разнообразным. Планируется публиковать не только научные статьи, но и актуальную информацию о работе кафедры, славянского учебного отделения, о новых изданиях, международном сотрудничестве, научных конференциях, защите диссертаций и т. п. Надеемся, что внешние обстоятельства будут благоприятствовать возобновляемому продолжающемуся изданию кафедры.

*В. П. Гудков*

---

<sup>1</sup> Перечень материалов сборников «Славянская филология» публикуется ниже в разделе «Библиография».

**МАТЕРИАЛЫ ЮБИЛЕЙНЫХ ЧТЕНИЙ  
В ОЗНАМЕНОВАНИЕ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ  
ВОССОЗДАНИЯ В МГУ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (1941–2001)**

---

*К. В. Лифанов*

**ВКЛАД ЛИНГВИСТОВ КАФЕДРЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ**

Как известно, история славянских литературных языков – новая область славистики, становление которой как самостоятельной лингвистической дисциплины продолжается и в настоящее время. «Здесь еще много нерешенных вопросов в самой теории, в принципах анализа материала, идут споры по кардинальным проблемам этой области славянского языкознания» [Бернштейн 1977 : 52]. Зарождение истории славянских литературных языков связано с именами Н. С. Грубецкого, Б. Гавранека, В. В. Виноградова, Г. О. Винокура и др. [Голстой 1990 : 459]. К числу лингвистов, стоявших у истоков истории славянских литературных языков, с полным правом следует отнести С. Б. Бернштейна, занимавшегося как разработкой основополагающих понятий теории и истории литературных языков, так и конкретными вопросами формирования ряда славянских литературных языков (польского, македонского, болгарского). Значение работ С. Б. Бернштейна по данной проблематике особенно наглядно вырисовывается при проекции их содержания на последующее развитие данной лингвистической дисциплины. Становится ясным, что они либо непосредственно способствовали продвижению науки об истории литературного языка в том или ином направлении, поскольку другие авторы в своих исследованиях часто руководствовались идеями С. Б. Бернштейна, либо это развитие было объективным и С. Б. Бернштейн его предвидел.

Поскольку в 50-е – 60-е гг. еще не было ясного представления даже о предмете изучения истории литературного языка, С. Б. Бернштейн обращается к раскрытию понятий, которые в значительной степени благодаря его работам стали общепринятыми. Так, в работе «К изучению истории болгарского литературного языка» дается определение истории литературного языка и устанавливаются конкретные направления исследования в данной лингвистической дисциплине: «История литературного языка – это создание единых произносительных и орфографических норм, взаимодействие литературного языка и народных говоров, взаимодействие письменного языка и разговорного, обогащение и развитие различных стилей литературного языка, создание специальной



терминологии (научной, административной, военной и т. д.), степень и характер влияний книжного языка более ранней эпохи, влияние иностранных языков и, конечно, язык художественной литературы и публицистики» [Бернштейн 1963 : 35]. С. Б. Бернштейн подчеркивает, что история литературного языка не сводится к истории языка художественной литературы, что в то время еще не было очевидным. При этом он делает чрезвычайно важное замечание о том, что язык конкретного автора или отдельного художественного произведения может быть объектом изучения как литературоведа, так и лингвиста, однако содержание литературоведческого и лингвистического анализа оказывается совершенно различным. Лингвисты в языке писателей выявляют прежде всего представленные в нем общенародные элементы и таким образом исследуют роль писателей в формировании общего литературного языка, тогда как литературоведов, напротив, интересуют их индивидуальные особенности. Спецификой лингвистического анализа языка писателя является также отсутствие эстетических критериев, которые для литературоведа имеют первостепенное значение.

Следующим важным теоретическим положением, выдвинутым С. Б. Бернштейном, является необходимость различения современного литературного языка и литературного языка донационального периода (в терминологии С. Б. Бернштейна – литературного и письменного языка – *К. Л.*). Первый представляет собой «ту последнюю стадию развития письменного и разговорного языка определенной нации, когда для всей территории, для всего государства устанавливаются единые орфографические и произносительные нормы. Нормы литературного языка являются обязательными. Начальный этап развития литературного языка и характеризуется складыванием этих норм» [Бернштейн 1963 : 37].

Важнейшим вкладом С. Б. Бернштейна в историю славянских литературных языков также является целый ряд положений, которые предвосхитили развитие отдельных направлений исследования в этой области языкознания. Еще в работе «К вопросу о диалектной основе польского литературного языка» он отмечает тот факт, что исследователи не учитывают того, что литературный язык возник не только на какой-то территории, но и в определенной социальной среде [Бернштейн 1941 : 99]. И далее: «...мы не знаем ни одной серьезной попытки социологического объяснения различных фактов из области истории или диалектологии польского языка» [с. 105]. Данное высказывание о необходимости социолингвистического подхода к изучению истории литературного языка, что в полной мере характеризует эту дисциплину только в работах самого последнего времени, являлось поистине новаторским. Это осо-

бенно впечатляет, если учесть, что данная работа, опубликованная в 1941 году, в действительности была написана в 1929 г.

С. Б. Бернштейн также высказывал мысль о необходимости разработки принципов сравнительной грамматики славянских литературных языков. Отмечая, что попытки ее создания предпринимались еще в 30-е гг. XX в., которые, однако, закончились неудачей, С. Б. Бернштейн выдвигает тезис о том, что сравнительная грамматика славянских литературных языков должна строиться не на базе их генетического родства, а с точки зрения их типологии [Бернштейн 1977 : 57]. Позже эта идея нашла реализацию в монографии Н. И. Толстого [Толстой 1988].

До настоящего времени сохраняет актуальность и замечание С. Б. Бернштейна о том, что вопрос о диалектной базе литературного языка представляет собой сложную лингвистическую проблему, однако при ее изучении исследователи часто «ограничиваются двумя-тремя характерными фонетическими признаками, не учитывая того, что только всесторонний анализ может дать удовлетворяющие ответы» [Бернштейн 1941 : 99].

Важное значение для славистики имеют труды С. Б. Бернштейна, посвященные вопросам формирования отдельных славянских литературных языков – польского, болгарского, македонского [Бернштейн 1941, 1948, 1960, 1963 и др.]. Существенными были и остаются также выдвинутые конкретные задачи, стоящие перед славистами. В частности, С. Б. Бернштейн подчеркивал необходимость осветить в особой монографии историю локальных литературных языков, которые позже стали предметом изучения, в частности, А. Д. Дуличенко [Дуличенко 1981], попытку кашубов создать свой литературный язык, а также «историю языковой ситуации у хорватов, ситуацию очень сложную и противоречивую, изложенную в ряде работ неудовлетворительно» [Бернштейн 1977 : 52].

В дальнейшем изучение истории славянских литературных языков на кафедре славянской филологии продолжалась главным образом в тех направлениях, которые были очерчены в трудах С. Б. Бернштейна.

Вопросы теории литературного языка рассматривались прежде всего в работах В. П. Гудкова, причем анализ материала, относящегося к истории сербского литературного языка, позволил сделать существенные для общей теории литературного языка обобщения. Во-первых, В. П. Гудков предлагает развести понятия «литературный сербский язык» и «литературный язык у сербов», то есть по сути устранить представление о том, что литературные языки возникают исключительно на базе диалектной речи, что типично для национальных лингвистик славянских народов. Во-вторых, также чрезвычайно важным является осознание противопоставленности функций литературного

языка и диалектной речи. Совокупность двух названных теоретических положений позволило В. П. Гудкову предложить универсальное определение литературного языка безотносительно времени его функционирования: «Литературный язык есть система (системы) (общепринятых речевых средств выражения (фиксации) социально значимой информации (производственной, мировоззренческой, художественной и т. п.) с целью ее передачи в пространстве (между соотечественниками) и во времени (между представителями разных поколений)» [Гудков 1993а : 7].

Сущность терминов «стандартный язык», «языковой стандарт», «стандартность» уточняется Р. П. Усиковой [Усикова 1997 : 81]. Существующая классификация литературных языков в соответствии с их характером и выполняемыми функциями существенно дополняется и детализируется С. С. Скорвидом [Скорвид 1997], рассматривающего в этом аспекте так называемые малые славянские литературные языки. Проблема механизма формирования литературного языка на базе близкородственного, но иного славянского языка изучается К. В. Лифановым [Лифанов 2000; Lifanov 2001].

Для лингвистов кафедры славянской филологии, занимающихся изучением истории славянских литературных языков, всегда было характерным осознание того, что перед историей конкретных славянских литературных языков стоят важнейшие задачи, которые еще предстоит решать исследователям, и в этом видится причина того, что их исследования оказывались на передовых позициях, то есть работа по изучению истории литературных языков велась с опережением национальных лингвистик. Так, О. С. Плотникова прямо пишет о том, история «словенского литературного языка пока еще не сложилась в самостоятельную лингвистическую дисциплину. Внимание исследователей было сосредоточено в основном на решении отдельных частных проблем. Целый ряд работ, посвященных различным периодам истории словенского языка, носит обзорный характер» [Плотникова 1993 : 79]. А. Г. Широкова подчеркивает необходимость изучения разговорного чешского языка в период национального возрождения и на основании изученного конкретного материала делает наиболее общие заключения относительно его характера [Широкова 1998]. Р. П. Усикова отмечает, что вопрос соотношения между македонским литературным языком и литературой, фольклором, культурой и этносом требует специального изучения [Усикова 1997 : 82]. К. В. Лифанов также отмечает целый ряд проблем, остающихся неизученными в истории словацкого литературного языка [Лифанов 2001]. Все это является залогом того, что кафедра славянской филологии не утратит свои позиции и в будущем.

Но, естественно, лингвисты кафедры славянской филологии не только выдвигали проблемы, стоящие перед историей отдельных славянских литературных языков, но и решали многие из них. Во-первых, следует прежде всего отметить обширные работы общего характера, в которых комплексно рассматриваются проблемы формирования чешского [Широкова, Нещименко 1978] и словенского [Плотникова 1978] литературных языков в период национального возрождения на широком историко-культурном фоне. Сам факт участия лингвистов кафедры в данном проекте является признанием А. Г. Широковой и О. С. Плотниковой ведущими специалистами в данной области славистики.

Через всю исследовательскую работу В. П. Гудкова проходит проблема противоборства концепций «славеносербского» литературного языка и литературного языка, формировавшегося на народно-диалектной основе. В этой связи отметим прежде всего статью «О феномене литературного языка в свете истории литературного языка у сербов» [Гудков 1999а], в которой дается исчерпывающая характеристика чрезвычайно сложной литературно-языковой ситуации у сербов в XVIII – начале XIX в., а также конкретных идиомов, функционировавших в Сербии в указанный период, и особенно монографию «Сербская лексикография XVIII века» [Гудков 1993б], в которой это противоборство оригинально рассматривается на материале различных словарей.

В книге Н. Е. Ананьевой «История и диалектология польского языка» дается общая характеристика основных этапов развития польского литературного языка и характеристика важнейших памятников польской письменности, относящихся к разным периодам, а также освещается дискуссионный вопрос о его диалектной базе [Ананьева 1994 : 29–55].

Существенным вкладом в македонистику, безусловно, являются работы Р. П. Усиковой, поскольку в них рассматриваются основополагающие вопросы формирования и развития македонского литературного языка. Прежде всего, это его развернутая типологическая характеристика в лингвистическом, парадигматическом и синтагматическом аспектах как с синхронной, так и с диахронической точки зрения, а также в культурно-историческом аспекте [Усикова 1998], несколько раз на протяжении веков менявшаяся языковая ситуация в Македонии [Усикова 1997, 1999] и периодизация истории современного македонского литературного языка в соответствии со степенью его нормированности и выполняемыми функциями [Усикова 1988].

Динамически менявшаяся в течение нескольких столетий языковая ситуация в Словакии рассматривается К. В. Лифановым [Лифанов 1997], предложившим ее новую периодизацию [Lifanov 1999; Лифанов 2000б].

Также общий характер имеет развернутая статья О. А. Остапчук [Остапчук, в печати], в которой разноаспектно рассматриваются значительные изменения языковой ситуации на Правобережной Украине на рубеже XVIII–XIX вв., что было обусловлено изменением государственных границ. Кроме того, О. А. Остапчук рассматривает типологическую модель украинского литературного языка в сопоставлении с русским и польским литературными языками [Остапчук 2001], что также является новым и перспективным направлением истории славянских литературных языков.

Чрезвычайно важное значение для истории славянских литературных языков имеет изучение взглядов выдающихся деятелей славянского возрождения, кодификаторов славянских литературных языков, в частности, Й. Добровского и Й. Юнгмана [Широкова, Нешименко 1978, 1981], В. Караджича и П. Й. Шафарика [Гудков 1999б, 1995], преломления идеи славянской взаимности Я. Коллара во взглядах деятелей словенского национального возрождения [Плотникова 1998]. Безусловно, объектом истории славянских литературных языков является и оценка роли предшественников в деле их изучения, чему посвящен целый ряд работ В. П. Гудкова [см., например, Гудков 1999г, 1999д], а также, напротив, характеристика самых последних публикаций, посвященных рассматриваемой проблематике [Ананьева 1997].

История славянских литературных языков охватывает значительный хронологический отрезок с момента их зарождения до изменений норм, происходящих в самое последнее время. В связи с этим интересы лингвистов кафедры славянской филологии чрезвычайно разнообразны. На крайних полюсах здесь оказываются, с одной стороны, работы, О. С. Плотниковой о языке «Фрейзингенских отрывков» [Плотникова 2001], а также Н. Е. Ананьевой о древнейших памятниках польской письменности [Ананьева 1994 : 36–48], и, с другой, – статьи Р. П. Усиковой, посвященные изменениям кодификации македонского литературного языка 1950 г. и их последствия для его морфологической системы [Усикова 1965], а также В. П. Гудкова о различиях между сербским и хорватским вариантами сербохорватского литературного языка, проявляющихся на разных уровнях [Гудков 1999в], а также о статусе, структуре и названии литературного языка боснийских мусульман [Гудков 2001].

Важное место в работах лингвистов кафедры славянской филологии занимает изучение конкретного языкового материала, что в конечном итоге позволяет решать различные проблемы общего характера, связанные как с модификацией концепций истории отдельных славянских литературных языков, так и с освещением отдельных аспектов их развития. Изучение конкретного языкового материала для истории ли-

тературного языка имеет чрезвычайно важное значение, поскольку только таким образом можно перейти от изучения внешней истории к истории внутренней, разрабатываемой в значительно меньшей степени. Смещение же акцента с внешней истории на внутреннюю во многом позволяет избавиться от излишней политизации истории отдельных славянских литературных языков.

Конкретный языковой материал представлен во многих работах лингвистов кафедры славянской филологии. Так, например, А. Г. Широкова и Г. П. Нещименко иллюстрируют «расшатанность» норм чешского литературного языка во второй половине XVII века, приводя примеры из письма знатной и образованной чешской дворянки З. Черниновой сыну [Широкова, Нещименко 1978 : 15–16], а также из грамматики В. Росы, позволяющие сделать вывод о характере разговорного чешского языка в период национального возрождения [Широкова 1998]. О. С. Плотникова убедительно демонстрирует изменения норм словенского литературного языка в XIX веке, связанное с поиском его оптимальной модели, приводя примеры из грамматик и иных лингвистических публикаций того времени [Плотникова 1998]. Р. П. Усикова, обосновывая факт существования македонского наддиалектного койне, приводит его конкретные особенности в области лексики, просодии, фонетики и морфологии [Усикова 1997]. Тот же автор на конкретных примерах демонстрирует явления интерференции македонского и сербохорватского языков [Усикова 1999]. В. П. Гудков к анализу языкового материала обращается во многих работах. Особо подчеркнем уже названную монографию «Сербская лексикография XVIII века». К. В. Лифанов при обосновании оригинальной концепции возникновения и дальнейшего развития словацкого литературного языка исходит преимущественно из анализа конкретного языкового материала [например, Лифанов 2000а, 2001]. И, наконец, исключительно на анализе конкретного языкового материала базируются работы О. А. Ржанниковой, рассматривающей процесс становления научного стиля болгарского литературного языка [Ржанникова 1999, 2000]. Заметим, что подобного рода работы в славистике отсутствуют.

Лингвисты кафедры славянской филологии всегда находились среди лидеров науки о славянских литературных языках, что проявляется в изменении характера исследований, обусловленном развитием данной лингвистической дисциплины и возникновением пристального внимания к новым аспектам исследования. Так, уже отмечался интерес, проявляемый к типологическим характеристикам славянских литературных языков. Иллюстрацией этого также может служить усиление социолингвистической направленности в изучении истории славянских литератур-

ных языков. Учет социолингвистических характеристик при описании, таких, как функции литературного языка, специфика его употребления в различных сферах коммуникации, динамика социального состава его носителей и др., характерен, в частности, для работ А. Г. Широковой и Г. П. Нецименко [например, Широкова, Нецименко 1978] и О. С. Плотниковой [Плотникова 1978]. В последних же работах лингвистов кафедры славянской филологии социолингвистический фактор становится еще более значительным. На его основе, и в частности на изменении функций, строится периодизация македонского литературного языка Р. П. Усиковой [Усикова 1988]; различия в функционировании литературных языков Малой Славии позволяют С. С. Скорvidу более детализированно представить классификацию славянских литературных языков [Скорвид 1997]; рассмотрение развития словацкого литературного языка под углом зрения важнейшего для него конфессионального фактора делают возможным существенно изменить концепцию истории словацкого литературного языка [Лифанов 2000б], изучение статусных характеристик языков, присутствующих в коммуникативной системе Правобережной Украины на рубеже XVIII–XIX вв., способствуют иному изложению истории украинского литературного языка в названный период [Остапчук, в печати]. Представляется, что в русле современных направлений изучения истории славянских литературных языков лежит и интерес К. В. Лифанова к языку словацкого фольклора и его связи с современным словацким литературным языком [Lifanov 1995; Лифанов 1998].

Отметим также в качестве весьма существенной особенности всех лингвистов кафедры славянской филологии, занимающихся проблематикой формирования славянских литературных языков, то, что в своих исследованиях они исходят из взглядов на литературный язык Н. С. Трубецкого [Трубецкой 1995].

Подводя итоги, констатируем, что кафедра славянской филологии является одним из наиболее крупных центров по изучению истории славянских литературных языков и имеет все условия для того, чтобы еще более упрочить свои позиции в этой области лингвистики.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Ананьева Н. Е.* История и диалектология польского языка. М., 1994.  
*Ананьева Н. Е.* Новые исследования по истории польского языка (работы 80–90-х годов) // Совещание-семинар преподавателей польского языка, работающих в университетах России и других славянских стран. М., 1997. С. 7–9.

- Бернштейн С. Б.* К вопросу о диалектной основе польского литературного языка // Известия ОЛЯ, 1941, № 1. С. 99–105.
- Бернштейн С. Б.* Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. Т. 1. Язык валашских грамот XIV–XV вв. М.–Л., 1948.
- Бернштейн С. Б.* Из истории македонского литературного языка. «Вардар» К. П. Мисиркова // Славянская филология, Вып. 3, 1960. С. 70–79.
- Бернштейн С. Б.* К изучению истории болгарского литературного языка // Вопросы теории и истории языка. Сб. в честь профессора Б. А. Ларина. Л., 1963. С. 34–41.
- Бернштейн С. Б.* Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков // Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977. С. 135–150.
- Гудков В. П.* Книжно-письменный язык у сербов в XVIII – начале XIX вв. // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. С. 179–197.
- Гудков В. П.* Вопросы теории литературного языка в свете истории литературного языка у сербов // Историко-культурные и социолингвистические аспекты изучения славянских литературных языков эпохи национального возрождения. М., 1993а. С. 6–7.
- Гудков В. П.* Сербская лексикография XVIII века. М., 1993б.
- Гудков В. П.* П. Й. Шафарик о взаимоотношении южнославянских языков // Павел Йозеф Шафарик: К 200-летию со дня рождения. М., 1995. С. 44–50.
- Гудков В. П.* О феномене литературного языка в свете истории литературного языка у сербов // Славистика. Сербистика. М., 1999а. С. 73–84.
- Гудков В. П.* Величие Вука Караджича // Славистика. Сербистика. М., 1999б. С. 85–93.
- Гудков В. П.* К изучению сербско-хорватских языковых дивергенций // Славистика. Сербистика. М., 1999в. С. 171–188.
- Гудков В. П.* О приоритетных заслугах русских филологов в изучении сербского рукописного достояния XII–XVIII вв. // Славистика. Сербистика. М., 1999г. С. 48–58.
- Гудков В. П.* Фрагменты караджичианы // Славистика. Сербистика. М., 1999д. С. 107–124.
- Гудков В. П.* О статусе, структуре и названии литературного языка боснийских мусульман // Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. М., 2001. С. 24–25.
- Дуличенко А. Д.* Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития. Tallin, 1981.



- Лифанов К. В.* Динамика литературно-языковой ситуации в Словакии в XIV–XIX вв. // Australian Slavonic and East European Studies, Volume 11, Numbers 1/2, 1997. P. 19–33.
- Лифанов К. В.* Формы проникновения среднесловацкого фольклорного койне в сферу авторской поэзии (конец XVIII в. – первая половина XIX в.) // Wiener Slavistisches Jahrbuch, Band 44, 1998. S. 99–113.
- Лифанов К. В.* Язык духовной литературы словацких католиков XVI–XVIII вв. и кодификация А. Бернолака. М., 2000а.
- Лифанов К. В.* Новая периодизация истории словацкого литературного языка // Слов’янський збірник. Випуск VII. Одеса, 2000б. С. 54–59.
- Лифанов К. В.* Генезис словацкого литературного языка. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 2001.
- Плотникова О. С.* Некоторые особенности формирования словенского литературного языка до середины XIX в. // Актуальные проблемы славянской филологии (материалы научной конференции). М., 1993. С. 79–80.
- Плотникова О. С.* Становление словенского литературного языка в период национального возрождения // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 329–353.
- Плотникова О. С.* Идея славянской взаимности и словенский литературный язык XIX века // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998. С. 135–150.
- Плотникова О. С.* Фрейзингенские отрывки // Словенско-русский альманах. М., 2001. С. 50–55.
- Останчук О. А.* К вопросу о типологическом профиле украинского литературного языка (на фоне русского и польского литературных языков) // Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания. М., 2001. С. 90–94.
- Останчук О. А.* Изменение государственных границ как фактор формирования языковой ситуации на Правобережной Украине на рубеже XVIII–XIX вв. // Регионы и границы. М., в печати.
- Ржанникова О. А.* Особенности функционирования форм изъявительного и пересказывательного наклонений в болгарских научных текстах второй половины XIX – начала XX века // Вестник МГУ. Серия 9. Филология, 1999, № 6. С. 69–79.
- Ржанникова О. А.* Формирование научного стиля болгарского литературного языка. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 2000.

- Скорвид С. С.* Малые славянские языки: в каком смысле? // Малые языки Евразии: социолингвистический аспект. Сборник статей. М., 1997. С. 179–189.
- Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
- Толстой Н. И.* Славистика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 458–459.
- Трубецкой Н. С.* Общеславянский элемент в русской культуре // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995. С. 162–210.
- Усикова Р. П.* О некоторых изменениях норм в македонском литературном языке // История славянских литературных языков. М., 1965. С. 35–40.
- Усикова Р. П.* Этапы становления и развития македонского литературного языка // Теория и практика изучения славянских языков. М., 1988. С. 4–14.
- Усикова Р. П.* Языковая ситуация в Республике Македония и современное состояние македонского языка // Славяноведение, 1997, № 2. С. 11–17.
- Усикова Р.* Кон типологијата на македонскиот литературен (стандарден) јазик // Науката и културата за заедничка иднина на Југоисточна Европа. Скопје, 1998. С. 81–95.
- Усикова Р. П.* Языковая ситуация в Македонии и явления языковой интерференции и диглоссии в македонском языке // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте. М., 1999. С. 12–20.
- Широкова А. Г., Нецименко Г. П.* Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 9–85.
- Широкова А. Г., Нецименко Г. П.* Особенности формирования литературного языка чешской нации в эпоху национального возрождения // Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1981. С. 179–197.
- Широкова А. Г.* Разговорный чешский язык в период национального возрождения // Славянские литературные языки эпохи национального возрождения. М., 1998. С. 151–160.
- Lifanov K.* Stredoslovenské básnické koiné pred L. Štúrom // Slovenská reč, 60, 1995, č. 5–6. S. 264–281.
- Lifanov K.* Rekatolizácia ako najdôležitejší medzník v dejinách spisovnej slovenčiny // Jazykovedný časopis, 50, 1999, č. 1. S. 17–26.
- Lifanov K. V.* Механизм конвертации и кодификация словацкого литературного языка // Revue des études slaves, LXXIII, Fascicule 1, 2001. P. 47–59.

*А. Г. Машкова*

**ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ И РОССИИ  
ЧЛЕНАМИ КАФЕДРЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ**

Уже более двух столетий российский читатель получает информацию о литературе славянских народов, знакомится с ней посредством переводов. Однако на протяжении этого времени активность процесса популяризации славянских литератур в России была неодинакова, что связано со спецификой исторических и культурных отношений наших стран и народов.

Исторически обусловленный интерес к славянским литературам в определенных кругах России зародился на рубеже XVIII–XIX вв. Этот интерес стимулировали не только возросшие в ту пору симпатии русской общественности к близким по духу народам, сочувствие к их трагической судьбе, но и активизировавшиеся контакты – встречи, переписка, обмен литературой – между писателями, деятелями культуры, учеными. Вспомним пребывание в России чешского писателя К. Гавличка-Боровского, неоднократные посещения России словацким поэтом, прозаиком и литературным критиком, страстным русофилом Св. Гурбаном-Ваянским, сербскими писателями В. Караджичем, П. Негошем, пребывание в Киевской Духовной академии С. Ранковича, переписку Л. Штура и Я. Коллара с М. П. Погодиным, О. М. Бодянского с П. Й. Шафариком, сербских писателей с А. С. Шишковым, В. А. Жуковским, поездки О. М. Бодянского в Чехию, Словакию, Польшу, Сербию, Хорватию, его контакты с Й. Юнгманом, В. Ганкой, Я. Колларом, Е. Копитаром, В. Караджичем, Л. Гаем, С. Вразом.

Со временем все богаче становилась информация в российской печати о славянском мире. Все больше переводилось и публиковалось произведений славянских авторов. Хотя, надо признать, не все славянские литературы находились в одинаковой ситуации; различным был и сам уровень их идейно-эстетического развития. Тем не менее, именно XIX в. по праву можно назвать веком «открытия» русским читателем инославянских литератур.

Уже в ту пору характер публикаций был весьма разнообразен: письма, статьи, монографии, поэзия, проза, которые печатались в периодических изданиях, сборниках; выходили в свет и собрания сочинений писателей. Переводы осуществлялись известными поэтами, переводчиками, учеными-славистами, что свидетельствует о том, сколь большое значение придавалось этим акциям. Это были: А. С. Пушкин, А. Майков, Н. Аксаков, Ф. Ф. Тютчев, Н. Берг, Н. Нович, В. Гиляровский, А. Степович, В. Ламанский, Т. Д. Флоринский,

Р. Ф. Брандт и др. Значительную роль в популяризации научной литературы сыграл О. М. Бодянский, который перевел и опубликовал десять сочинений П. Й. Шафарика, а также Ф. Палацкого и Д. Зубрицкого, что способствовало распространению знаний о славянских народах. Предпринимались и первые попытки осмысления литературных достижений славянских писателей, которые публиковали свои очерки, статьи, книги (например, А. Селищев о творчестве К. Гавличка-Боровского, А. Степович об К. Я. Эрбене, Я. Опферман о Я. Голлом, А. Соколов о Я. Ботто, А. Сироткин о Гвездославе, М. Погодин о А. Мицкевиче, А. Востоков о сербских народных песнях, П. Равинский, П. Лавров о П. Негоше, П. Кулаковский о В. Караджиче, Р. Бранд о И. Гундуличе, А. Мицкевиче, Я. Колларе, П. Славейкове и т. п.). География издательств и периодических изданий, где печатались произведения славянских авторов и материалы о них, весьма богата: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Киев, Харьков, Нижний Новгород, Варшава и др.

После Октябрьской революции, вплоть до 50-х гг. XX столетия, картина резко меняется. Проводимая советской властью культурная политика, идеологизация всех сфер жизни фактически привели к сдерживанию не только личных контактов между литераторами, но и к ограничению информации о литературной ситуации в славянских странах, резкому сокращению переводимой литературы. Российский читатель получал весьма искаженное представление об истории и современном состоянии художественного творчества славян. Классика издавалась в небольшом количестве; в современной литературе предпочтение отдавалось политически ангажированным произведениям, писателям соцреализма.

Вторая половина XX в. – время, когда в связи с изменившимися приоритетами СССР, и в первую очередь России, буквально захлестнул поток информации о славянских литературах. Особенно это характерно для первых послевоенных десятилетий. Однако картины отдельных славянских литератур, предлагаемые читателю в то время, имели несколько деформированный вид. Поначалу, при наличии большого количества «белых пятен», издавались книги в художественном отношении слабые, произведения-однодневки, которые сейчас уже преданы забвению не только у нас, но и у себя на родине. Эти перекосы можно объяснить не столько плохой осведомленностью издателей, рецензентов, переводчиков о литературах (хотя и этот факт тоже имел место, особенно в первые послевоенные годы), сколько причинами политического, идеологического характера. Результатом такой политики стало искусственное сужение самого диапазона переводимых произведений, отторжение весьма значительного пласта литературы от российского читателя.

С конца 50-х годов ситуация постепенно начала меняться. Все больше издавалось классики, литературы первой половины XX столетия. Что касается творчества послевоенных писателей, то здесь по-прежнему доминировал принцип избирательности. Реальная практика, во всяком случае в отношении большинства литератур, была такова: разрешалось публиковать только то, что значилось в списках, составленных руководством писательских организаций соответствующих стран. В основном это были произведения соцреализма, правдиво, с точки зрения партийного руководства, отражавшие социалистическую действительность.

Изменившаяся в 90-е гг. общественно-политическая обстановка в славянских странах, к сожалению, пока дает мало оснований для оптимизма. На смену одним препонам пришли другие, в результате чего резко сократилась информация о литературной ситуации в славянских странах, практически прервались контакты литераторов, уменьшилось количество переводимой литературы (такие литературы как словацкая, болгарская практически перестали издаваться). По-прежнему действует принцип избирательности, но только с другим знаком. Условия рыночной экономики диктуют свои правила: публикуется преимущественно то, что модно, что купит массовый, мало взыскательный читатель.

Обозначенные выше особенности популяризации славянских литератур в нашей стране оказали прямое воздействие и на деятельность коллег нашей кафедры.

Как уже говорилось, новая глава в изучении и популяризации славянских литератур в России была открыта после Второй мировой войны и, что особенно интересно и ценно, она непосредственно связана с восстановлением на филологическом факультете МГУ кафедры славянской филологии, прежде всего с деятельностью С. Б. Бернштейна. Так, в созданном сразу после войны Издательстве литературы на иностранных языках была открыта серия «Библиотека славянских писателей», печатавшая книги славянских авторов с предисловиями и комментариями наших коллег. Примером тому могут служить изданные в 1949–1950 гг. произведения болгарского писателя И. Вазова, в частности, его роман «Под игом» с предисловием и комментариями С. Б. Бернштейна.

Постепенно деятельность членов кафедры в сфере популяризации славянских литератур все более активизировалась, становилась разнообразной. На этом поприще стали проявлять себя и наши выпускники, которые работали практически во всех основных редакциях и издательствах страны, а также в академических институтах. Это были книги, статьи, обзоры, рецензии популярного характера, предназначенные для широкого круга читателей, предисловия, комментарии к отдельным произведениям, собраниям сочинений, а также переводы. То есть то, что

реально существует, что остается в наследство потомкам. Кроме того, преподавателями кафедры велась большая работа, которая стала, по сути, уже достоянием истории: публичные лекции, выступления по радио, телевидению, участие в круглых столах, внутренние рецензии-рекомендации для издательств и журналов с целью публикации произведений, участие в работе редакционных советов издательств и редакций и многое другое.

Особенно значителен вклад наших старших коллег; некоторые из них уже ушли в мир иной (С. Б. Бернштейн, Н. И. Кравцов, А. М. Балакин, Р. Р. Кузнецова) или на заслуженный отдых (Т. П. Попова), другие продолжают трудиться, в том числе на ниве популяризации славянских литератур (Е. З. Цыбенко). Деятельность профессоров кафедры была высоко оценена в соответствующих странах. Так, член Союза писателей СССР и России Р. Р. Кузнецова в 1980 г. была награждена чешским Литфондом Международной премией Витезслава Незвала «За творческую инициативную пропаганду чешской социалистической литературы в СССР», Е. З. Цыбенко в 2001 г. получила Почетную Награду Общества сотрудничества Польша–Восток – медаль «Мицкевич–Пушкин» за заслуги в деле популяризации польской культуры в России.

Особо следует отметить, что значительный вклад в популяризацию славянских литератур внесли не только литературоведы, но и лингвисты. При этом необходимо подчеркнуть, что мы не будем касаться научных трудов коллег, литературы, предназначенной для учебных целей, т. е. учебников, пособий, программ, а также работ, опубликованных в славянских странах. Речь пойдет лишь о публикациях, носящих популярный характер, предназначенных для широкого круга читателей, а также о переводах.

По-своему уникальным представляется вклад Н. И. Кравцова – пожалуй, единственного представителя кафедры, который в своей многогранной деятельности значительное внимание уделял пропаганде фольклора славянских народов, продолжив тем самым лучшие традиции российских писателей, ученых XIX в. Примером тому могут служить его книги текстов «Сербский эпос», издававшиеся неоднократно (первые в 1933), «Сербохорватский эпос» (1985) и «Славянский фольклор» (1987), составителем и переводчиком которых он являлся.

Если говорить о литературе более позднего периода, то, безусловно, следует упомянуть такое редкое издание, как книгу представителя чешского барокко Яна Амоса Коменского «Лабиринт света и рай сердца» (2000), автором предисловия и одним из переводчиков которой был С. С. Скорвид.

Заметным явлением в популяризации славянских литератур стала публикация Антологии словацкой поэзии (от истоков до конца

XX в.) «Голоса столетий» (2002). Составленная А. Г. Машковой совместно с выпускницей кафедры Н. В. Шведовой (А. Г. Машкова – редактор книги и один из ее переводчиков), Антология включает в себя произведения более ста словацких поэтов, начиная с первых памятников письменности и заканчивая творчеством современных авторов.

Значительный вклад в пропаганду польской литературной классики внесла Е. З. Цыбенко, приблизившая российскому читателю цвет не только романтической поэзии (А. Мицкевич), но и польской реалистической прозы XIX в. (Б. Прус, Э. Ожешко, Г. Сенкевич, первые переводы которых в России появились еще в 90-е гг. XIX столетия). Начиная с 1953 г., Е. З. Цыбенко принимает активное участие в подготовке к изданию собраний сочинений и отдельных произведений названных писателей. Так, к 5-ти и 7-митомным собраниям сочинений Б. Пруса ею написаны вступительные статьи и комментарии. Практически во всех вариантах сопровождался предисловиями, послесловиями, комментариями Е. З. Цыбенко многократно (11 изданий) выходивший в свет не только в московских издательствах, но и в Новосибирске, Ереване (на армянском языке), Кишиневе, Варшаве (на русском языке) роман «Кукла», а также «Фараон» (издательства Ташкента, Махачкалы, Минска, Новосибирска – всего 8 изданий). Ее вступительными статьями открываются 5-ти и 6-титомные собрания сочинений Э. Ожешко, изданные соответственно в 1953 и 1991 гг. К сборнику избранных произведений Г. Сенкевича (1953), а также собранию его сочинений в 9-ти томах (1985) ею написаны предисловие и примечания. Творения польских классиков Е. З. Цыбенко пропагандировала и в своих статьях: «Новые издания польских классиков» (1951), «Польская литература на русском языке» (1987), опубликованных в российской периодике («Советская книга», «Советская литература»).

В качестве переводчиков произведений классиков славянских литератур выступали наши коллеги: Л. И. Васильева, З. И. Карцева, Н. А. Кондрашов, Р. Р. Кузнецова. Так, Л. И. Васильевой переведена одна из лучших повестей словацкой писательницы Тимравы «Тяпаки» и рассказы Й. Грегора Тайовского, впервые вошедшие в сборник «Словацкие повести и рассказы» (1953), а затем многократно переиздававшиеся. В том же сборнике были опубликованы переводы классиков словацкой литературы Я. Калинчака, Св. Гурбана-Ваянского, М. Кукучина, Тимравы, Й. Грегора Тайовского, выполненные Н. А. Кондрашовым, который одновременно был составителем этой книги. З. И. Карцева перевела повесть Г. Караславова «Часовня св. Петра», вошедшую в 2-хтомное собрание сочинений писателя (1983). Р. Р. Кузнецова впервые познакомила российского читателя с романом А. Сташека «О сапожнике Матоуше и его друзьях» (1954).

Еще более весомым является вклад наших коллег в популяризацию славянских литератур XX века. В разнообразных в жанровом отношении публикациях (от коротеньких рецензий до объемных книг) авторы знакомят читателей с отдельными произведениями, портретами писателей, анализируют общую картину развития литературы. Весьма богата их переводческая деятельность.

Большая заслуга в популяризации чешской литературы минувшего столетия принадлежит Р. Р. Кузнецовой – автору нескольких книг, статей, предисловий, а также переводчику художественных произведений. Именно из книги Р. Р. Кузнецовой, вышедшей в свет в 1953 г. в издательстве «Знание» (и практически одновременно переведенной на грузинский и китайский языки) советский читатель впервые узнал много нового о Ю. Фучике – не только антифашисте, но и писателе. Будучи специалистом по чешской литературе соцреализма, Р. Р. Кузнецова представила широкому кругу читателей одного из самых ярких представителей этого литературного течения – М. Майерова (книга «Мария Майерова. Жизнь и творчество», издательство «Художественная литература», 1982). Ранее творчеству этой писательницы был посвящен написанный ею специальный раздел в «Краткой литературной энциклопедии» (т. 4, 1967). О чешской и словацкой литературе второй половины XX века, и прежде всего о романе 70–80-х гг., речь идет в книгах Р. Р. Кузнецовой «Роман 70-х годов в Чехословакии» (1982) и «Роман 70–80-х годов в Чехословакии» (1988, издательство «Советский писатель»). В них представлены портреты около 50 современных чешских и словацких авторов. Кроме того, ей принадлежат предисловия, послесловия, комментарии к изданиям произведений чешских писателей (Я. Крадохвил «Истоки», 1969, Я. Глазарова «Волчья яма», 1968, З. Плугарж «Последняя остановка», 1979, Й. Кадлец «Повести», 1983, а также переводы и составление книг Ю. Фучика (1955) и М. Майеровой (несколько изданий).

Активно популяризирует современную чешскую литературу С. С. Скорвид. Так, в его переводе российский читатель впервые познакомился с творчеством Ф. Кубки (сборник рассказов «Доброе слово», 1981), Я. Йона (Я. Йон. Избранные произведения, 1982), В. Гавела (В. Гавел. Трудно сосредоточиться, 1990), Л. Коваля (Л. Коваль. Двенадцать листов календаря, 1997; предисловие также написано С. С. Скорвидом), Б. Грабала («Слишком шумное одиночество»).

Одна из важнейших задач наших славистов – помочь российскому читателю сориентироваться в издаваемых произведениях инославянских авторов, а также в опубликованных работах, посвященных отдельным славянским литературам. Именно об этом идет речь в некоторых



публикациях Е. З. Цыбенко, в частности, такой, как «Польская литература в Советском Союзе (новые переводы и работы на русском языке)» – журнал «Советская литература» (1989). С ранее недоступной российскому читателю польской литературой, выходящей в нелегальных издательствах и впервые появившейся в официальном обращении только в 80-ые годы, знакомит статья С. В. Клементьева «Польская “возвращенная литература” 1980-х годов» (Вестник МГУ, 1995).

Переводческие традиции словацкой литературы в России, ее изучение, популяризация в послевоенные десятилетия – таковы основные аспекты статьи А. Г. Машковой «Словацкая литература в России (вторая половина XX века)», опубликованной в журнале «Меценат и мир» (2001). В том же издании она представила серию портретов словацких поэтов XX века (Л. Подъяворинская, Ю. Ленко, Ш. Моравчик, Я. Шимонович, Я. Замбор, М. Рихтер). Впечатлениям о последней встрече с выдающейся словацкой писательницей М. Фигули посвящена ее статья «Последнее интервью Маргиты Фигули» (журнал «Меценат и мир», 2002). С творчеством современного прозаика Л. Баллека знакомят статьи, опубликованные в журналах «Иностранная литература» (1983) и «Меридианы» (1985 – издавался в Словакии на русском языке для российских читателей). А. Г. Машкова – автор предисловия и один из переводчиков книги избранных произведений М. Фигули («Тройка гнедых», 1988). Как популяризатор малых прозаических жанров и переводчик она выступала в сборниках рассказов словацких и чешских писателей: «Доброе слово» (1981), Ф. Ставиного «Солнечный день» (одновременно автор предисловия, 1985), «День на Каллисто» (научно-фантастические произведения, 1986). Ей принадлежат переводы словацких и чешских авторов: Р. Слободы, В. Шикеры, Ш. Стражая, М. Рихтера, Ю. И. Изаковича, П. Андрушки, Э. Петишки, Ф. Скорунки, Й. Несвадбы, М. Козака, М. Петишки, Л. Фрейовой и др.

Ранее с творчеством словацких писателей XX века российского читателя познакомили наши коллеги-лингвисты Н. А. Кондрашов и Л. И. Васильева. Это роман Я. Есенского «Демократы» (1957, в переводе Л. Васильевой совместно с И. Ивановой), его рассказы в переводе Н. А. Кондрашова в уже упоминавшемся сборнике «Словацкие повести и рассказы» (1953), рассказы П. Илемницкого в том же сборнике (перевод Н. А. Кондрашова), а также проза А. Плавки в книге «Современные повести и рассказы» (1975, перевод Л. И. Васильевой).

Значительный вклад внесли члены кафедры в популяризацию литератур южных славян. Так, достижения современной болгарской литературы пропагандирует в своих работах З. И. Карцева. В статье «Современная болгарская проза и ее изучение в СССР» («Наука», 1983) ею рассмотрены наиболее интересные проблемы современной болгарской про-

зы, подведены некоторые итоги ее развития. В качестве научного редактора и переводчика З. И. Карцева участвовала в подготовке к изданию совместного русско-болгарского сборника «Русская и болгарская литература XX века. Типология и связи» (МГУ, 1982). Ею переведены также две книги известного болгарского писателя Б. Райнова – «Черный роман», (1976), посвященный истории становления детективного романа в мировой литературе, и «Массовая литература» (1979), а также книга Б. Ничева «Современный болгарский роман» (1983). В качестве переводчика произведений С. Х. Караславова и К. Апостолова З. И. Карцева принимала участие в издании сборника рассказов молодых болгарских прозаиков (1986).

С творчеством классиков сербской литературы XX в. И. Андрича и М. Црнянского знакомит российского читателя в своих статьях, опубликованных в газете «Славяне» (1992), С. Н. Мещеряков. В информационном сборнике «Основные произведения иностранной художественной литературы Европы, Америки, Австралии» (1999) опубликованы его работы, посвященные М. Црнянскому и М. Селимовичу. С. Н. Мещеряковым написано также предисловие к повести С. Копривицы-Ковачевич «Поймать лисицу» (1985).

Впервые представила российскому читателю творчество современного сербского писателя-постмодерниста Д. Киша А. Г. Шешкен в очерке «Реквием по человеку», опубликованном в журнале «Иностранная литература» (1995).

На протяжении почти полувека переводит произведения сербских, хорватских, словенских, македонских, болгарских писателей старейший преподаватель-лингвист кафедры Т. П. Попова. Общий объем выполненных ею переводов превышает 400 п. л. Переведенные Т. П. Поповой романы (а их более 11), повести, рассказы, драматические произведения печатались в журнале «Иностранная литература», выходили в различных московских издательствах. Это: Д. Чосич «Солнце далеко» (1956), М. Божич «Курланы» (1959), И. Андрич «Проклятый двор» (1962), М. Оляча «Козара» (1970), О. Давичо «Песня» (1979), Д. Чосич «Корни» (1983), М. Крлежа «Знамена» (1984), П. Павличич «Белая роза» (1986), А. Шолян «Гавань» (1989), Г. Олуич «Голосу за любовь» (1990), М. Црнянский «Роман о Лондоне» (1990). Кроме того, она была составителем, автором предисловий и переводчиком в сборниках рассказов В. Петровича (1960, 1975), Б. Чопича (1978).

Современную словенскую литературу популяризировала работавшая на кафедре преподаватель Н. В. Масленникова. В 1985 г. ею были осуществлены переводы и написано предисловие к сборнику рассказов Б. Зупанчича «Набат». В 1988 г. увидел свет роман М. Рожанца «Любовь» в ее переводе. Н. Н. Старикова активно пропагандирует словен-

скую поэзию. Она – автор вступительных статей к стихотворным подборкам словенских поэтов (Т. Шаламун, А. Ихан, Ф. Прешерн) в журнале «Иностранная литература» (1995, 1999, 2001). В альманахе «Современная словенская проза, поэзия, драма» (2001), изданном на русском языке Союзом писателей Словении, она выступает в качестве составителя, редактора и одного из переводчиков. В ее переводах опубликована поэзия А. Штегера и Э. Бабича, а также эссе А. Чара, вошедшие в сборник «Литературный экспресс 2000».

В значительной степени благодаря усилиям Р. П. Усиковой стала доступна российскому читателю мало известная у нас македонская литература. В ее переводах увидели свет произведения Т. Момировского, С. Дракулы, Й. Бошковского, вошедшие в сборник рассказов македонских писателей «Талый снег» (1965) и «Сборник рассказов югославских писателей» (1965). В серии «Библиотека югославской литературы» в переводе Р. П. Усиковой и с ее предисловием был опубликован роман Г. Абаджиева «Пустыня» (1981). Не обошла своим вниманием она и драматургию: в качестве составителя и переводчика пьесы «Дикое мясо» Р. П. Усикова выступает в книге пьес Г. Стефановского «Полет на месте и другие пьесы» (1987).

К сожалению, в последнее десятилетие популяризаторская деятельность наших коллег заметно ослабела. Виной тому стала не только рыночная экономика, в условиях которой издатели отвернулись от славянской классики. (При этом произведения некоторых современных авторов все же издаются – М. Павич, М. Кундера, Б. Грабал, Е. Анджеевский, Ю. Кавальец, С. Мрожек, М. Руфус и др.). Основная причина в том, что сами славянские литературы в последние годы находятся в состоянии поиска.

Более чем полувекковая деятельность преподавателей кафедры славянской филологии на поприще популяризации славянских литератур впечатляет. Думается, что молодые преподаватели, вопреки всем обстоятельствам, продолжают традиции старших коллег в этом очень нужном и важном деле.

Т. С. Тихомирова

**ВКЛАД ЛИНГВИСТОВ КАФЕДРЫ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ  
В СЛАВЯНСКОЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

Научно-исследовательская деятельность кафедры славянской филологии МГУ включает несколько направлений, соотносимых, естественно, с общим развитием лингвистической мысли. Если в 40–50 гг. XX в. – в первые десятилетия существования кафедры – основное внимание было обращено на сравнительно-историческую проблематику, то позднее все более видное место стали занимать работы, авторы которых, привлекая материал не одного славянского языка, обращались к сопоставительному аспекту, что вполне отвечает и соответствует возросшему интересу лингвистов к сопоставительно-синхронному и конфронтативному языкознанию.

Как было отмечено в очерке истории кафедры славянской филологии, сопоставительное изучение систем славянских языков (прежде всего по отношению к русскому языку) осуществляется в рамках структурно-системного анализа в сочетании с анализом функциональным, учитывающим взаимодействие разных языковых уровней<sup>1</sup>.

Как известно, использование сопоставительных методик при анализе разноязычного материала предполагает более широкое и более узкое его понимание. Более узкое понимание провозглашает четкое противопоставление сопоставительного языкознания языкознанию сравнительно-историческому, типологическому, ареальной лингвистике или же теории перевода. При всей близости они различаются как по целям сравнения, по языковому материалу (ср., в частности, число анализируемых языков и их характер), так и по типам и единицам эквивалентности<sup>2</sup>. Однако существует и более широкое (хотя и менее терминологическое) толкование, особенно целесообразное, как представляется, при рассмотрении исследований последних двадцати пяти – тридцати лет, т. е. представляющих и отражающих сам процесс становления данного типа исследований, его развития и совершенствования. В соответствии с этим толкованием настоящий обзор охватывает работы, ориентированные на выявление свойств и различий на всех уровнях устройства и функцио-

---

<sup>1</sup> Филологический факультет Московского университета. Очерки истории. Часть I. М., 2000, с. 207.

<sup>2</sup> Вл. Барнет. К проблеме языковой эквивалентности при сравнении // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., МГУ, 1983.

нирования славянских языков (преимущественно – в синхронном срезе), т. е. исследования, содержащие анализ материала двух или более современных славянских языков, причем обычно (хотя и не всегда) в качестве одного из сопоставляемых языков выступает родной язык исследователя – русский. Нельзя не отметить, что анализ инославянского материала в сопоставительном ключе нередко обуславливался в том числе и дидактическими потребностями, что вполне объяснимо.

Столь широкое понимание сопоставительного языкознания весьма разнообразно представлено в трудах преподавателей славянской кафедры в жанрово-типологическом, так сказать, отношении. Прежде всего это собственно исследовательские научные работы – диссертации, многочисленные статьи, выступления на научных конференциях<sup>1</sup>, в том числе и на Международных съездах славистов. Сопоставительный анализ является фундаментом докторской диссертации В. Ф. Васильевой о предметной номинации на материале чешского и русского литературных языков (1999) и подготавливаемой к защите докторской диссертации А. И. Изотова – о функционально-семантическом поле побудительности в тех же языках, кандидатских диссертаций О. О. Лешковой (1984) – о категории собирательности в польском и русском языках (научный руководитель – Т. С. Тихомирова), А. И. Изотова (1991) – о системе чешских и русских причастных форм (научный руководитель – А. Г. Широкова), О. А. Остапчук (1998) – о польских, русских и украинских заглавиях художественных произведений (научный руководитель – Н. Е. Ананьева). Под научным руководством профессоров и преподавателей кафедры в разные годы были также подготовлены и защищены кандидатские диссертации И. М. Горшковой (1978) – о существительных *pluralia tantum* в чешском и русском языках, Е. В. Петрухиной (1978) – о функционировании презентных форм в чешском и русском языках (научный руководитель – А. Г. Широкова), Л. И. Тимофеевой (1998) – о семантике субстантивных словосочетаний в русском и польском языках (научный руководитель – Т. С. Тихомирова), О. Ю. де Мезеш (2000) – о предметно-бытовой лексике в чешском и русском языках (научный руководитель – В. Ф. Васильева).

Сопоставительное языкознание на кафедре реализуется и организационно. В последние годы по инициативе заведующего кафедрой В. П. Гудкова кафедра славянской филологии провела несколько межвузовских и международных конференций и совещаний-семинаров, вызвавших большой интерес как у отечественных, так и зарубежных коллег: конференция «Актуальные проблемы славянской филологии» (но-

---

<sup>1</sup> Опубликованные тезисы выступлений и докладов в обзор не включаются.

ябрь 1993), семинары-совещания преподавателей славянских языков (октябрь 1994, октябрь 1999), сербохорватского языка (1996), польского языка (апрель 1997), конференция по македонскому языку в славянском и балканском контексте (1998). Хотя тематика конференций обычно носила более широкий славистический характер, многие докладчики (в том числе и преподаватели кафедры) излагали результаты своих сопоставительных исследований. О приверженности сопоставительному языкознанию свидетельствует и тематика последней, проведенной в октябре 2001 г. конференции («Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания»). Лингвисты кафедры выступали с докладами и сообщениями на сопоставительные темы на этих, а также и на многих других научных форумах в России и за рубежом: например, В. Ф. Васильева (март 1996 – Санкт-Петербург, 1996 – Беларусь, Минск). Трое представителей кафедры – В. П. Гудков, В. Ф. Васильева, Е. В. Верижникова – участвовали в IV международном симпозиуме «Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков» (1996 – Югославия, Белград – Нови Сад).

Значительную роль в развитии сопоставительных исследований играет международное сотрудничество. Очень ценной и плодотворной в этом отношении явилась инициатива подготовки и издание международных сборников по сопоставительному изучению славянских языков. Это два чешско-русских сборника: «Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского и чешского языков» (Прага, 1974) и «Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским и другими славянскими языками» (Москва, 1983). Успешной реализацией этих изданий авторы во многом обязаны организаторской и творческой настойчивости А. Г. Широковой, которая была и соредктором этих сборников. Многие члены кафедры участвовали в польско-русском проекте по изучению славянского глагола («Исследования по глаголу в славянских языках»), один из этих сборников – «Структура, семантика и функционирование» (Варшава, 1985) также вышел под совместной редакцией А. Г. Широковой и А. Бартошевича. Коллективным трудом российских и польских лингвистов был и сборник «Изучение отношений эквивалентности в славянских языках» (М., 1998) под редакцией Ст. Сятковского (Варшавский университет) и Т. С. Тихомировой.

Особо следует отметить высокий научный уровень кафедрального сборника «Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков» (М., 1998) под редакцией А. Г. Широковой.

Сравнительно-сопоставительный подход так или иначе пронизывает научное творчество сотрудников кафедры. Даже в работах, исходно, казалось бы, далеких от постулатов синхронного сопоставительного языкознания, их авторы и в материале, и в его оценке неоднократно обращаются к русским аналогиям. Например, в докторских диссертациях К. В. Лифанова о генезисе словацкого литературного языка (2001) и Н. Е. Ананьевой о префиксальных древнепольских глаголах (2001) отчетливо проступает весьма значительный инославянский (чешский, русский) фоновый акцент. Полнее всего это нашло выражение в статье Н. Е. Ананьевой (1998), построенной на сопоставлении префиксальных глаголов в древнепольском, древнечешском и древнерусском языках.

Среди «жанров» сопоставительной ориентации кроме собственно лингвистических научных изысканий нельзя не выделить работы прикладного характера. Дидактические потребности как стимул для сопоставительной презентации материала (сопоставление с русским языком как языком специальности) определяют характер созданных на кафедре учебников славянских языков, формально предназначенных для студентов-русистов, но используемых также при обучении славистов: сербскохорватского языка Т. П. Поповой (1986), польского языка Т. С. Тихомировой (1988), чешского языка А. Г. Широковой, В. Ф. Васильевой и чешского лингвиста А. Едлички (1990). Сопоставительный принцип был программно заложен в эти пособия.

Прикладная ветвь сопоставительного славянского языкознания представлена также значительными трудами по лексикографии: Болгарско-русский словарь С. Б. Бернштейна, Сербскохорватско-русский словарь И. И. Толстого, Краткий сербскохорватско-русский словарь В. П. Гудкова. В 90-е годы этот список дополнили трехтомный Македонско-русский словарь Р. П. Усиковой, З. К. Шановой, Е. В. Верижниковой и М. А. Поварничиной (Скопье, 1997) и Русско-словенский и словенско-русский словарь О. С. Плотниковой и Й. Севера (Любляна – Москва, 1990).

Само собой разумеется, что без использования сопоставительного анализа не может обойтись ни одно занятие в студенческой аудитории, будь то практические занятия или теоретические курсы. Особый взгляд на сходства и различия славянских языков предлагается студентам в специальном курсе теории перевода. Курс этот долгие годы успешно вела Т. П. Попова, ныне его читает Г. П. Тыртова.

На этом широком фоне разнообразного применения сопоставительных подходов к изучению и описанию славянского языкового материала выделяются собственно научные исследования, базирующиеся на принципиальных положениях сопоставительной лингвистики.

У истоков сопоставительного языкознания на кафедре славянской филологии стояли проф. С. Б. Бернштейн и проф. А. Г. Широкова. Несмотря на то, что С. Б. Бернштейн многократно высказывался о своей глубокой преданности сравнительно-историческому языкознанию и был уверен в его перспективности, в его творческом наследии отражается широчайший диапазон интересов и соответственно представлены работы, которые прямо или косвенно относятся к сфере сопоставительного языкознания. Это прежде всего разработка С. Б. Бернштейном (в качестве руководителя группы) принципов и методики сопоставительного анализа и описания таких синтаксических структур, как падеж, что и было реализовано в коллективной монографии «Творительный падеж в славянских языках» (1958), изданной Институтом славяноведения АН СССР под редакцией С. Б. Бернштейна. Следует упомянуть также исследования по морфологии славянских языков (о чередованиях в парадигме настоящего времени – 1969). Несомненно, существует определенная обусловленность сопоставительных трудов С. Б. Бернштейна диахронической ориентированностью исследователя, но это не умаляет их значения для синхронного сопоставительного языкознания, для разработки методических приемов сопоставления применительно к явлениям морфемно-формального или функционального плана. Вместе с тем нельзя не признать, что работы С. Б. Бернштейна, так или иначе соотносимые ныне с сопоставительным аспектом изучения языков, в свое время не вызвали большого отклика среди его учеников: возможно, потому, что формально осуществлялись вне кафедры, в Институте славяноведения, а возможно, и потому, что тогда, в 50–60-е годы, перспективы сопоставительного языкознания еще окончательно не определились.

Инициатором и последовательным сторонником сопоставительного славянского языкознания в рамках кафедры стала проф. А. Г. Широкова, которая на своих спецкурсах и спецсеминарах вырастила целую когорту последователей-адептов сопоставительной лингвистики (в первую очередь среди богемистов). Как своими исследованиями конкретного языкового материала, так и теоретическими разработками по проблематике и методике сопоставительных исследований (1978, 1983, 1987, 1988, 1990) она дала мощный импульс развитию сопоставительного языкознания в МГУ.

Объектом таких исследований служили и служат практически все славянские языки. Правда, менее всего пока используются данные белорусского или украинского языков, а бесспорным фаворитом является чешский. Большинство работ базируется на сопоставлении инославянского языка с русским, однако есть и такие, которые используют факты двух инославянских языков (В. П. Гудков 1973, Р. П. Усикова 1993,



1996). Научный интерес вызывали все уровни языковой системы за исключением фонетики. Лексический материал широко представлен в трудах В. Ф. Васильевой (1983, 1988, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003), охватывающих, впрочем, проблематику не только лексической, но и грамматической номинации, в работах ее ученицы О. Ю. де Менезеш (2000), а также в публикациях Н. Е. Ананьевой (1997), О. О. Лешковой (1983), В. П. Гудкова (1997).

Собственно грамматические исследования были обращены как к системно-структурным, так и функциональным особенностям славянских языковых систем. Внимание исследователей привлекали едва ли не все части речи и многие грамматические категории. Однако, приоритетным объектом сопоставительного анализа был и остается славянский глагол, а в глаголе – его видо-временная система, границы функционирования видов, лексико-грамматическая сочетаемость видо-временных форм и т. п. Этому посвящены многочисленные труды А. Г. Широковой (1966, 1971, 1973), О. С. Плотниковой (1999), Р. П. Усиковой (1989, 1993, 1997), Н. Е. Ананьевой (1993, 1999), кандидатская диссертация Е. В. Петрухиной (1978). Исследовались также особенности семантики и функционирования форм наклонений (А. Г. Широкова 1973, 1983, А. И. Изотов 1995, 1996, 1997, 1998), а также в целом проблема модальности (Р. П. Усикова 1992, 1993, 1997). Система глагольных причастных образований в чешском и русском языках стала темой серии работ А. И. Изотова (1988, 1989, 1992, 1993, 1994). К особенностям формально-семантических взаимоотношений причастных форм и отглагольных прилагательных обращалась Т. С. Тихомирова (1997). Имеются сопоставительные работы по славянским местоимениям (А. Г. Широкова 1990, Е. В. Тимонина 1978), предлогам (В. П. Гудков 1973), синсемантическим словам (А. Г. Широкова 1997, 1998).

Среди именных категорий наибольшее внимание в сопоставительном ракурсе привлекла категория числа (И. М. Горшкова 1978, О. О. Лешкова 1982, 1983, 1992), также категория одушевленности-неодушевленности (К. В. Лифанов 1983). Функциональный подход к изучению фактов близкородственных языков способствовал активному обращению к сопоставительному рассмотрению функционально-семантических категорий – собирательности (О. О. Лешкова 1983), побудительности (А. И. Изотов 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002). В сопоставительном плане изучалось и словообразование не только на материале причастий и прилагательных (см. выше), но и применительно к имени (А. Г. Широкова 1990, Р. П. Усикова 1990, 1997, М. П. Киршова 1993, В. Ф. Васильева 2002). Значение и функционирование глагольных префиксов общеславянского происхождения бы-

ли объектом изучения в работах Н. Е. Ананьевой (1996, 1998), Р. П. Усиковой (1997).

Сопоставительные работы по синтаксису сравнительно немногочисленны. Это исследование по семантике субстантивных сочетаний аспирантки Л. И. Тимофеевой (1998) и статьи Т. С. Тихомировой о функционировании в польских и русских текстах различных групп прилагательных (1993, 1997).

В последние годы в тематику сопоставительного изучения все шире включается уровень прагматический. Этому посвящены работы А. Г. Широковой о функционировании синсемантических частей речи и их эквивалентности при выражении экспрессивности (1997, 1998), статьи А. И. Изотова о побуждении.

Отметим также оригинальный по материалу и подходу сопоставительный анализ названий польских, русских и украинских художественных произведений в кандидатской диссертации О. А. Остапчук (1998).

Своеобразным компендиумом сопоставительного славянского языкознания предстает вышедшая в 2001 г. «Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком» Н. В. Котовой и М. Янакиева. Сопоставительный аспект здесь представлен на всех уровнях языковой и речевой ипостаси языков – от фонетики до синтаксиса, от графики, включая начертания букв, до прагматики, речевого этикета и правил речевого поведения. Авторы используют не только принципиально важную и основополагающую для них глоттостатистическую методику, но и обращаются к языковой компетенции носителей языка, к характеру восприятия ими тех или иных языковых явлений.

Другими словами, как показывает богатый опыт кафедры славянской филологии, сопоставительному изучению могут быть доступны все виды рече-языковой деятельности, все может быть достойно сопоставительного анализа и благодаря ему знание о славянских языках только расширяется и углубляется.

Разнообразие тематики тесно сопрягается с разнообразием методов и подходов, используемых при сопоставительном изучении и описании славянских языков. Весомый вклад в развитие теории сопоставительного языкознания внесла проф. А. Г. Широкова. Ее труды, посвященные общим методам, принципам и условиям сопоставительного изучения славянских языков и прежде всего их грамматического строя (1973 – доклад на VII Международном съезде славистов в Варшаве, работы 1978, 1990, 1992, 1998 гг.), широко известны в славистике, о чем, в частности, свидетельствует высокий показатель их цитируемости. В этих работах трактуются основополагающие для сопоставительного языкознания проблемы: последовательно выдвигается и реализуется

постулат неперенного разграничения системной и структурной соотносительности и соотносительности функциональной; указывается, что при структурном сходстве близкородственных языков особое внимание исследователя должно быть обращено на сходства и различия функциональные и более того – на узуальные, в связи с чем следует отделять функционально-семантическую эквивалентность от узуальной (1990, 1992, 1997, 1998). Большой заслугой А. Г. Широковой следует признать обращение к явлениям, до последнего времени не включаемым в сопоставительный анализ: к выражениям экспрессивно или же стилистически маркированным, равно как и выражениям ситуативно обусловленным. Предлагается методика исследования такого типа объектов. Все это значительно расширяет возможное пространство сопоставительной славистики и вполне отвечает современному интересу лингвистов к прагматике.

Общетеоретическая проблематика сопоставительного языкознания поднималась и в трудах других лингвистов кафедры при решении задач конкретного анализа. Из этих последних – отмеченные глоттостатистической ориентацией работы Н. В. Котовой и М. Янакиева (1998, 2001), а также публикации В. Ф. Васильевой (о своеобразии сопоставительной ономастологии – 1988, 1994, 1999, 2003), О. О. Лешковой (о сопоставительном изучении грамматической категории числа – 1983, 1992), Н. Е. Ананьевой (о роли фактора широко понимаемой сочетаемости – 1997). Принципам сопоставительного описания грамматических категорий имени был посвящен доклад Т. С. Тихомировой на Международном съезде славистов в Кракове (1998).

Сопоставительное исследование фактов нескольких языков в современной лингвистике (и в том числе, естественно, на кафедре славянской филологии) прошло несколько этапов. Уточнялись цели, задачи и объекты такого типа анализа. Обсуждались проблемы: подходить ли к явлениям нескольких (или только двух) языков глобально, отмечая как черты сходства, так и различия, или же дифференцированно, ориентируясь прежде всего на поиск отличий, что нередко ведет к терминологическому разграничению сопоставительной и конфронтативной лингвистики; смотреть ли на один избранный язык через призму другого, видеть ли в этом другом языке лишь фон, оттеняющий особенности анализируемого языка, или же трактовать два языка как равноправные в их соотношении, в том числе и в сопоставлении с каким-либо третьим феноменом – *tertium comparationis*, исходить ли из формального сходства (и как его понимать) или же опираться на семантико-функциональное тождество и т. п. Следует отметить, что все указанные выше проблемы так или иначе проявились в исследованиях наших коллег, весьма разно-

образных с методологической точки зрения, что бывает обусловлено как материалом исследования, так и его задачами.

Характерно, что включение сотрудников кафедры в новую исследовательскую парадигму и сопоставительную тематику осуществлялось, равно как и в лингвистике вообще, постепенно. Для уяснения этого достаточно обратиться хотя бы к заголовкам статей и монографий. С одной стороны, методологическая направленность на сопоставительные исследования отражалась здесь весьма скромно, лишь в подтитule, в словосочетаниях «в сопоставлении» или «в сравнении с русским языком» (А. Г. Широкова 1966, Р. П. Усикова 1980, Н. А. Ананьева 1993, К. В. Лифанов 1983 и др.). Это во многом отвечало и задачам исследования: исходным объектом являются инославянские формы и их функционирование, русские же факты призваны лишь оттенять иноязычную действительность и углубить ее понимание. С другой стороны, развивался и иной, «уравнительный» подход, демонстрируемый в сочетаниях типа «на материале таких-то славянских языков» (напр., А. Г. Широкова 1983). Третий вариант названия работы именуется объект анализа в двух сопоставляемых языках (в русском и чешском, русском и польском и т. п.), т. е. по существу фиксирует новый подход к изучаемому языковому явлению, которое становится центром и целью исследования (напр., А. Г. Широкова 1971, А. И. Изотов 1996, Н. Е. Ананьева 1996, Т. С. Тихомирова и др.).

Различия в целях и задачах исследования, отраженные в указанных выше формулировках, связаны, в частности, и с самой методикой анализа языкового материала. Если сопоставление с русским или другим языком рассматривалось автором как дополнительное средство, способное обогатить анализ исследуемого языка, то в этом случае материал русского (или другого) языка не был самостоятельным объектом и привлекался не из текстов, но научных исследований и описаний (напр., Р. П. Усикова 1986, Н. Е. Ананьева 1999, О. С. Плотникова 1999). Еще одним способом привлечения иноязычного материала, например, при лексикологических исследованиях, является обращение к лексикографически обработанным данным (напр., В. Ф. Васильева при рассмотрении сочетаемостных возможностях качественных и относительных прилагательных – 1983). По-иному осуществляется отбор языковых данных при изучении функционирования тех или иных содержательных грамматических категорий: здесь нередко обращение к переводам, чаще всего – авторским, реже – чужим (напр., А. Г. Широкова о стилистически маркированных высказываниях – 1998, Н. Е. Ананьева о формах прошедшего времени совершенного вида со значением повторяемости – 1993, Т. С. Тихомирова об отглагольных дериватах с квазипричастными суффиксами – 1997). В ряде случаев анализ строится на привлечении

независимых источников из двух языков (А. Г. Широкова, В. Ф. Васильева и др.). Разнообразно представлена сама база сопоставления. В качестве *tertium comparationis* выступает (эксплицитно или имплицитно) не только формальная (грамматическая или словообразовательная) сторона языковых явлений, но и логико-содержательные сущности. В первом случае объектом становится либо форма настоящего времени (Р. П. Усикова), система причастных форм (А. И. Изотов), отглагольные дериваты с причастными суффиксами (Т. С. Тихомирова), либо сама грамматическая категория (например, числа, наклонения) при функциональном анализе отдельных ее форм. Во втором случае исходными оказываются функционально-семантические категории: собирательности (О. О. Лешкова), императивность (А. И. Изотов). В качестве базы сопоставления могут быть использованы и денотаты номинации (В. Ф. Васильева, О. Ю. де Менезеш), и даже ситуация коммуникации и иллокутивные намерения говорящего (А. Г. Широкова, А. И. Изотов, Т. С. Тихомирова).

В отмеченных подходах к сопоставительному изучению языков видится определенное направление развития научного поиска – к дальнейшему становлению сравнительно-сопоставительного языкознания, которое за последние десятилетия постепенно превратилось в самостоятельный раздел лингвистической науки. Много достигнуто, многое еще предстоит сделать, но безусловно одно – немалый вклад в разработку этой живой полнокровной исследовательской деятельности на материале близкородственных славянских языков внесли и вносят ученые кафедры славянской филологии филологического факультета МГУ.

#### БИБЛИОГРАФИЯ

- Актуальные проблемы славянской филологии (Материалы научной конференции). М., 1993.
- Ананьева Н. Е.* Функционирование форм прошедшего времени совершенного вида со значением повторяемости в польском языке (в сопоставлении с русским) // Исследования по глаголу в славянских языках. Типология и сопоставление. Warszawa – Москва, 1993. С. 65–80.
- Ананьева Н. Е.* Приставочные глаголы с префиксом до- / до- в современном польском и русском языках // Исследования по глаголу в славянских языках. Глагольная лексика с точки зрения семантики, словообразования, грамматики. М., 1996. С. 34–49.
- Ананьева Н. Е.* О роли фактора сочетаемости в сопоставлении славянских языков // Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках. М., МГУ, 1997. С. 197–214.

- Ананьева Н. Е.* Проблемы сопоставительного анализа префиксальных глаголов в языках древнего периода (на материале префиксальных глаголов с до- / do- в древнепольском, древнечешском и древнерусском языках) // Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков. М., 1998. С. 229–325.
- Ананьева Н. Е.* К вопросу о пространственных способах глагольного действия в славянских языках // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте (материалы международной российско-македонской научной конференции). М., 1999. С. 66–72.
- Ананьева Н. Е.* Префиксальные глаголы в древнепольском языке (XIV–XV вв.) и современных польских диалектах. Опыт семантико-синтаксического анализа. АДД. М., МГУ, 2001. 50 стр.
- Бернштейн С. Б., Луканов Т. С., Тинева Е. П.* Болгарско-русский словарь. 30 000 слов. М., 1947.
- Бернштейн С. Б.* Болгарско-русский словарь. 45 000 слов. М., 1953.
- Бернштейн С. Б.* Болгарско-русский словарь. 58 000 слов. М., 1966; 2 изд. – М., 1975; 3 изд. – М., 1986.
- Бернштейн С. Б.* Введение в славянскую морфонологию // Вопросы языкознания. 1968, № 4. С. 43–59.
- Бернштейн С. Б.* Очерки славянской морфонологии (чередование в парадигме настоящего времени) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1970, № 3. С. 3–18; № 4. С. 46–58.
- Васильева В. Ф.* Некоторые наблюдения над сочетаемостными особенностями качественных прилагательных в русском и чешском языках // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983. С. 235–251.
- Васильева В. Ф.* К сопоставительному изучению словарного состава близкородственных языков (на материале русской и чешской лексики) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988, № 4. С. 54–66.
- Васильева В. Ф.* О логико-семантическом аспекте в сопоставительной ономазиологии (к вопросу о межъязыковой асимметрии) // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994. С. 5–19.
- Васильева В. Ф.* Имя существительное как средство номинации в русском и чешском языках // Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. IV Международный симпозиум. Белград – Нови Сад, 1996. Доклады. Белград, 1997. С. 130–136.
- Васильева В. Ф.* Имена с оценочным значением в русском и чешском языках (сопоставительный аспект) // Функциональные исследования. Сборник статей по лингвистике. Вып. 5. М., 1997. С. 24–37.
- Васильева В. Ф.* О межъязыковой эквивалентности номинативной единицы (на материале современного русского и чешского языков) // Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках. М., 1997. С. 100–170.

- Васильева В. Ф.* Предметная номинация в русском и чешском языках (сопоставительный аспект) // Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков. М., 1998. С. 104–129.
- Васильева В. Ф.* Предметная номинация в логико-лингвистическом ракурсе (на материале чешского и русского литературных языков). АДД. М., 1999. 59 стр.
- Васильева В. Ф.* Substantivní derivace v češtině a v ruštině z hlediska konfrontační lingvistiky // Čeština – univerzália a specifika, Praha, 2002. № 4. С. 85–90.
- Васильева В. Ф.* Семантическая характерология в контексте сопоставительного изучения языков (на материале чешского и русского языков) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 2003, № 2.
- Горшкова И. М.* Лексико-грамматическая характеристика и особенности функционирования существительных pluralia tantum в чешском языке в сопоставлении с русским. АКД. М., 1978. 24 стр.
- Гудков В. П.* Карманный сербскохорватско-русский словарь. М., 1963; 4 изд. – М., 2001.
- Гудков В. П.* Славянские предлоги : болг. *към, къде, код*, макед. *кон, каде, кај*, серб.-хорв. *код, куде* и иноязычные балканские соответствия // Балканское языкознание. М., 1973. С. 142–148.
- Гудков В. П.* Двухязычные словари русско-сербскохорватские, сербскохорватско-русские и перспектива их совершенствования // Советское славяноведение. М., 1974, № 6. С. 64–73.
- Гудков В. П.* Сходства и различия лексических интернационализмов русского и сербскохорватского языков в плане семантики и стилистики // Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. IV международный симпозиум. Белград – Нови Сад, 1996. Доклады. Белград, 1997. С. 33–37.
- Изотов А. И.* К вопросу о соотносительности систем причастий в чешском и русском языках // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988, № 4. С. 101–108.
- Изотов А. И.* Атрибутивное причастие в современных славянских языках (опыт сопоставительного анализа) // Актуальные проблемы лингвистики и журналистики. Т. 1, (деп. в ИНИОН РАН, 47368 от 4.12.92). С. 97–104.
- Изотов А. И.* Чешские атрибутивные причастия на фоне русских. М., МГУ, 1993. 100 стр.
- Изотов А. И.* Система полных причастных форм в современном чешском литературном языке (в сопоставлении с русским) // Исследования по глаголу в славянских языках. Типология и сопоставление. Warszawa – Москва, 1993. С. 135–140.
- Изотов А. И.* Система полных причастных форм чешского литературного языка в сопоставлении с русскими // Славяноведение, М., 1994, № 1. С. 50–59.

- Изотов А. И.* Категориальная императивность в чешском и русском языках // *Язык и мир его носителя.* М., 1995. С. 95–101.
- Изотов А. И.* К функциональной соотносительности парадигм чешского и русского императива // *Функциональные исследования: Сб. статей по лингвистике.* Вып. 2. М., 1996. С. 9–23.
- Изотов А. И.* О перформативном побуждении в чешском и русском языках // *Функциональные исследования: Сб. статей по лингвистике.* Вып. 2. М., 1996. С. 24–48.
- Изотов А. И.* Экспликация инклюзивного побуждения в чешском и русском языках // *Лингво-стилистические и лингво-дидактические проблемы коммуникации.* Сб. статей. М., 1996. С. 84–106.
- Изотов А. И.* Автопрескрипция в чешском и русском языках // *Функциональные исследования: Сб. статей по лингвистике.* Вып. 3. М., 1997. С. 21–34.
- Изотов А. И.* Чешский кондиционал vs русское сослагательное наклонение в побудительном высказывании // *Язык, сознание, коммуникация.* Сб. статей. Вып. 1. М., 1997. С. 181–191.
- Изотов А. И.* О двух аналитических императивных конструкциях в современных чешском и русском языках // *Функциональные исследования: Сб. статей по лингвистике.* Вып. 4. М., 1997. С. 78–95.
- Изотов А. И.* Функциональные разновидности «авторитарного» побуждения в чешском и русском языках // *Язык, сознание, коммуникация.* Сб. статей. Вып. 3. М., 1998. С. 56–66.
- Изотов А. И.* О семантическом картировании поля побудительности чешским и русским языками // *Язык, сознание, коммуникация.* Сб. статей. Вып. 4. М., 1998. С. 121–128.
- Изотов А. И.* К соотносительности функционально-семантических категорий побуждения в современных чешском и русском языках // *Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков.* М., 1998. С. 171–228.
- Изотов А. И.* Ономазиологический принцип описания функционально-семантической категории побуждения // *Язык, сознание, коммуникация.* Сб. статей. Вып. 9. М., 1999. С. 72–78.
- Изотов А. И.* Об иллокутивно специализированном побуждении в современных чешском и русском языках // *Язык, сознание, коммуникация.* Сб. статей. Вып. 15. М., 2000. С. 62–70.
- Изотов А. И.* Концептуализация «авторитарного побуждения» в чешском и русском языках // *Язык, сознание, коммуникация.* Сб. статей. Вып. 21. М., 2002. С. 8–23.
- Изотов А. И.* Исследования славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания // *Вестник МГУ. Сер. 9. Филология.* 2002, № 2. С. 208–211.
- Изучение и преподавание сербохорватского языка и югославянских литератур в инославянской среде (Материалы международной научной конференции). М., 1996.



- Исследования по глаголу в славянских языках. Типология и сопоставление. Под ред. А. Бартошевича и А. Г. Широковой, Warszawa – Москва, 1993.
- Исследование славянских языков в русле традиций сравнительно-исторического и сопоставительного языкознания (Информационные материалы и тезисы докладов международной конференции). М., 2001.
- Кирилова М. П.* К вопросу об отглагольных существительных с суффиксом *-nj/e/* в современном сербохорватском языке (в сопоставлении с русским) // Исследования по глаголу в славянских языках. Типология и сопоставление. Warszawa – Москва, 1993. С. 147–156.
- Котова Н. В., Янакиев М.* Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков // Славянская филология. Вып. 7, М., 1968. С. 58–77.
- Котова Н. В., Янакиев М.* Глотометрията експлицитна основите на съпоставителната лингвистика // Съпоставително езикознание. София, 1978, № 1. С. 3–15.
- Котова Н. В.* Глотометрия и сопоставительный синтаксис родственных языков (на материале русского и болгарского языков) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1981, № 4. С. 33–42.
- Котова Н. В., Янакиев М.* Грамматика болгарского языка для владеющих русским языком. М., 2001. 863 стр.
- Лешкова О. О.* Сопоставительное описание категории числа в славянских языках. Деп. ИНИОН, 13655 от 13.07.83. 31 стр.
- Лешкова О. О.* Функционирование собирательных существительных (на материале польского и русского языков) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1983, № 3. С. 50–56.
- Лешкова О. О.* К вопросу о функционально-семантической категории собирательности в русском и польском языках // Советское славяноведение. М., 1984, № 5. С. 92–101.
- Лешкова О. О.* Функционально-семантическая категория собирательности в польском и русском языках. АКД. М., 1984. 24 стр.
- Лешкова О. О.* Аспекты сопоставительного изучения категории числа // Synchroniczne badania porównawcze systemów gramatycznych języków słowiańskich. Warszawa, 1992. S. 37–45.
- Лифанов К. В.* Характер категории одушевленности в словацком языке (в сопоставлении с русским) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. М., 1983, № 3. С. 41–49.
- де Менезеш О. Ю.* Предметно-бытовая лексика чешского и русского языков в ономазиологическом аспекте. АКД. М., 2000. 46 стр.
- Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте (материалы международной российско-македонской научной конференции). М., 1999.
- Останчук О. А.* Название литературного произведения как объект номинации (на материале русской, польской и украинской литератур XIX–XX вв.). АКД. М., 1998. 26 стр.

- Петрухина Е. В.* Функционирование презентных форм глаголов совершенного и несовершенного вида в чешском языке в сравнении с русским. АКД. М., 1978.
- Плотникова О. С.* Особенности функционирования видового противопоставления в южнославянских языках // Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте. М., 1999. С. 74–81.
- Плотникова О. С., Север Й.* Русско-словенский и словенско-русский словарь. Любляна – Москва, 1990. 600 стр.
- Попова Т. П.* Сербскохорватский язык. М., 1986. 271 стр.
- Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках. Под ред. С. Сятковского и Т. С. Тихомировой. М., 1997. 225 стр.
- Скорвид С. С.* Asijské století již začalo a že tam musíme být... [k neformální syntaxi v češtině a v jiných slovanských jazycích z hlediska synchronního i diachronního] // Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.–26. srpna 1998. II. díl. Praha, 1998.
- Совещание-семинар преподавателей польского языка, работающих в университетах России и других славянских стран. М., 1997.
- Совещание-семинар преподавателей славянских языков (Информационные материалы и тезисы докладов). М., 1999.
- Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков. Под ред. А. Г. Широковой. М., 1998. 325 стр.
- Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. Под ред. А. Г. Широковой и Вл. Грабье. М., 1983. 311 стр.
- Творительный падеж в славянских языках. Под ред. С. Б. Бернштейна. М., 1958. 377 стр.
- Тимофеева Л. И.* Семантика субстантивных словосочетаний в русском и польском языках. АКД. Йошкар-Ола, 1998. 24 стр.
- Тимонина Е. В.* К вопросу о функционировании личных местоимений в современном болгарском языке в сопоставлении с русским // Актуальные проблемы славянской филологии (материалы научной конференции). М., 1993. С. 14–15.
- Тимонина Е. В.* Дателни местоимения (количествен анализ на честотата на употребата им в различни типове руски и български текстове) // Съпоставително езиковедие. София, 1978, № 3. С. 45–57.
- Тихомирова Т. С.* Курс польского языка. М., 1988. 279 стр.
- Тихомирова Т. С.* О некатегориальной эквивалентности польских и русских текстов // Типологические и сопоставительные методы в славянском языковедении. М., 1993. С. 205–218.
- Тихомирова Т. С.* Эмотивные прилагательные с квазипричастными суффиксами в польском и русском языках и их семантико-функциональные особенности // Проблемы изучения отношений эквивалентности в славянских языках. М., 1997. С. 230–255.

- Тихомирова Т. С.* Проблемы сопоставительного изучения функционирования именных категорий в русском и польском языках // Научные доклады филологического факультета МГУ. Вып. 3. К XII Международному съезду славистов в Кракове. М., 1998. С. 114–132.
- Толстой И. И.* Сербскохорватско-русский словарь. 50 000 слов. М., 1957; 2 изд. – М., 1958; 3 изд., переработанное и дополненное, 54 000 слов. М., 1970; 4 изд. – М., 1976; 5 изд. – М., 1982.
- Усикова Р. П.* За структурата на зборообразувачкото поле на агенсот во македонскиот јазик во споредба со рускиот // Македонски јазик. XXXI. Скопје, 1980. С. 69–75.
- Усикова Р. П.* К типологии глагола в балканославянских языках (функционирование граммеы настоящего времени) // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-восточной Европы. Лингвистика. М., 1989. С. 97–106.
- Усикова Р. П.* Обид за функционално-семантичката карактеристика на изразните средства за модалноста на веродостојност во македонскиот јазик контрастивно со рускиот // Прилози на МАНУ (XVI, 1, 1991). Скопје, 1992. С. 129–137.
- Усикова Р. П.* Функционирование граммеы настоящего времени в македонском языке сопоставительно с болгарским и русским // Исследования по глаголу в славянских языках. Типология и сопоставление. Warszawa–Москва, 1993. С. 147–156.
- Усикова Р. П.* Способы выражения модальности достоверности в македонском языке сопоставительно с русским // Актуальные проблемы славянской филологии (Материалы научной конференции). М., 1993. С. 47–48.
- Усикова Р. П.* Кон контрастивното изучување на балканословенските јазици: македонски и бугарски // Јазиците на почвата на Македонија. Књ. 3. Скопје, МАНУ, 1996. С. 53–65.
- Усикова Р. П.* Македонско-русский словарь. Македонско-руски речник. Т. 1. А–М, 569 стр.; Т. 2. Н–П, 527 стр.; Т. 3. Р–Ш, 589 стр. Скопје, 1997 (в соавторстве с З. К. Шановой, Е. В. Верижниковой, М. А. Поварничиной).
- Усикова Р. П.* Кон модификациските значења на глаголските префикси во македонскиот литературен јазик контрастивно со рускиот // XXII Научна дискусија. Охрид, 1995. Скопје, 1997. С. 325–328.
- Усикова Р. П.* Забелешки кон значењата на некои модални глаголи во македонскиот јазик контрастивно со рускиот // Научен зборник во чест на проф. д-р Рада Угринова-Скаловска. Скопје, 1997. С. 325–328.
- Широкова А. Г.* Способы выражения многократности в чешском языке (в сравнении с другими славянскими языками) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1966, № 1. С. 39–58.
- Широкова А. Г.* Некоторые замечания о функциональных границах вида в русском и чешском языках // Исследования по славянскому язы-

- кознанию. Сборник в честь шестидесятилетия проф. С. Б. Бернштейна. М., 1971. С. 292–298.
- Широкова А. Г.* О функциональных границах некоторых грамматических категорий глагола в славянских языках // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, 1973. Доклады советской делегации. М., 1973. 33 стр.
- Широкова А. Г.* Функциональные границы некоторых категорий глагола в чешском и русском языках // Вестник МГУ. Сер. 9 Филология. 1973, № 3. С. 26–45.
- Широкова А. Г.* Теоретические предпосылки сопоставительного изучения славянских языков // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1978, № 6. С. 3–13.
- Широкова А. Г.* Некоторые вопросы эквивалентности в связи с транспозицией форм наклонений // Съпоставительно езикознание. София, 1980, № 5.
- Широкова А. Г.* Методологические проблемы сопоставительного изучения близкородственных языков (на материале славянских языков) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1983, № 4. С. 14–26.
- Широкова А. Г.* Проблематика транспозиции форм наклонений в славянских языках (на материале чешского и русского языков) // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983. С. 83–104.
- Широкова А. Г.* Сопоставительное изучение вторичных функций грамматических категорий глагола в славянских языках. К IX Международному съезду славистов. Киев, 1983. М., МГУ, 1983, 41 стр.
- Широкова А. Г.* Некоторые методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков на современном этапе (к взаимоотношению формы и содержания) // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1987, № 4. С. 11–21.
- Широкова А. Г.* Сопоставительное изучение структурных и функциональных особенностей неполнозначительных частей речи // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1988, № 4. С. 39–54.
- Широкова А. Г.* Об имплицитной полифункциональности указательного местоимения *to* в чешском языке и его эксплицитных эквивалентах в русском // Съпоставительно езикознание. София, 1990, № 4–5. С. 392–397.
- Широкова А. Г.* Актуальные проблемы сопоставительного изучения славянских языков // Проблемы сопоставительного изучения грамматического строя славянских языков. М., 1990.
- Широкова А. Г.* Проблемы сопоставительного изучения образно-экспрессивного употребления форм грамматических категорий // Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990. С. 15–35.
- Широкова А. Г., Васильева В. Ф., Едличка А.* Чешский язык. М., 1990, 343 стр.

- Широкова А. Г.* Деривационная универбизация в чешском языке в сопоставлении с русским // Функціонування і розвиток сучасних слов'янських мов. Київ, 1991.
- Широкова А. Г.* Системно-функциональная и узувальная эквивалентность при сопоставительном изучении славянских языков // Вестник МГУ, Сер. 9 Филология. 1992, № 4. С. 27–37.
- Широкова А. Г.* Отношение маркированных многократных глаголов к категории славянского глагольного вида // Исследования по глаголу в славянских языках. Глагольная лексика с точки зрения семантики, словообразования, грамматики. М., 1996.
- Широкова А. Г.* Условия выявления функциональной значимости синсемантических частей речи и определение их межъязыковой эквивалентности (на материале междометий и частиц русского и чешского языков) // Проблема изучения отношений эквивалентности в славянских языках. М., 1997. С. 180–189.
- Широкова А. Г.* Сопоставительное изучение синсемантических частей речи // Научные доклады филологического факультета МГУ. Вып. 3. К XII Международному съезду славистов в Кракове. М., 1998. С. 133–148.
- Широкова А. Г.* Методы, принципы и условия сопоставительного изучения грамматического строя генетически родственных славянских языков // Сопоставительные исследования грамматики и лексики русского и западнославянских языков. М., 1998. С. 10–99.
- Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby. Díl 1.* Praha, 1974, red. A. Širokova a M. Zátovkaňuk; *Díl 2.* Praha, 1983, red. Vl. Hrabě a A. Širokova.

## ЯЗЫКОЗНАНИЕ

---

*В. Ф. Васильева, А. Г. Широкова*

### **ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ И ДИНАМИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ)**

В настоящей работе дается описание чешской языковой ситуации с акцентом на соотношение доминантных форм существования чешского национального языка и анализируются некоторые поступательные процессы на отдельных уровнях системы чешского литературного языка с учетом ее современного функционирования. При этом особо отмечается влияние нынешней общественно-политической ситуации на собственно языковые процессы.

Внешняя сфера языка (экстралингвистические факторы) способна вызвать динамические процессы в его внутренней форме, выражающиеся в структурных и функциональных изменениях языковых единиц. Взаимодействие внешних и внутренних факторов осуществляется в нескольких направлениях. Оно в той или иной степени, как будет показано ниже, отражается на состоянии языковой ситуации, качественных и количественных параметрах лексического состава, а также и на грамматических структурах. Под этим углом зрения и рассматриваются обозначенные аспекты.

Особо важным представляется отметить конвергентность процессов, характеризующих развитие современных европейских языков. Этот факт служит весомым доказательством гносеологического единоначалия языков, универсальности языковой отражательной функции.

#### I. Общая характеристика чешской языковой ситуации

I.1. Напомним, что под языковой ситуацией обычно понимается совокупность образований и форм национального языка, так называемые формы существования национального языка, их функционирование в социальной языковой коммуникации данного общества, взаимоотношение этих форм с точки зрения задействованности в отдельных коммуникативных сферах и межстилевой конкуренции между ними [Jedlička 1972 : 29, Daneš 1997 : 12]. Языковая ситуация характеризуется динамичностью развития, обусловливаемого изменениями в социальной и коммуникативной сферах. Восприимчивость к переменам обеспечивает языковой ситуации постоянное внимание исследователей.

В каждой языковой ситуации, при всем внутреннем своеобразии, находят отражение универсальные социальные процессы, как-то: мировой научно-технический прогресс, интернационализация информацион-

ного пространства, стандартизация образа жизни членов языковых сообществ и др. С большой долей уверенности можно полагать, что на сегодняшний день языковые ситуации различных сообществ испытывают влияние всеобщего интеграционного процесса, охватившего как большие, так и малые государства. Расширение контактов, как известно, открывает путь к активному взаимодействию языков, а тем самым и появлению различного рода инноваций, расширению вариативности языковых форм и, как следствие, ослаблению строгих предписаний литературного (стандартного) языка и возможному пересмотру его норм. Смягчение языковых норм способствует, в свою очередь, активному взаимодействию литературного языка (стандарта) с другими формами существования национального языка: обиходно-разговорной формой, интердиалектами, диалектами, а также сленгами, что приводит к смешению языковых кодов, последующей частичной перестройке внутриязыковых структур. Сосуществование различных форм национального языка и проявляющееся между ними соперничество при реализации коммуникативных функций создают определенное напряжение в языковой ситуации. Оно частично снимается воздействием как внутриязыковых, так и внешних (в частности, интерлингвальными контактами) импульсов развития национального языка. Инновации воспринимаются, хотя и в разном объеме, всеми формами национального языка. В результате создается некий массив общих средств выражения, способствующий выравниванию взаимоотношений между стандартом и субстандартами.

Роль внутриязыковых и внешнеязыковых факторов в динамике языковой ситуации наглядно демонстрирует состояние современного чешского языка.

1.2. Особенностью чешской языковой ситуации является прежде всего то, что литературный чешский язык в силу сложившихся исторических условий стал, как отмечал В. Матезиус, самым архаичным членом представительной семьи славянских литературных языков и фатально отделился от повседневного чешского языка [Mathesius 1947 : 442]. Для чешской языковой ситуации, в отличие от многих других национальных языков, характерно то, что чешский литературный язык имеет более строгие рамки функционирования. Имеется в виду, что он в своей письменной и устной формах употребляется прежде всего в коммуникативной сфере общегосударственной и строго официальной. Нелитературные формы существования языка чешской нации употребляются, как правило, в устных непубличных и неофициальных выступлениях. В качестве типичных средств коммуникации они характерны для определенных коммуникативных сфер, а именно:

1. для семейно-бытовой;

2. для небольших, прежде всего профессиональных групп;
3. для локально ограниченной языковой среды;
4. для языковой среды крупных регионов, особенно с учетом различий, существующих между восточной и западной частями чешской языковой территории [Чешский язык 1990 : 6].

Примечательно то, что чешский литературный язык обычно не используется в качестве устного средства общения в повседневных коммуникативных ситуациях. Чешские коммуниканты являются, условно говоря, двуязычными, соблюдая строгую субординацию стандарта и субстандартов [Daneš 1997 : 14, Sgall 1992 : 18].

1.3. Литературному чешскому языку противопоставлены как диалекты (моравские, силезские, ляхские и окраинные чешские), так и интердиалекты (*obecná čeština*, *obecná moravština*, *obecná hanačtina*, *obecná laština*).

Диалекты, как формы коммуникации, ограничены, как известно, территориально и поэтому не оказывают сколько-нибудь существенного влияния на нормы современного литературного языка. Более значимы в этом отношении интердиалекты и прежде всего обиходно-разговорный чешский язык (*obecná čeština*). На нем говорит основная масса населения собственно чешских областей, а также западной Моравии, что в общем составляет более половины территории Чешской Республики. Чешский обиходно-разговорный язык образовался на базе собственно чешского интердиалекта, но в функциональном отношении перерос его рамки. В настоящее время он является вторым языковым кодом, имеет свои нормы, отличные от норм литературного языка.

По сравнению с обиходно-разговорным языком положение прочих интердиалектов в системе чешского национального языка менее весомо, ибо они имеют меньший функциональный объем.

Сам факт образования интердиалектов свидетельствует об ослаблении территориальных диалектов, снижении их функциональной значимости. С учетом реально существующих форм чешского национального языка языковую ситуацию в общих чертах можно представить в виде полюсной системы, крайние точки которой представляют собой с одной стороны территориальные диалекты, а с другой – литературный язык. Их оппозиция основывается на локальной (территориальной, географической) и функциональной противоположности: региональной ограниченности диалекта противостоит общетерриториальное распространение литературного языка, монофункциональности или ограниченной функциональности диалектов – полифункциональность литературного языка. Чешский обиходно-разговорный язык занимает промежуточное положение между двумя крайними полюсами. Его широкое использование во многих сферах повседневной коммуникации создает благоприятные условия для постоянного контакта двух доминант



чешского национального языка: литературного и обиходно-разговорного. Их активное сосуществование не может не сопровождаться взаимовлиянием, выравниванием системных норм. Очевидное преимущество в этом направлении удерживает обиходно-разговорный язык. Широкую потенциальную базу интерференции составляют отличия обиходно-разговорного языка от литературного на всех уровнях языковой системы. Отметим наиболее важные из них (подробно см.: [Hronek 1972, Sgall-Hronek 1992]).

### 1.3.1. Фonetические особенности

1) В соответствии с [ē] литературного языка в чешском обиходно-разговорном языке в положении середины и конца слова в именах прилагательных, существительных, а также наречиях и глаголах часто представлено [ī], орф. (i, ý). Ср.: *starý město* – лит. *staré město*, *dobrý pero* – лит. *dobré pero*; *To je zajímavý* – лит. *To je zajímavé*; *polívka* – лит. *polévka*, *mlíko* – лит. *mléko*; *dýl* – лит. *déle*, *nýst* – лит. *nést* и т. д. Следует отметить, однако, что слова, выходящие за рамки чисто бытового общения, как и слова заимствованные, указанного сужения не имеют. Они сохраняют литературную огласовку: *lékař*, *léto*; *plénum*, *krédo* и др.

2) Литературное *ý*, а в некоторых случаях и этимологическое *í*, в чешском обиходно-разговорном языке последовательно изменилось в дифтонг *ej*: *tejden* – лит. *týden*, *hodnej kluk* – лит. *hodný kluk*, *brejle* – лит. *brýle*, *zejtra* – лит. *zítra*, *cejtit* – лит. *cítit*, *vozejk* – лит. *vozik*, *lesejček* – лит. *lesíček*. Однако в именных приставочных образованиях представлено *ý*: *výbor*, *vývoj*, *výrobek*, *výkon*, *výstava* и др.

3) Перед начальным *o* в исконных чешских словах, относящихся в основном к сфере бытовой повседневной коммуникации, развилось протетическое *v*: *von* – лит. *on*, *vokno* – лит. *okno*, *vocet* – лит. *ocet*, *voběd* – лит. *oběd*, *vodešel* – лит. *odešel*, *vorat* – лит. *orat*, *voprice* – лит. *oprice* и т. д. Вместе с тем имеются слова, у которых форма с *v* или очень редкая, или вообще отсутствует: *otec*, *ovšem*, *obvod*, *obuv*. Не характерно протетическое *v* для заимствованных слов: *opera*, *organizace*, *orchidea* и др.

4) К основным фонетическим явлениям чешского обиходно-разговорного языка исследователи относят дифтонгизацию *ú > ou* в позиции начала слова: *ouvoz* – лит. *úvoz*, *ouroda* – лит. *úroda*, *oudolí* – лит. *údolí*, *ouhoř* – лит. *úhoř*. Тем не менее указанная дифтонгизация в чешском обиходно-разговорном языке не имеет широкого распространения. Причина этого в том, как отмечает Й. Гронек, что количество слов, начинающихся на *ú*, в чешском языке относительно невелико [Hronek 1972 : 27].

Кроме основных фонетических признаков, отличающих звуковой строй чешского обиходно-разговорного языка от литературной нормы, обычно называется ряд частных явлений, разнящихся по частотности употребления, характеризующихся локальной ограниченно-

стью, а иногда касающихся отдельных слов или словоформ. Речь идет прежде всего о произносительных нормах некоторых звуков и звукосочетаний, а именно:

А) изменении и упрощении согласных: štvrtek – лит. čtvrtek, hamba – лит. hanba, řbitov – лит. hřbitov, dyť – лит. vždyť, žíce – лит. lžíce;

Б) количественном изменении гласных (сокращении долготы и, наоборот, удлинении звука): pomahat – лит. pomáhat, lekárna – лит. lékárna, pego – лит. pégo / pego, dešt – лит. déšt, pivo – лит. pivo, dvěře – лит. dveře;

В) некоторых особенностях произношения заимствованных слов: študent – лит. student, plagát – лит. plakát, Škot – лит. Skot, športka – лит. sportka.

Однако названные явления в той или иной степени встречаются и в устной (неофициальной) форме литературного языка [Hronek 1972 : 32]. По этой причине они не могут быть отнесены к разряду факторов, конституирующих непосредственно фонетическую систему чешского обиходно-разговорного языка.

### 1.3.2. Морфологические особенности

Собственно морфологические отличия обиходно-разговорного языка от литературного обусловлены прежде всего тем, что литературный язык сохранил дифференцированные морфологические формы, соответствующие определенным функциям (значениям), там, где обиходно-разговорный язык имеет унифицированные формы. В значительной степени это касается системы склонения существительных, прилагательных и местоимений. Так, творит. падеж существительных всех трех родов во мн. числе имеет унифицированную форму на *-ma*: ženama, domama, městama, а также nůšema, písňema, věcma, mužema, strojema, soudcema, předsedama, mořema. Ср. в литературном: ženami, domy, nůšemi, písňemi, věcmi, muži, stroji, soudci, předsedy.

В обиходно-разговорном языке в им. пад. мн. числа прилагательных не различается в отличие от языка литературного грамматический род и не выражается категория одушевленности. Во всех трех родах представлена одна унифицированная форма, окончание *-ý*: mladý muži, mladý ženu, mladý děvčata в соответствии с дифференцированными литературными формами *-í, -é, -á*: mladí muži, mladé ženy, mladá děvčata.

Категория рода и категория одушевленности не имеют морфологического выражения во мн. числе и в формах указательного местоимения ten. В им. пад. мн. числа всех трех родов употребляется одно окончание *-y*: ty muži, ty ženy, ty děvčata в соответствии с литературными формами *tí muži, ty ženy, ta děvčata*.

Различия между чешским литературным и обиходно-разговорным языком прослеживаются в некоторых формах косвенных падежей ме-

стоимений, как и прилагательных. Ср.: *tý / tej dobrej ženě* – лит. *té dobré ženě*; *v tej tvej hlavě* – лит. *v té tvé hlavě*; *v tej vysokej trávě* – лит. *v té vysoké trávě*; *v naší dlouhej ulici* – лит. *v naší dlouhé ulici* [Hronek 1972 : 50].

Тенденцией к унификации можно объяснить устранение конкуренции некоторых морфологических форм в чешском обиходно-разговорном языке. Так, в разряде качественных прилагательных полные (местоименные) формы вытеснили именные (краткие) формы: *Dědeček je zdravěj* – лит. *zdráv / zdravý*; *Jsem šťastnej* – лит. *šťasten / šťastný*.

В разряде притяжательных прилагательных типа *bratrův kabát*, *bratřova čepice*, *bratrovo auto* именные формы в чешском обиходно-разговорном языке сохранились только в формах им. ед. и мн., а также отчасти вин. ед. и вин. мн. числа. В остальных падежах, не только во мн. числе, что характерно и для литературного языка, но и в единственном именные формы последовательно заменены полными формами: *bratrovýho kabátu* – лит. *bratřova kabátu*, *bratrovému kabátu* – лит. *bratřovu kabátu...*; *bratřovej čepice* – лит. *bratřovy čepice...*; *bratrovýho auta* – лит. *bratřova auta...*

Тенденцией к выравниванию основ в некоторой степени объясняется и наличие некоторых падежных форм у числительных *dva*, *tři*, *štyry* / *štyři*. Например, числительное *dva* в род. и предл. падежах, наряду с формой *dvou*, характерной и для литературного языка, имеет также форму *dvouch* (ср. русское двух). Числительные *tři*, *štyry* / *štyři* в род. пад. имеют формы *třech*, *štyrech* / *štyřech* (ср. в русском: трех, четырех), в соответствии с лит. формами *tří*, *čtyř*.

2) Сближение и выравнивание морфологических форм в глагольной системе чешского обиходно-разговорного языка прослеживается в двух направлениях:

а) межпарадигматическом (взаимодействие глагольных классов);

б) внутрипарадигматическом (взаимодействие глагольных форм внутри одного класса).

Сближение классов характерно, в частности, для спряжения глаголов типа *nést*, с одной стороны, и глаголов типа *řít*, *kuřovat*, с другой. В литературном языке глаголы указанных типов составляют, как известно, два класса. В обиходно-разговорном языке в результате совпадения окончаний в 1-ом лице ед. числа настоящего времени (*nesu* – *říju*, *kuřuju*), а также в 3-ем лице мн. числа (*nesou* – *říjou*, *kuřoujou*) различия в спряжении двух классов в настоящем времени полностью утратились.

Унификация глагольной основы прослеживается при сопоставлении отдельных глагольных подклассов и групп. Так, глаголы второго класса как с основой на *-et*, так и с основой на *-it* в 3-ем лице мн. числа имеют, как правило, форму на *-ejí*: *sázejí*, *trpějí*, *prosejí* в соответствии с литературными *sázejí*, но *trpí*, *prosí*. Один тип основы имеют в прошедшем вре-

мени все глаголы на *-nou*: minul, vanul, usnul, tisknul, dotknul se, zdvihnul в соответствии с литературными: minul, vanul, usnul, tiskl, dotkl se, zdvihl.

Глаголы с инфинитивом на *-ci* имеют одинаковую основу в формах настоящего времени изъявительного наклонения и повелительного наклонения: řeči, řečeš, ... řečeme, řečete...: řeč! řečme! řečte! в соответствии с литературными книжными формами: reku, řečeš..., řečeme, řečete: řeс! řeсme! řeсte!

Следует отметить также, что сама форма инфинитива на *-ci* в чешском обиходно-разговорном языке представлена формой на *-ct*: řect, těct, říct.

Как специфическую черту чешского обиходно-разговорного языка следует отметить устранение суффикса *-l* в формах причастия прошедшего времени: nes, pek, kvet в соответствии с литературными формами: nesl, pekl, kvetl.

Характерным для чешского обиходно-разговорного языка является употребление в 1-ом лице мн. числа сослагательного наклонения формы *by sme*: abysme, kdybysme в соответствии с литературной формой *bychom*: bychom, kdybychom.

В изъявительном наклонении в значении глагола-связки употребляется форма *seš* в соответствии с лит. *jsi*: Jak seš tu dlouho; Už seš bit dneska potřetí [Hronek 1972 : 37].

### 1.3.3. Синтаксические особенности

Различия между литературным и чешским обиходно-разговорным языком в области синтаксиса не касаются функциональных типов предложений в том смысле, что не существует особых моделей предложений, функционирующих исключительно в обиходно-разговорном языке. Синтаксические модели, в той или иной степени типичные для обиходно-разговорного языка, по сути своей представляют разнообразные модификации конструкций, имеющих в распоряжении литературного языка. Наличие существующих синтаксических различий между двумя доминантными формами национального чешского языка объясняется спецификой коммуникативных сфер, которые они репрезентируют. Одним из основных существующих между ними различий можно считать подготовленность речевого акта в литературном языке и его неподготовленность в обиходно-разговорном. Неофициальные речевые акты характеризуются непринужденностью общения и непосредственным участием в нем говорящих.

Упрощенно схемы предложений в обиходно-разговорном и литературном языке можно представить следующим образом: краткие предложения имеют преимущественно разговорный характер, длинные – относятся к инвентарю письменных, а это значит в основном литературных типов высказываний. С размером предложения связан и ряд

других особенностей: чем короче предложение, тем оно более динамично, тем больше подчинено глаголу. Длинные предложения насыщены именами и их атрибутами. Грубо говоря, неподготовленные речевые акты тяготеют к глаголу, подготовленные – к имени. Неподготовленные речевые акты часто представляют собой фрагментарные предложения, с эллипсом, прерванными высказываниями, наличием обособленных членов предложения и т. д. [Mistrík 1974 : 304].

Синтаксические особенности чешского обиходно-разговорного языка с определенной условностью можно подразделить на две подгруппы:

1) средства выражения, языковые структуры, использующиеся (или не использующиеся) в обиходном языке, т. е. являющиеся для него знаковыми;

2) средства выражения, имеющие разную частотность в двух формах национального языка: литературно-книжном и обиходно-разговорном.

К первой категории прежде всего следует отнести средства выражения, формирующие синтаксические отношения сочинения и подчинения. Так, в соответствии с подчинительными союзами *jelikož, jakmile*, употребляющимися в литературном языке, в обиходном в том же значении употребляются соответственно *protože, jak*. Вместо литературных *takže* и *pročež* в обиходном языке употребляется *tak*, причем подчинительная связь часто заменяется сочинительной: *Přišel pozdě a tak neslyšel začátek* [Sgall-Hronek, 1992 : 65].

В чешском обиходно-разговорном языке отсутствуют деепричастия, формирующие, как известно, определенный тип синтаксической конденсации. Практически не употребляется в обиходном языке и условное наклонение прошедшего времени. Оно последовательно заменяется формами условного наклонения настоящего времени.

Что касается падежной системы, то в чешском обиходно-разговорном языке фактически отсутствует родительный партиципный, т. е. *Přilej mi čaj* в соответствии с литературной формой *Přilej mi čaje*. Вместо литературной формы творительного падежа в функции так называемого непостоянного признака в чешском обиходно-разговорном языке обычно употребляется форма именительного падежа: *Strejček je pekař* в соответствии с литературной формой *Strýček je pekačem* [Sgall-Hronek 1992 : 66].

Для актуального членения предложения в чешском обиходно-разговорном языке характерно то, что рема не имеет строго закрепленной позиции в конце предложения в отличие от литературного книжного языка.

Отличительной чертой чешского обиходно-разговорного языка является положение энклитик, начинающих предложение: *Se ti divím; Sem tam přece byl; Ste neviděli?* [Sgall-Hronek 1992 : 64–65].

Вторую категорию различительных признаков на синтаксическом уровне формирует прежде всего разная частотность в литературном и обиходно-разговорном языке эмоциональных средств выражения (междометий и частиц), которые совместно с модальными средствами активизируют коммуникативную функцию высказывания. К числу наиболее употребительных в обиходно-разговорном языке указанного рода слов и словосочетаний могут быть отнесены следующие: *no, notak, no a, no né, teda, žejo; možná, jistě, (v)opravdu, nabeton, snad, bůhví, prej; hele, víš, víte, víme, to víš; řekněme, tak říkajíc, jak se říká, abych tak řekl, já ti řeknu, řekl bych; bohužel, zaplať pámbu; mimochodem, na mou duši, dejme tomu, jak vidíš.*

То же чрезмерно частотное употребление характеризует и некоторые разряды местоимений. Имеется в виду употребление личных местоимений *já, ty, on* в именительном падеже, а также указательного местоимения *ten*, которые, однако, чаще выполняют эмоциональную или контактоустанавливающую функцию: ср.: *Ta Marie přijde zejtra; To je ten nejkrásnější film, co sem viděl; To sis zase dal; To mrzne; To ho neznáš; Von Pavel nepřišel; Von byl dřív vchod z druhý strany; Vono přšelo.*

Несоразмерно большую частотность имеют в чешском обиходно-разговорном языке так называемые результативные перфектные описательные конструкции типа *mám (měl sem, budu mít, měl bych) uklíženo, měli pračku rozbitou, mám zatopeno* [Sgall-Hronek 1992 : 65–67].

Чаще, чем в литературном языке, в обиходно-разговорном для выражения действия, совершаемого в будущем, употребляются формы настоящего времени, что особенно характерно для глаголов со значением движения: *Já tam zejtra jedu; Já tam zejtra nejdu; Zejtra se hraje kopaná; Zejtra se tančí* и т. п.

Таким образом, синтаксис двух рассматриваемых языковых кодов, с одной стороны, характеризуется определенной близостью, наличием общих синтаксических структур и конструкций, с другой стороны, каждый из них имеет свои специфические черты, являющиеся частными модификациями системных свойств и отношений. В целом же, однако, необходимо отметить значительную функциональную подвижность границ между синтаксическими структурами двух форм чешского национального языка.

#### 1.3.4. Лексические особенности

Различия в словарном составе двух языковых кодов возможно дифференцировать по следующим параметрам:

1) Лексемы, имеющиеся в составе обеих языковых форм, но отличающиеся фонетической огласовкой, словообразовательными или морфологическими формантами: *nýst – nést, brabec – vrabec, trpajzlík – trpaslík, mlejn – mlýn, strejc – strýc; Moravák – Moravan, Pražák – Pražan, šam-*

pus – šampaňské; našima dětma – našimi dětmi, do štyrech hodin – do čtyř hodin, půjdeš s náma – půjdeš s námi и т. д.

2) Синонимические лексемы, имеющие разное происхождение. Нелитературный коррелят часто является заимствованным: furt (нем.) – neustále, fusekle (нем.) – ponožka, fuška (нем.) – dřina, kvartýr (нем.) – byt, cimra (нем.) – místnost и др.

3) Литературные и нелитературные лексемы соотносятся как аналитические и синтетические (универбизованные) наименования: nákladní auto – nákladák, zaměstnanec v dopravě – dopravák, zlepšovací návrh – zlepšovák, spací pytel – spacák, bytový úřad – byťák, osobní vlak – osobák, vedoucí party – parták и т. д.

4) Так называемая безэквивалентная лексика – наименования, употребляющиеся только в одной из форм существования языка. С одной стороны, это лексика книжная, специальная, терминологическая, поэтизмы, с другой, – лексика сниженного стиля, включая и некоторые табуированные имена. Показательны в этом отношении имена с ярко выраженной экспрессивностью, весьма разнородные в семантическом плане. Экспрессивность достигается, как правило, благодаря суффиксам, входящим в арсенал словообразовательных средств обиходно-разговорного языка: vazoun, chrapoun, merenda, švindlěť, troubela, bručidlo, klukanda, fešanda, hovnajz, chromajzl.

Следует особо отметить, что границы между литературными и нелитературными лексическими слоями весьма подвижны. Наблюдается постоянное взаимодействие между ними, и как результат – широкое проникновение лексем из обиходно-разговорного языка в устную форму литературного языка (см. ниже).

I.4. Анализ языковой ситуации предполагает не только вычленение из общенационального языка отдельных форм его существования, но и выявление действующих между ними интеграционных процессов. Наиболее ярко они проявляются во взаимодействии чешского литературного языка (его устной формы) и обиходно-разговорного.

Главенствующую роль в их сближении играют, безусловно, социальные факторы. Важнейшим политическим событием последнего десятилетия ушедшего века стала в Чехословакии «бархатная» революция 1989 г. Политические события, приведшие к смене государственного строя, не могли не повлечь за собой перемены в общественном поведении людей. Как всегда бывает в эпоху революционных потрясений, люди в состоянии эйфории спонтанно выплескивают свои мысли и чувства. Возросшая общественная активность членов социума находит отражение в средствах массовой информации, в периодической печати, на страницах газет и журналов. Формируются новые печатные жанры, прежде всего жанры политической коммуникации. Они характеризуются

языковой раскованностью, симбиозом функционально-стилевых структур [Нещименко 2001 : 98–132, Hlavsová 1997 : 29, Bartošek 1997 : 58]. Границы между ними оказываются чрезвычайно подвижными, нечеткими. Активизируется процесс взаимопроникновения структур, репрезентирующих разные формы существования национального языка. Межстилевая интерференция не может не ослаблять существующие нормы литературного языка и, как полагают исследователи, не исключено, что она может стать предвестником зарождения нового стандарта [Daneš 1997 : 18].

1.4.1. Результаты взаимодействия структур, репрезентирующих разные формы существования национального языка, со всей очевидностью проявляются на лексическом уровне. Это выражается прежде всего в том, что в литературный язык, в его нейтральную форму, проникают и закрепляются лексемы с первоначальными параметрами обиходного языка, а также сленгового типа речи. Номинации такого рода приобретают двойную стилевую принадлежность: с одной стороны, они сохраняют свои исконные коннотации, с другой, – используются в разговорном стиле литературного языка. Если слово прочно закрепляется в литературном языке, оно со временем утрачивает признаки «обиходности» или «сленговости».

К числу лексем, успешно ассимилировавшихся в чешском литературном языке и утративших свою первоначальную функциональную характеристику, относится многочисленный разряд универбов, весьма разнородных в семантическом отношении. Проиллюстрируем сказанное лишь немногими примерами, выборочно извлеченными из словарей современного чешского языка, в которых приводимые ниже лексемы даются как нейтральные, без дополнительных стилистических помет. Богатым количеством универбов располагает предметно-бытовая лексика, в частности, разряд имен со значением одежды, обуви, самых различных предметов обихода: dřeváky, džíny, montérky, texasky, pumpky, gumovky, plátěnky, nylonky, sylonky; nálevka, vařečka, míchačka, naběračka, řezačka, houpačka, čistička, otvírač, spínač, pojistka, měrka, osuška, típytka, stírač, vyogávač...

Как нейтральные воспринимаются в современном чешском языке универбизованные наименования со значением напитков: sodovka, minerálka, kmínka, višňovka, malinovka, ořechovka, becherovka, meruňkovice, slivovice, medovina, hruškovice, třešňovice, jeřábinka...

Приведенные примеры могут быть свободно дополнены стилистически нейтральными универбами из многих других тематических областей, в частности, именами лиц по роду профессии или занятий: češtinář, ruštinář, francouzštinář, drůbežář, rostlinář, ovocnář, dobytkář, včelař, hračkař, knoflíkář, sadař, železničář, stavbář, nábytkář, dřevař...



Первоначальную «обиходность» и «сленговость» утратили многие зоологические и ботанические названия: *hlavatka*, *lupenitka*, *žlaznatka*, *kosatka*, *zrněnka*; *cukrovka*, *bublinatka*, *májovka*, *máslovka*, *netýkavka*, *slaměnka*, *vrbovka*, *ořešák*, *hluchavka*, *vláknice*, *machovka* [SSJČ, SSČ] и многие другие.

I.4.2. Лексические инновации поддерживают проникновение в литературный язык и некоторых фонологических признаков, характерных для нелитературных форм национального языка. Показательно в этом отношении сужение *é > í* в некоторых глагольных, а также и именных формах. Ср.: *létat > lítat*, *svléknout > svlíknout*, *nalévat > nalívat*, *polévka > polívka*, *okénko > okýpko*, *mléko > mlíko* и др. Формы на *é* считаются в современном языке более книжными. Их функциональная оценка, однако, зависит от возрастного показателя носителей чешского языка. Старшим поколением несуженные формы воспринимаются как стилистически нейтральные, возможно, с ослабленным признаком книжного стиля, тогда как суженные формы – как литературно-разговорные или, более того, как обиходно-разговорные. В языковом сознании младших поколений варианты с несуженными формами воспринимаются как явно книжные и даже архаичные, а суженные формы как полностью нейтральные.

Небезынтересно отметить, что существующие фонологические различия в ряде случаев проецируются на уровень морфологический, т. е. устанавливается определенная корреляция между фонологическими и морфологическими характеристиками. Так, упомянутые выше глаголы с корневой морфемой *-lé*, наряду с нулевым окончанием инфинитива, могут также употребляться и с окончанием *-i*, которое считается книжным и даже архаичным: *létat / létati*, *zalévat / zalévati*... У форм тех же глаголов с корневой морфемой *-lí*, проникших в нейтральный стиль из обиходного языка (*obecná čeština*), употребление окончания *-i* абсолютно исключается [Jelínek 1979 : 117].

I.4.3. Взаимодействие национальных языковых форм оказывает существенное влияние на морфологические структуры современного чешского литературного языка. Есть основания утверждать, что это широкомасштабный процесс, развивающийся в разных направлениях и затрагивающий парадигматику всех частей речи. Укажем лишь на некоторые явления, прочно вошедшие в литературный язык, в нейтральный стиль, и вместе с тем на процессы интерференции, только набирающие силу.

I.4.3.1. Под влиянием обиходно-разговорного языка выходит из употребления форма инфинитива на *-ci* у глаголов типа *řéci*, *vléci*. Она заменяется унифицированной формой на *-t*: *řéct*, *vléct*. Утвердились изменения в парадигме спряжения этих глаголов в литературном языке.

Так, в личных формах настоящего времени последовательно представлены основы на шипящий, заменившие прежние финалы на задненебный или гортанный.

singulár

1. *peču* (вместо *peku*)
2. *pečeš*
3. *peče*

plurál

1. *pečeme*
2. *pečete*
3. *pečou* (вместо *pekou*)

1. *můžu* (вместо *mohu*)

1. *můžeme*

2. *můžete*

2. *můžete*

3. *může*

3. *můžou* (вместо *mohou*)

В литературном языке закрепились обиходно-разговорные формы повелительного наклонения этих глаголов (см. выше).

Употребляется в литературном языке изначально обиходная форма *-i* первого лица настоящего времени глаголов с суффиксом *-ova*, типа *děkovat, studovat*. Она функционирует параллельно с исконно литературной формой на *-i*, становящейся книжной: *děkuji / děkuju, studuji / studuju*.

Указанные примеры, число которых может быть значительно дополнено, свидетельствует о том, что влияние обиходно-разговорного узуса имеет не случайный, но системный характер, воздействующий на структурную организацию морфологических средств.

Однако проникновение в литературный язык и упрочение в нем элементов обиходно-разговорного языка не является простым и беспретственным. Хорошо известно, например, то упорное сопротивление со стороны литературной кодификации, которое оказывается проникновению в литературный язык широко функционирующей в повседневной коммуникации унифицированной морфеме *-ta* в творительном падеже множественного числа имен существительных всех типов склонения: *hradama, strojema, ženama, mastěma, růžema* [Jelínek 1979 : 118].

I.4.3.2. Малозаметным явлением для кодификаторов литературного чешского языка остается на сегодняшний день сужение функционирования падежных форм собирательно-видовых числительных типа *dvoje / dvojí, troje / trojí*... на именительный и винительный падежи единственного и множественного числа. В косвенных падежах формы собирательно-видовых числительных при обозначении счета предметов заменяются формами количественных числительных: *dvoje / dvojí nůžku, no dvou nůžek, dvěma nůžkám* (вместо *dvojích, dvojím*). Аналогично: *troje / trojí kama, no tři kamen, třem kamnům* [Mluvnice češtiny 2, 1986 : 403–404]. Указанная тенденция, имеющая широкое распространение в повседневной коммуникации, может превратить словоизменение собирательно-видовых числительных в реликт.

I.5. Проникновение в литературный язык нелитературных структур наблюдается и на синтаксическом уровне. Синтаксические нормы, однако, в отличие от норм морфологических, являются более гибкими, обладают большей вариативностью. Лишь в некоторых случаях, как отмечают исследователи, нарушение правила приводит к тому, что данное высказывание становится, с точки зрения литературного языка, однозначно нелитературным. Скорее оно окажется периферийным, помещенным на границу нормы, стилистически ограниченным, связанным определенными коммуникативными ситуациями [Hlavsa 1988 : 69]. Наиболее очевидно влияние и проникновение в литературный язык нелитературных синтаксических структур в области валентных полей при реализации интенции на уровне грамматической формы. Так, в частности, в обиходно-разговорном языке имеют широкое распространение глагольные конструкции с винительным падежом. Функциональная активность этих конструкций обеспечивает им проникновение в нейтральный функциональный стиль чешского языка, где они вытесняют на периферию литературные формы с родительным падежом. Нормативные грамматики и словари фиксируют наличие вариативных падежных форм, не отмечая при этом каких-либо семантических изменений: *dobýt co / čeho, hledat co / čeho, dosáhnout co / čeho, užít co / čeho* и др. Ср.: *Vojsku císařskému podařilo se města dobýti – Povstalci dobyli město po krátkém boji; Budeme hledat ochrany u našich sousedů – Každý by měl hledat ochranu před AIDS; Výprava dosáhla severního pólu – Výprava dosáhla severní pól*. [Příruční mluvnice 1995 : 428].

Носителями чешского языка и прежде всего представителями молодого поколения формы родительного падежа в указанных и подобных примерах воспринимаются как книжные и даже архаичные, тогда как формы винительного – как полностью нейтральные.

I.6. Широкий спектр коммуникативных сфер, в которых используется обиходно-разговорная форма национального чешского языка (*obecná čeština*), упрочивает ее конкурентный потенциал в отношении литературной формы национального языка и создает благоприятные предпосылки для динамики литературного языка и, как следствие, установление возможных новых норм, включая нормы коммуникативные.

Динамическое развитие языка с последующим установлением относительного равновесия между отдельными формами его существования инициируется не только тесным взаимодействием его отдельных формаций, что относится к внутриязыковому развитию. Импульсом развития языковых структур могут служить и внешнеязыковые факторы. Имеются в виду прежде всего интерлингвальные языковые контакты. Интенсивность межъязыковых отношений во многом зависит от экстралингвистических условий: уровня социально-политического, научно-

технического культурного развития контактирующих социумов. Наиболее сильное внешнеязыковое воздействие наблюдается обычно в периоды кардинальных общественно-политических перемен в языковых социумах. Именно такой исторический момент переживает сейчас чешское общество. Потребности в наименовании новых реалий, неизбежно появляющихся на каждом новом витке исторического развития общества, в значительной степени удовлетворяются заимствованиями.

## II. Влияние интерлингвальных контактов на развитие языкового стандарта

Иноязычное влияние на современный чешский язык реализуется в основном путем прямых заимствований и отражается прежде всего на лексическом составе чешского языка. Пальма первенства в интенсивности воздействия принадлежит, безусловно, англицизмам. Следует особо отметить, что толерантность чешского языка к англицизмам заметно возросла по сравнению с предреволюционными 70-ми годами ушедшего века и в настоящее время, как представляется, достигла своего предела, за которым, вероятно, должны сработать как собственно языковые защитные функции, так и результаты вмешательства кодификаторов.

«Английская болезнь», поразившая в последние годы европейские языки, имеет несколько причин. Первая и объективная заключается в необходимости наименования новых явлений, привнесенных из англоговорящей среды. Вторая причина имеет субъективный характер. Речь идет о заимствованиях, в которых номинативная система языка-рецептора не испытывает потребности. Их появление в чужом языке объясняется стремлением «пользователей» иностранных слов к оригинальности, желанием производить впечатление «образованности». Иначе говоря, это своеобразная дань языковой моде.

Открытая ориентация чешского государства на Запад во всех областях общественно-политической, экономической, а также и культурной жизни явилась чрезвычайно благоприятной предпосылкой для самого широкого притока в них заимствований.

С точки зрения номинативной потребности заимствованную лексику можно разделить, как уже было отмечено выше, на два разряда:

1. заимствования, конкурирующие с функционирующими в языке-рецепторе собственными наименованиями;
2. заимствования, служащие цели номинации новых явлений, для которых в языке-рецепторе соответствующие обозначения отсутствуют.

К наименованиям первой категории относятся, в частности, *premiér* вместо *předseda vlády*, *kabinet ministrů* вместо *rada ministrů*, *exkluzivní rozhovor* вместо *výhradní rozhovor*, *comeback* вместо *návrat*, *aboridžinové* вместо *domorodci*, *expert* вместо *znalec*, *konzenzus* вместо *souhlas* и мно-

гие другие<sup>1</sup>. Следует также отметить, что заимствования могут употребляться в целях специализации понятия: dovoz / import, vývoz / export, schodek / deficit, dypártment / odbor и т. д.<sup>2</sup>

Наименования второй категории относятся прежде всего к новым или получившим в последние годы широкое развитие экономическим, банковским отраслям, к вычислительной технике, электронике, рекламе, к области массовой культуры и др. например: computer / komputer, holdin-gová společnost, management, marketing, clearing / kliring, barter, inflate, deflace, devalvace, dividenda, indexace, kumulace, lobbista, lobbizmus, faktoring, briefing / brífink, skinhead, diskžokej, pentop, peep show / peepshow, cash, pentium, peoplemeter / peoplemetr, perfomance, plotter / plotr, remake, report, ROM, shop, shopping centrum, shopping mall, showgirl, showroom, skateboarding, skatepark, sken / scan, skener / scanner, soap, soap-opera, saund-track, sponzor, superstar, tablet, talk show / talkshow, timing, thrash, Windows и многие другие<sup>3</sup>.

В связи с массированным потоком заимствований и прежде всего англицизмов закономерным является вопрос о степени подготовленности к такому наплыву иностранной лексики чешского (как, впрочем, и других) социума. Чешские исследователи не без оснований отмечают слабую рецепиентную базу представителей чешского языкового коллектива. Главной причиной такого положения является недостаточное знание английского языка, как и знание самих реалий англоговорящей среды. Отсюда часто поспешное копирование иностранных слов и выражений и их неадекватное использование, семантическая модификация заимствований по отношению к языку-оригиналу. Так, многозначное английское background употребляется в чешском языке только в одном из своих значений – «подоплека» [Nová slova v češtině 1998 : 38]; slogan в английском не только «пропагандистский девиз» как в чешском языке, но и «боевой клич» и т. д. Не исключается, однако, что возможные семантические изменения привносятся преднамеренно, с целью «престижности» и «оригинальности». Именно этим, по-видимому, можно объяснить использование английского land / lend в названиях ресторанов, гостиниц и других подобных заведений [Kořenský 1997 : 267].

Грамматические характеристики лексических заимствований порождают морфологические и синтаксические инновации в языке-

---

<sup>1</sup> Ср. аналогичное явление в русском языке: премьер / председатель правительства, кабинет министров / совет министров, парламент / Дума, эксклюзивное интервью / специальное интервью.

<sup>2</sup> Ср. также в русском языке: ввоз / импорт, вывоз / экспорт, недостаток / дефицит, ведомство / департамент.

<sup>3</sup> Примечательно, что и русский язык заимствовал почти все указанные лексемы.

рецепторе. Так, в частности, некоторым заимствованиям свойствен частеречный синкретизм, нетипичный для чешского языка, как языка ярко выраженного флективного типа. Заимствованные англицизмы сохраняют в чешском языке частеречную полифункциональность, варианты которой реализуются, как и в языке-оригинале, в зависимости от порядка слов в предложении. Так, например, грамматические функции существительного и прилагательного выполняют лексемы *raft*, *secondhand*, *soap*, *squash*, *top*, *Windows*, *roll-on* и др. Функцию прилагательного и наречия реализуют лексемы *supper*, *free*, *live*, *on-line*, *techno*. Некоторые лексемы способны выполнять тройственную функцию – существительного, прилагательного и наречия. К ним, в частности, относятся *cash*, *singl*, *soft*, *play-off* [Nová slova v češtině 1998].

Предрасположенность англицизмов к фиксированному порядку слов поддерживает в чешском языке развивающуюся тенденцию к употреблению несогласованных определений в препозиции к определяемому существительному. При этом речь идет не только о квазисловах типа *Rh faktor*, *vř proud*, *CD deska*, *dia koutek*, на что уже неоднократно обращали внимание исследователи [Martincová 1988], но и о словах как семантически, так и структурно полнозначных.

Ср.: *müsli tyčinka*, *soap opera*, *soap pořad*, *off-line provoz*, *raft rodeo*, *cash platba* и *platba cash*, *roll-on deodorant* и *deodorant roll-on* [Nová slova v češtině 1998]. Фиксированное положение в предложении грамматически полифункциональной лексемы обеспечивает реализацию необходимой функции.

Можно полагать, что по английской модели образовались в чешском языке такие наименования, как *Club hotel*, *Coubertin hotel*, *Panorama hotel*, *Fontána hotel*, *Opinion window Praha* и т. д. [Daneš 1997 : 23]. Препозиция несогласованного определения для чешского синтаксиса допустима лишь в некоторых, строго ограниченных случаях [Příruční mluvnice 1995 : 510].

Влияние английского языка на чешский столь велико, что порождает англо-чешский билингвизм, который характерен прежде всего для представителей молодого поколения языкового коллектива [Kořenský 1997 : 266, 270].

Интенсивное проникновение английского языка в различные чешские коммуникативные сферы вызывает гипотетический вопрос об «иноземной языковой угрозе», если таковая существует. Отвечая на поставленный вопрос, следует признать, что негативная английская интерференция, безусловно, имеется. Она проявляется, в частности, в сохранении произносительных норм языка-оригинала, отличных от норм чешского языка. Ср. несколько примеров: *management* [menydžment], *managing* [menydžeri-], *crack* [krek], *comeback* [kambek], *crash* [kreš], *countryman* [kántrymen], *snowboard* [snoubor-] и многие другие.

Вопреки закономерностям чешской морфологической системы, пополняется состав несклоняемых существительных, прилагательных, а также устойчивых субстантивных словосочетаний. К их числу относятся, в частности, следующие имена, сравнительно недавно вошедшие в состав чешского языка: *body, cash, ecu, fantasy, graffiti, lobby; crazy, free, live, high-tech, off-line, on-line, open; all stars, love story, cross country, gender studies, hot line, home care, new age, one-man show* [Nová slova v češtině 1998].

Вместе с тем очевидно, что язык-рецептор стремится подчинить заимствования своей системе. Наиболее ярко это проявляется в процессе вовлечения в систему чешского словоизменения иноземных лексем, часто с нетипичной для чешского языка фонетической или морфологической огласовкой. Отметим, что указанная тенденция имеет в чешском языке более последовательное выражение, чем в русском. В подтверждение сказанного ср. приводимые ниже примеры: *comeback* – *comebacku*, *copy shop* – *copy shopu*, *mail* – *mailu*, *handout* – *handoutu*, *make-up* – *make-upu*, *chappy end* – *chappy endem*, *médium* – *média*, *newspeak* – *newspeaku*, *secondhand* – *secondhandu*, *top* – *topu*, *video* – *videa*, *grass* – *grassu*, *goodwill* – *goodwillu* и др. *Hudba druhého comebacku* známé skupiny; *firma nabízí využití copy shopu*; *poslat dopis mailem*; *přehledný graf byl uveden v handoutu*; *prskavky se zlatým make-upem*; *válka o média* v pluralitní demokracii; *na některých prokuraturách vzniká nový druh newspeaku*; *majitel obchodu chce co nejdříve vedle secondhandu otevřít i prodejnu s novými počítači*; *společenská místnost je vybavena televizí a videem*; *v českém grassu zazněl v osmdesátých letech také saxofon* [Nová slova v češtině 1998].

Интенсивная адаптация заимствований стимулируется высокой степенью морфологической, а также собственно словообразовательной стандартизации, характерной для чешского языка. Это важный защитный фактор, противостоящий языковой англо-американизации. Однако следует отметить, что современное состояние лексического состава чешского языка не подтверждает высказывавшегося ранее предположения относительно того, что «интернациональность английских терминов имеет временный характер» и неизбежно вытесняется собственной терминологией, обеспечивающей «лучшее выражение отношений между понятиями в системе данной отрасли» [Tejner 1979 : 211–212]. Если на структурном уровне позволительно с большей или меньшей степенью надежности прогнозировать характер адаптации заимствований, то на уровне семантическом допустимо выдвинуть лишь некоторые чисто теоретические предположения относительно дальнейшей судьбы иностранных слов в языке-рецепторе. Можно полагать, например, что так называемые модные слова, пришедшие в чешский язык с целью «ори-

гинальности», со временем уйдут на периферию или вообще исчезнут, выйдут из обихода, ибо мода изменчива. И наоборот, есть основания утверждать, что в чешском языке обретут свое новое пристанище те наименования, в которых существует общественная потребность. Речь идет в данном случае о заполнении образовавшегося «номинативного вакуума» в ряде научных, промышленных, экономических областей, а также в области информации, так называемой массовой культуры и др. К их числу могут быть отнесены, в частности, следующие заимствования: broker, courserware, cracker, dealer, clearing, displej, e-mail, enter, fultext, grass, hacker, holding, charter, imagemaker, internet, kamkordér, klip, know-how, kompakt, komputer, kurzor, leasing, lobby, management, manažer, monitoring, newspeak, pager, performance, pixel, provider, punk и т. д. Указанные лексемы приобрели статус интернационализмов, что подтверждает некоторую общность развития словарного состава современных языков.

По всей вероятности, в языке-рецепторе останутся многие заимствования, служащие цели разграничения понятий, заключающие в себе дифференциальный семантический признак: image – pověst, renomé, killer – vrah, index – značka, preference – přednost, sponzor – mecenáš, profit – zisk, prognóza – předpověď, prémie – cena, prezentace – ukázka и т. п.<sup>1</sup>

Стремление языка к семантической и структурной компактности способствует утверждению однословных заимствований, конкурирующих с собственными описательными наименованиями: know-how – nové pokrokové technologie, leadr / lídr – vůdčí osobnost, lifting – chirurgické vyhlazení vrásek na obličejí, lobby – ovlivňování veřejných činitelů při prosazování zájmů určitých skupin osob, sammit – setkání na nejvyšší úrovni, secondhand – obchod s použitým nebo poškozeným zbožím, showgirl – dívka účinkující v zábavném programu (v show), showroom – předváděcí místnost pro prezentaci výrobků и др.

Делая общие выводы относительно процесса заимствования иностранной лексики, в которой явное преимущество имеют англицизмы, следует согласиться с мнением авторов, считающих, что скольконибудь поспешное насильственное вмешательство в интерлингвальные отношения и тем более широкие пуристические кампании, игнорирующие семантическую и стилистическую значимость заимствованных слов, не принесут пользы языку-рецептору [Tejnor 1979 : 212]. Конкуренция между заимствованиями и собственными наименованиями – естественное и даже неизбежное явление, наблюдающееся в каждом

---

<sup>1</sup> Ср. аналогичное функционирование в русском языке: киллер – убийца, имидж – репутация, презентация – представление, бизнес – предпринимательство и др.



развитом языке. И в этой борьбе побеждают те языковые единицы, которые в большей степени удовлетворяют информационные потребности общества, успешно выполняют семантические и стилистические функции и не вызывают «протеста» со стороны структурной организации.

### III. Активные процессы в лексике литературного чешского языка

Лексическая система является, как известно, наиболее подвижным ярусом языка. Она всегда активно реагирует на происходящие в обществе перемены. Естественно поэтому, что революционные события конца 90-х годов XX века не могли не отразиться на характере лексических инноваций. Тенденции, определяющие развитие лексической системы современного литературного чешского языка, имеют много общего с процессами, происходящими в ряде других европейских языков так называемого постперестроечного периода, в том числе русского. Общность семантического развития языков можно классифицировать по следующим параметрам:

1. деактуализация значений, отражающих прежнюю, «доперестроечную» общественно-политическую систему;
2. деидеологизация некоторых пластов лексики, относящихся к области политической и экономической жизни общества;
3. активизация периферийной лексики, являющейся наименованиями реалий, вернувшихся в повседневную жизнь носителей языка;
4. архаизация лексики, отражавшей прежнюю общественную идеологию;
5. появление новых и исчезновение старых моделей концептуальной метафоризации;
6. расширение границ функционирования повседневной лексики [Hlavsová 1997 : 30–35; Bartošek 1997 : 60–62; Ермакова 2000 : 32–63; Какорина 2000 : 67–84].

Обращает на себя внимание тот факт, что все обозначенные выше направления развития лексики прозрачно мотивируются требованиями и условиями социальной среды. Так, например, утрачивают негативную коннотацию некоторые личные имена, относящиеся к «капиталистической» сфере производства. То же самое характерно и для названий некоторых производственных и экономических процессов, игнорировавшихся социалистической системой, а также для ряда наименований общественных учреждений. К их числу могут быть отнесены следующие лексемы: *byznysmen, podnikatel, vlastník, soukromník, burzián, finančník, policista; byznys, podnikatelství, konkurence; burza, policie* и др. Позитивное значение имеют такие неологизмы, как *byznyscentrum, byznysplán: mít schůzku v byznyscentru hotelu Prezident; podílet se na*

přípravě byznysplánu; předložit byznysplán do deseti dnů [Nová slova v češtině 1998].

Отметим, что и русские эквиваленты приведенных выше чешских наименований также деидеологизировались: бизнесмен, собственник, частник, предприниматель, биржевик; бизнес, предпринимательство, биржа и т. д.

Со сменой общественного строя из языка уходят или перемещаются на периферию наименования, отражающие прежние ценности. Новые реалии получают свои имена. Смену актуальных понятий наглядно демонстрируют изменения в составе ряда словосочетаний. Изменения в наборе сочетаемостных компонентов оказываются как бы языковым срезом происшедших в обществе социальных перемен. Так, например, уходят из обращения такие ранее частотные сочетания, как třídní společnost, rozvinutá socialistická společnost, beztřídní komunistická společnost. Опорные слова развивают новые сочетаемостные связи: akciová společnost, dceřina společnost, společnost s majetkovou účastí, společnost s ručením omezeným, holdingová společnost, investiční společnost: splnit požadavky pro založení společnosti s ručením omezeným; k založení společnosti s ručením omezeným stačí i jediná osoba [Nová slova v češtině 1998]<sup>1</sup>.

Аналогичным образом изменяется область сочетаемостных связей существительного vlastnictví – собственность. Типичные ранее сочетания socialistické vlastnictví, všelidové vlastnictví вытеснились сочетаниями podílové vlastnictví, soukromé vlastnictví, individuální vlastnictví, komerční vlastnictví, drobné vlastnictví, společné vlastnictví, pozemkové vlastnictví, neomezené vlastnictví, mít v osobním vlastnictví [Odborný slovník česko-ruský 1999]. Утратили свою значимость сочетания spolupráce socialistických zemí, bratrská spolupráce. Значение, выражаемое опорным компонентом – spolupráce «сотрудничество», реализуется в сочетаниях licenční spolupráce, obchodní spolupráce, výrobní spolupráce и др. По понятным причинам вышел из употребления экономический термин nadplánový zisk – сверхплановая прибыль. Понятийное значение, заключенное в опорном компоненте, в современном языке реализуется в сочетаниях utajený zisk – скрытая прибыль, zakladatelský zisk – учредительская прибыль, zdanitelný zisk – облагаемая прибыль, zisk z kapitalu – прибыль на капитал, původní zisk – первоначальная прибыль, honba za ziskem – погоня за прибылью, mít milionové zisky – иметь миллионные прибыли, podílet se na zisku – участвовать в прибылях, přinášet zisk – приносить прибыль и др.

---

<sup>1</sup> Ср. также в русском: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с имущественным паем и др.

Социальные перемены создают в общественном сознании новые концептуальные образы, которые воплощаются, в частности, во вновь создающихся метафорических наименованиях. Выходят из употребления концептуальные метафоры, воспроизводящие образ мира как пространство враждующих сторон: *třídní zápas, boj za vybudování socialismu, boj za mír, nepřátelé socialismu, armáda renegátů, zrádce dělnického hnutí, ideologická fronta, socialistický tábor, studená válka*. Новые концептуальные метафорические номинации создают самые различные образы общественной жизни, при этом они, однако, не имеют характера идеологической шаблонности: *hydra profesních komor, škrtič reformy, koktejl slibů, národnostní a sociální řhnyky, prognostické krákory, vytunelovat banky, totalitní trvalka* [Bartošek 1997:60].

Кроме отмеченных выше фактов «социологичности» языка, связь языка и общества отчетливо проявляется в тенденциях развития отдельных пластов лексического состава национального языка. Хорошо известно, например, что кардинальные изменения в государственном устройстве неизбежно влекут за собой пополнение разряда архаизмов и историзмов. Не стали исключением и последние общественные перемены в Чехии. К разряду историзмов сегодня могут быть отнесены те имена, которые называли сущности и отношения, характерные для прежнего общественного устройства: *politbyro KSČS, hrdina socialistické práce, pracovní brigáda, socialisticky způsob života, nadplán, soudruh, okresní výbor, lidová milice, Svaz československé mládeže, pionýrská organizace* и др. вместе с тем активизируются наименования, функционировавшие во времена Первой республики: *starosta, radní, obecní úřad, magistrát*. Увеличилась частотность некоторых политических терминов: *kampaň, koalice, orozice, skrutinium* [Hlavsová 1997 : 31].

Небезынтересно отметить, что возвращение некоторых реалий прошлого фиксируется в языке не только возрождением некогда забытой лексики, но иногда и попытками вовлечь в обиход архаичные морфологические формы и категории. Имеется в виду прежде всего участвовавшее употребление архаичных форм инфинитива на *-ti*: *chtěl bych býtí při tom; o tom bude jednatí; hudební pexeso se dá kouputí; můžete vyhrátí* и др. То же самое следует сказать и о формах деепричастия, занимающего в морфологической системе чешского языка периферийное положение: *Vyskytují se lidé, kteří se domnívají, že jsouc žena, nechám se snadno zakřknout sprostotou a aroganci; Odcházeje z velké politiky, hodlá se Dole věnovat charitativní činnosti* [Bartošek 1997 : 52]. Такое искусственное обращение к реликтовым, во всяком случае непродуктивным языковым единицам, можно трактовать как своеобразное проявление языковой моды, отдающей дань прошлому, а также стремлением к броскости и оригинальности. В этой связи интересно провести параллель с русским

языком, в частности, с употреблением ъ в позиции конца слова, которое встречается в современной рекламе, объявлениях, различного рода вывесках и т. п. в русском языке: ломбардь, трактирь, банкъ, циркъ. «Состоялась первая церемония вручения национальной премии «Циркъ»» (пресса), Домъ Ханжонкова, «Товарищество Пироговъ и Караваевъ», «Русский холодъ» и др.

Примечательной чертой семантического развития лексики современного чешского литературного языка являются изменения частотной характеристики ряда наименований. В первую очередь это относится к экономическим терминам. Они имеют широкое употребление не только в специальных коммуникативных сферах, но и в средствах массовой информации, в печати, а также в повседневной коммуникации [Hlavsová 1997 : 30].

Повышенная частотность объясняется ярко выраженной ориентацией на экономическое переустройство чешского общества.

Наряду с изменением частотности номинаций, обращает на себя внимание расширение границ функционирования отдельных пластов лексики, что, в частности, является результатом интенсивного влияния нелитературных формаций на литературный язык (см. выше).

В заключении проведенного фрагментарного анализа состояния современного чешского языка, который, разумеется, не охватывает всех имеющихся проблем, связанных с динамикой его современного развития, следует подчеркнуть масштабный характер происходящих в языке перемен. Они затрагивают все ярусы языковой системы и свидетельствуют о том, что язык, как и социум, переживает переходный период. Он находится в том состоянии, когда требуются комплексные изменения в нормативных предписаниях литературного языка.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Ермакова 2000 – *Ермакова О. П.* Семантические процессы в лексике // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 2000.
- Какорина 2000 – *Какорина Е. В.* Трансформация лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 2000.
- Нещименко 2001 – *Нещименко Г. П.* Динамика речевого стандарта в современной публичной вербальной коммуникации: кризис – тенденция развития? // ВЯ, № 1. 2001.
- Чешский язык 1990 – *Широкова А. Г., Васильева В. Ф., Едличка Е.* Чешский язык. М., 1990.
- Bartošek 1997 – *Bartošek Jar.* Jazyk žurnalistiky // Daneš Fr. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha, 1997.

- Daneš 1997 – *Daneš Fr.* Situace a celkový stav dnešní češtiny // Daneš Fr. a kol. *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha, 1997.
- Jedlička 1978 – *Jedlička A.* Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha, 1978.
- Jelínek 1979 – *Jelínek M.* Posuny v stylistické charakteristice jazykových prostředků a jejich kodifikace // *Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti*. Praha, 1979.
- Hlavsa 1988 – *Hlavsa Zd.* K některým aktuálním otázkám syntaktické normy // *Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe*. Praha, 1988.
- Hlavsová 1997 – *Hlavsová Jar.* Jazyk politiky // Daneš Fr. a kol. *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha, 1997.
- Hronek 1972 – *Hronek Jiří.* Obečná čeština. Praha, 1972.
- Kořenský 1997 – *Kořenský Jan.* Vícejazyčná komunikace v českých zemích // Daneš Fr. a kol. *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha, 1997.
- Martincová 1988 – *Martincová O.* Vývojové procesy v současné české slovní zásobě // *Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe*. Praha, 1988.
- Mathesius 1947 – *Mathesius V.* Problémy české kultury jazykové // *Mathesius V. Čeština a obecný jazykozpyt*. Praha, 1947.
- Mistrík 1977 – *Mistrík J.* Štylistika slovenského jazyka. Bratislava, 1977.
- Mluvnice češtiny 1986, 2 – *Mluvnice češtiny*. Tvarosloví, 2. Praha, 1986.
- Sgall-Hronek 1992 – *Sgall P., Hronek Jiř.* Čeština bez příkras. Praha, 1992.
- Tejnor 1979 – *Tejnor A.* Anglicismy v češtině // *Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti*. Praha, 1979.
- Příruční mluvnice 1995 – *Příruční mluvnice češtiny*. Brno, 1995.

#### С Л О В А Р И

- Nová slova v češtině – *Martincová O.* Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Praha, 1998.
- Odborný slovník česko-ruský 1999 – *Csiriková M., Vysušilová E. a kol.* Odborný slovník Česko-ruský z oblasti ekonomické, politické a právní. Praha, 1999.
- SSČ – Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, 2000.
- SSJČ – Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1958–1971.

*Н. Е. Ананьева*

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ СУБСТАНТИВНЫХ ПАРАДИГМ,  
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В ПОДСИСТЕМЕ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА  
И В ЕГО ОБИХОДНО-РАЗГОВОРНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ**

В 1987 г. вышла в свет монография «Славянская морфонология. Субстантивное словоизменение», подготовленная коллективом авторов под руководством Т. В. Поповой [Славянская морфонология 1987]. В ней были описаны морфонологические явления в парадигмах имен существительных шести современных литературных славянских языков (русского, украинского, чешского, серболужицкого в двух его разновидностях, сербохорватского и болгарского). К сожалению, ограниченный объем издания не позволил тогда включить в раздел о морфонологических явлениях современного чешского языка подготовленные к печати очерки о морфонологических особенностях в субстантивной парадигматике двух специфических подсистем чешского идиома: подсистемы иноязычных слов и народно-обиходной разновидности чешского языка (чешск. *obesná čeština*). Сопоставление морфонологических свойств этих подсистем с морфонологической системой субстантивов современного чешского литературного языка (далее ЧЛЯ) показывает, что по отношению к ней две вышеуказанные подсистемы занимают диаметрально противоположное положение. Если подсистема иноязычных субстантивов имеет более сложную по сравнению с морфонологической субстантивной подсистемой ЧЛЯ структуру, то народно-обиходный чешский язык (далее ЧНОЯ) в сравнении с ЧЛЯ демонстрирует упрощение анализируемого фрагмента морфонологической системы. Для доказательства этого утверждения предложим конкретный анализ указанных двух подсистем.

При изложении материала используются знаки и сокращения, примененные в вышеуказанном коллективном труде. Так, латинские символы *C* ( $C_1$ ,  $C_2$  и т. д.) и *V* обозначают, соответственно, согласный и гласный, чередование согласных обозначается как  $C_1 \sim C_2$  (типы консонантных чередований могут обозначаться как  $T \sim T'$  – чередование по твердости-мягкости,  $K \sim \check{C}$  – чередование заднеязычных и шипящих,  $K \sim C$  – чередование заднеязычных и свистящих и др.), морфонологический нуль обозначается как # (в чередованиях) и  $\emptyset$  в усечениях или наращении (например:  $\langle C_2 \emptyset \sim C_2 C_3 \rangle$  – чередования с наращением,  $\langle C_2 C_3 \sim C_2 \emptyset \rangle$  – чередования с усечением,  $\acute{V} \sim V$  – чередования долгого или дифтонга с кратким гласным,  $V \sim \#$  – чередования гласной фонемы с нулем и т. д.).

Сокращение AP обозначает альтернативный ряд. Подробнее см. [Славянская морфонология 1987 : 14–15].

Перечислим упоминаемые в статье AP ЧЛЯ, которым соответствуют иные морфонологические структуры ЧНОЯ.

*Консонантные ряды:*

2AP<sub>c</sub> – оппозиция <ед., мн. (кроме И.–Зв. сущ. м. р. одуш.)> ~ <И.–Зв. мн. сущ. м. р. одуш. с флексией -i<sub>1</sub>>. 2AP<sub>c</sub> восьмичленен: типы <K~C/Ā> (<k~c, x~š>), <T~T'> (<t~t', d~d', n~n'>), чередования <r~ř>, <h~ž>, <g~z> оппозиция <ед., мн. (кроме П. с флексией -ich)> ~ <П. мн. с флексией -ich>. В сущ. м. р. в 3AP<sub>c</sub> четыре члена: тип <K~C/Ā> (<k~c, x~š>) и звенья <h~z> и <g~z>; в сущ. ср. р. – два члена (<k~c, x~š>).

4AP<sub>c</sub> – оппозиция <ед. (кроме Зв. ед.), мн.> ~ <Зв. ед. с -e<sub>2</sub>>. Представлен в парадигмах сущ. м. р. В 4AP<sub>c</sub> четыре члена (<r~ř, c~č, h~ž, k~č>).

5AP<sub>c</sub> – оппозиция <ед. (И.–В.), мн. (Д., Т., П.)> ~ <остальные падежные формы с флексией -i (i)>. 5AP<sub>c</sub> одночленен: тип <T~T'> (звено <t~t'>). В некоторых существительных нестабилен (pelest, lest).

6AP<sub>c</sub> нестабилен. Оппозиция <ед., мн. (кроме Д., Т., П.)> ~ <мн. (Д., Т., П.)> в сущ. ж. р. на согласный. Двучленен: тип <T'~T> (<t'~t, d'~d>).

7AP<sub>c</sub> нестабилен. Оппозиция <ед., мн. (кроме Т.)> ~ <Т. мн.> в сущ. ж. р. на согласный. Двучленен: тип <T'~T> (<t'~t, d'~d>).

*Вокалические AP:*

1AP<sub>v</sub>. Оппозиция <ед., мн. (кроме Р. с окончанием -ø)> ~ <Р. мн. с окончанием -ø>. Представлен в сущ. ж. р. и ср. р., а также в сущ. pluralia tantum (pl. t.). Типы: <V̇~V> (á~a, í~i), ср. р. <é~e>, <Í~E> (<í~e, ú~o>), <ou~u>. В ж. р. отмечено пять членов (<á~a, í~i, ou~u, í~e, ú~o>), в ср. р. – три члена (<á~a, é~e, í~e>). В сущ. pl. t. – три члена типа <V̇~V> (<á~a, é~e, í~i>).

2AP<sub>v</sub>, нестабильный в ряде парадигм. Оппозиция <ед., мн. (И.–В.–Зв.)> ~ <мн. (Р., Д., П., Т.)>. В сущ. ж. р. на гласный. Тип <V̇~V> (<á~a>).

3AP<sub>v</sub>, нестабильный в ряде лексем. Оппозиция <ед. (кроме Т.), мн. (И.–В.–Зв.)> ~ <Т. ед., мн. (Р., Д., Т., П.)>. Структура 3AP<sub>v</sub> и представленность такая же, как 2AP<sub>v</sub>.

*Количественные чередования (с #):*

e~#<sub>3</sub> – оппозиция <И.–В.–Зв. ед.> ~ <остальные падежные формы> в сущ. ж. р. с нулевой флексией И. ед.

**I. Подсистема иноязычных слов<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Под иноязычными словами в данном разделе понимаются слова, которые для современного состояния ЧЛЯ помещаются в словари иностранных слов. Все остальные слова именуется здесь собственно чешскими, незаимствованными (в

В отличие от собственно чешских слов наиболее типичным морфологическим средством в подсистеме заимствованной лексики являются «наращение» / «усечение» и чередования «С~#», в то время как в незаимствованной лексике «усечение» занимает маргинальное положение среди других морфологических средств, а чередования типа «С~#» отсутствуют.

Характерны для морфологической структуры ряда иноязычных слов и чередования (а не только усечение) целых сегментов. Специфичны по составу чередования «С<sub>1</sub>~С<sub>2</sub>». При этом основной оппозицией, характерной для парадигм слов с количественными чередованиями, является противопоставление основы И. ед. (а при совпадении ее с В. и Зв. ед. также и основы этих падежных форм) основам остальных падежей.

Специфика состава количественных чередований, чередующихся сегментов, альтернатив «С<sub>1</sub>~С<sub>2</sub>» в данной подсистеме обусловлена особенностями языков, из которых заимствованы те или иные слова, взаимодействием тенденции сохранения какой-либо особенности с процессом адаптации лексемы в чешской языковой системе.

Так, такие сегменты, чередующиеся с  $\emptyset$  как *us*, *um* – свидетельство латинского источника (или образования слова по латинскому образцу), а *os* и *on* (типа *diskobolos*, *kosmos*, *epiteton*, *distichon*) – греческого. Сегмент, входящий в состав чередования *ks~g* (*falanx* ~ *falangu*) восходит к греческому оригиналу *phalanx* ~ *phalangos*, а сегменты *eks~ik* (*pontifex* ~ *pontifika*) связаны с латинским источником. К греческому источнику восходит также чередование  $\emptyset$ ~*t* (в *téma* ~ *tématu*, *ion* ~ *iontu*), в то время как альтернатива  $\emptyset$ ~*n* (*etablissement* [*etablismá*] ~ *etablissementu* [*-smánu*]) – результат приспособления слова французского происхождения, сохранившего свое произношение в словарной форме, к особенностям словоизменения чешской языковой системы. Чередование  $\emptyset$ ~*v* (*interview* ~ *interviewu* [*intervjúvu*]) – результат аналогичного взаимодействия тенденций в английском заимствовании.

При этом тождественность материального состава чередований «С~ $\emptyset$ » или чередований различных сегментов не всегда свидетельствует об общности происхождения. Так, чередование *s~t* в парах *pankreas* ~ *pankreatu* и *precedens* ~ *precedentu* – различного происхождения, в первой связано с греческим, а во второй – с латинским источником.

Вообще для ЧЛЯ, в отличие, например, от польского или русского языков, характерна тенденция сохранения во многих случаях словарной формы слова, основа которой отличается от основы иных падежных форм

---

том числе и исторические заимствования, которые на современном этапе развития ЧЛЯ не включаются в словари иностранных слов).



(ср. польск. temat – tematu, русск. тема – темы ~ чешск. téma ~ tématu, польск. komunizm – komunizmu, русск. коммунизм – коммунизма ~ чешск. komunismus – komunismu, польск. epitet – epitetu, русск. эпитет – эпитета ~ чешск. epiteton ~ epiteta и мн. др.). Этим объясняется многообразный характер морфонологических явлений, фиксируемых в подсистеме иноязычных слов ЧЛЯ. Поскольку иностранные слова характерны главным образом для языка книги, особенно общенаучной и терминологической лексики, эти явления в первую очередь показательны для книжного ЧЛЯ, его научного стиля.

Перейдем к конкретному анализу материала.

#### 1. Количественные альтернативы.

##### А. «Усечения» / «наращения».

К «усекаемым» / «наращиваемым» сегментам в подсистеме иноязычных слов ЧЛЯ относятся следующие:

1) Vs (конкретные сегменты *us, os, es, is*).

2) VN (конкретные сегменты: *um, om*).

Сегмент Vs при V = o, u, e – показатель основы слов м. р. с нулевой флексией в И. ед., а при V = i – показатель основы слов ж. р. с аналогичной флексией И. ед. Сегмент VN маркирует определенные члены парадигмы слов ср. р. Различие оппозиций, оформляемых чередованиями Vs~∅ и VN~∅, обусловлено особенностями тех словоизменительных классов, парадигму которых они маркируют. Альтернатива Vs~∅ в зависимости от того, относится данное существительное к м. р. или ж. р., а внутри слов м. р. к классу одушевленных или неодушевленных, оформляет соответственно оппозиции <И. ед. ~ остальные падежные формы<sup>1</sup> (м. р. одуш.)> и <И.–В. ед. ~ ОПФ> (м. р. неодуш., ж. р.). Альтернатива VN~∅ всегда оформляет оппозицию <И.–В.–(Зв.) ед. ~ ОПФ>. «Неусеченный» («расширенный») вариант основы всегда характерен для минимального числа словоформ (И. ед., И.–В. ед., И.–В.–Зв. ед.).

Примеры существительных с чередованием Vs~∅.

1) Оппозиция <И.–В. ед.> ~ <ОПФ> м. р.: слова типа kosmos “космос” ~ kosmu..., Lesbos “Лесбос” ~ Lesbu..., Pontos // Pontus “Понт” ~ Ponta, hádes “ад” ~ hádu..., archaismus “архаизм” ~ archaismu..., expresionismus “экспрессионизм” ~ expresionismu...; ж. р.: слова типа epizeuxis литер. “повторение” ~ epizeuxe...

В словах, которые по своей семантике не употребляются во мн. ч. (ср. kosmos, hádes, expresionismus), оппозиция «усеченная / неусеченная форма» представлена только в парадигме ед. ч. (<И.–В. ед.> ~ <остальные формы ед. ч.>).

---

<sup>1</sup> Далее в целях экономии места мы пользуемся аббревиатурой ОПФ.

2) Оппозиция <И. ед.> ~ <ОПФ> м. р.: слова типа *diskobolos* “дискобол” ~ *diskobola*<sup>1</sup>, *hercules* “геркулес” ~ *herkula*..., *brontosaurus* “бронтозавр” ~ *brontosaura*..., *ichtyosaurus* “ихтиозавр” ~ *ichtyosaura*..., *Kristus* “Христос” ~ *Krista*..., *nuncius* [*nuncijs*] “нунций” ~ *nuncia* [*nuncijsa*]..., *generalisimus* “генералиссимус” ~ *generalisima*..., *génius* [*génijus*] “гений” ~ *génia* [*génijsa*]...

Помимо усечения, в парадигме слов указанных типов могут быть представлены при наличии соответствующих морфонологических позиций (например, флексии И. мн. -i и других) консонантные чередования, типичные и для чешских слов. Ср. *brontosaurus* ~ И. (Зв.) мн. *brontosauři* при Р. ед. *brontosaura*, Д. ед. *brontosauřovi* и т. д. Или для *kokus* “кокк” в П. мн. *kočích*.

Лексическая нагруженность указанных чередований в ряде случаев достаточно велика. Например, чередования *us-ø*, благодаря вхождению *us* в состав *-ismus*, который является продуктивным средством образования названий явлений и направлений (типа *altruismus* “альтруизм”, (*anti*)*fašismus* “(анти)фашизм”, *kapitalismus* “капитализм”, *centrismus* “центризм”, *impresionismus* “импрессионизм”, *alogismus* “алогичность”, *nudismus* “нудизм”, *alkoholismus* “алкоголизм”, *imperialismus* “империализм”, *lartpouřartismus* “искусство для искусства” и мн. др.). В [Slavíčková 1975] приведено 201 слово, относящееся к этой словообразовательной категории, с формантом *-ismus*. О продуктивности данной формации свидетельствует самостоятельное употребление слова *ismus* “изм”. При этом если большинство слов на *-ismus*, как отмечалось выше, обычно не употребляется во мн. ч., то форма *ismu* напротив более частотна, чем форма ед. ч.

Достаточно многочисленны и другие лексические группы на *-us*: названия понятий, явлений, предметов (ср. *sexus* “секс”, *rytmus* “ритм”, *uzus* // *usus* “обычай”, *logarithmus* “логарифм”, *mýtus* “миф”, *řitus* “ритуал”). Значительную часть в последней группе занимает специальная, терминологическая лексика: ср. *kokus* биол. “кокк, кокки”, *ponius* техн. “нониус”.

В некоторых словах на *-us*, обычно двусложной структуры в И. ед., возможны дублетные формы косвенных падежей: не только «усеченные», но и от основы на *-us*. Примеры: *turnus* “очередь, круг, смена” ~ *turnusu* // *turnu*, *virus* “вирус” ~ *virusu* // *viru*. «Усеченные» и «неусеченные» формы косвенных падежей могут различаться фреквентностью. Так, из

<sup>1</sup> Исключение составляет лексема *héros* “герой” (проникшая, вероятно, из письм. французского и восходящая к др.-греч.). В парадигме этой лексемы усечается только конечный согласный, а не весь сегмент *os*: *héros* ~ *héřoa*... Учитывая характер оппозиции, образуемой этим чередованием, мы рассматриваем его здесь, а не в разделе «Чередования #-С».

двух форм *turnusu // turnu* вторая является более редкой. Возможны случаи дублетизма только в одной числовой парадигме. Так, для существительного *ponius* во всех формах ед. ч., кроме И.–В. ед., фиксируются усеченные формы (*ponia [ponija], poniu [poniju]*...), а во мн. ч. возможны параллельные образования с усечением и без (ср. И.–В.–Зв. мн. *ponie // poniusy*, Р. мн. *poniû // poniusû* и т. д.). Встречается дублетизм и в И. ед.: *alveolus // alveol* “альвеола”, *virus // vir*.

Сегмент VN (конкретные сегменты *im* и *on*) маркирует парадигму существительных ср. р., среди которых большое число относится к терминологической лексике. Ср. из лингвистической терминологии: *imperfektum* “имперфект”, *arelativum* “нарицательное имя существительное, апеллятив”, *iterativum* “многократный глагол, итератив”, *kompozitum // kompositum* “сложное слово”, *enklitikon* “энклитика”; или литературоведческой: *distichon* “дистих”, *epiteton* “эпитет”. Ср. также примеры терминов других наук: химии (*amonium* “аммоний”), медицины (*ambulatorium* “амбулатория”, *anestetikum* “анестезирующее, обезболивающее средство”, *analgetikum* “анальгетик”), геологии (*aluvium [-lú-]* “алювий”, *diluvium [-lú-]* “делювий”), музыкального искусства (*preludium* “прелюд, прелюдия”) и др.

Есть и слова, принадлежащие общеупотребительному слою лексики: ср. *album* “альбом” (*alba...*), *centrum* “центр” (*centra...*), *faktum* “факт” (*fakta...*), *stipendium* “стипендия” (*stipendia...*), *muzeum* “музей” (*muzea...*), *sympozion* “симпозиум” / *sympozia...*). В [Slavíčková 1975] приводится 185 слов на *-um*.

Подобно существительным м. р. с сегментом Vs в И. ед. в существительных ср. р. на *im* и *on* возможны колебания усеченных / неусеченных форм как для И. ед. (ср. наличие наряду с *faktum* дублетизма *fakt*), так и для косвенных падежей (ср. И.–В. *skioptikon ~ skioptika // skioptikonu, skioptiku // skioptikonu* и т. д.).

Как и в существительных м. р., в заимствованиях ср. р. на *on* и *im* при наличии в парадигме соответствующей морфонологической позиции представлены чередования, свойственные и незаимствованному слою лексики ЧЛЯ. Например, при наличии *-ich* в П. мн. в лексеме *distichon* в ее парадигме представлено чередование *x~š*, оформляющее оппозицию: И., Р., Д., В. (Зв.), П., Т. ед., И., Р., Д., В. (Зв.), Т. мн. ~ П. мн. Указанная альтернатива в данной лексеме нестабильна, поскольку известны две дублетные формы П. мн.: (o) *distichách // distišich*.

Падежной парадигме лексемы *centrum*, кроме усечения в косвенных падежах ед. ч. и всех членах парадигмы мн. ч., свойственно также чередование *ø~e*, оформляющее оппозицию всех форм, кроме Р. мн., форме Р. мн. (*center*).

Одинаковую морфонологическую структуру могут иметь парадигмы с различными морфонологическими показателями. Так, слова типа *enklitikon*, *epiteton* и *sympozion* имеют одну и ту же морфонологическую структуру основы (наращение в И.–В. (Зв.) ед.) при различии флексий П. мн. во всех трех лексемах (-ech в *epiteton*, -ách в *enklitikon*, -ích в *sympozion*) и иных показателей Р. и Д. мн. в *sympozion* в отличие от остальных двух (*sympozii*, *sympoziiim* при *epitet*, *enklitik* и *epitetum*, *enklitikum*).

#### Б. Чередования #~С.

В качестве С, чередующегося с нулем, выступают передние (некомпактные) согласные t, n, v<sup>1</sup>. В отличие от чередования #~е, свойственного исконно чешской лексике, которое представлено внутри финальной консонантной зоны основы, чередование #~С фиксируется непосредственно перед флексией, его члены сами являются конечными элементами основы. Этим оно сближается с традиционным усечением / наращением.

Альтернатива #~С оформляет оппозицию И.–В. (в ср. р. Зв.) ед. остальным формам. В отличие от рассмотренного выше «усечения» более «краткой» является словарная и совпадающие с ней формы.

Чередование #~t представлено в существительных м. р. и ср. р. (греческих или образованных по их образцу). В существительных м. р. #~t оформляет оппозицию И.–В. ед. ~ ОПФ.

#### Примеры:

м. р.: И.–В. ед. *ion* [ijón // jón] “ион” ~ Р. ед. *jontu...*, *anion* [ó] хим. “анион” ~ Р. ед. *aniontu...*;

ср. р.: И.–В. (Зв.) ед. *drama* “драма” ~ Р. ед. *dramatu...*, *téma* “тема” ~ *tématu...*, *fonéma* “фонема” ~ *fonématu...*, *axióma* “аксиома” ~ *axiómatu...*

Как и в случаях усечения сегментов Vs, Vn, возможны колебания в отдельных лексемах. Так, ступень t возможна и в И.–В. ед. в лексемах *anion* [-ó-] // *aniont*, *ion* [ó] // *iont*. При возможности дублетизмов по м. р. *foném*, *axióm* в парадигме названий этих понятий может отсутствовать чередование #~t (*foném* – *fonémtu...*, *axióm* – *axiómtu*). Родовая принадлежность может определять и формы косвенных падежей. Так, в существительных *panogáma* и *astma* при изменении по ср. р. представлена ступень t (*panogámatu*, *astmatu...*), а при изменении по ж. р. – нулевая (*panogámu*, *astmu...*). Наконец, в некоторых лексемах словарная форма может исполь-

<sup>1</sup> Этот ряд можно было бы расширить за счет члена s в *héros* ~ *héroa...*, но учитывая характер оппозиции, оформляемой чередованием s~ø в этой лексеме (совпадение ее с рассмотренными в А. и отличие от анализируемых в данной части), мы рассмотрели эту альтернативу выше.

зоваться в функциях различных падежей. Ср. наряду с *aróma* “аромат, букет” ~ *matu* параллельное употребление несклоняемой формы *aróma*.

Чередование #~n представлено в парадигме галлицизмов м. р., оформляя в них оппозицию И.–В. (Зв.) ед. ~ ОПФ. Примеры: *etablissement* [-smá] // *etablismá* “устройство, основание, учреждение” ~ Р. ед. *etablissementu* [-smánu]...; *enjambement* [anžambmá] лит. “перенос” ~ Р. ед. *enjambementu* [-mánu].

Лексическую нагруженность этого чередования ограничивает тот факт, что многие заимствования указанной фонологической структуры относятся к несклоняемым. Ср. *engagement* // *angažmá* “ангажемент”, *aranžmá* // *aranžement* “устройство, аранжировка”, *apartmá* // *apartment* “апартамент, апартаменты”, *abonmá* // *abonement* “абонемент (концертн., театр.); подписка (на газеты и т. п.)” и мн. др. Даже для слов, которые изменяются по парадигме м. р., существует возможность употребления неизменяемой словарной формы в функции различных падежей. Ср. *enjambement* ~ -mentu [-mánu] // нескл., *etablissement* // *etablismá* ~ -mentu // [-mánu] // нескл.

В последнее время в разговорной форме ЧЛЯ проявляется и третья тенденция: произношение форм на -ment по нормам чешской орфоэпии и изменение их как основ м. р. с t-исходом основы (ср. русск. ангажемент – ангажемента, абонемент – абонемент и т. п.).

Чередование #~v отмечается в англицизмах типа *view* [-vjú] ~ *interviewu* [vjúvu]. Как и существительные на -ment, эти субстантивы могут сохранять неизменяемой словарную форму в функции различных падежей.

## 2. Чередования C<sub>1</sub>~C<sub>2</sub>.

Специфичны также типы консонантных чередований в словоизменении заимствований.

Если во всех типах исконно чешских чередований правые и левые члены альтернатив имеют одну и ту же характеристику по отношению к дифференциальному признаку звонкость-глухость (либо звонкие, либо глухие: ср. *h~z* или *k~c* в типе *K~C* или *t~t'*, *d~d'* в типе *T~T'*, то в заимствованиях отмечено чередование глухого *s* со звонким *d*.

Если в арсенале морфонологических средств, обусловленных историческими фонетическими закономерностями чешского языка, чередование по резкости-нерезкости представлено одной парой *ř~r*, то в заимствованной лексике этот тип консонантных чередований представлен иной парой: *s~t*. Кроме того представлено, как отмечалось выше, чередование *s~d*, члены которого противопоставлены друг другу комплексом фонологических признаков: резкость, глухость ~ нерезкость, звонкость.

Альтернатива *s ~ t* маркирует парадигмы слов типа *pankreas* “панкреатит”, *precedens* “прецедент”, оформляя оппозицию И.–В. ед. ~ ОПФ: *pan-*

kreas ~ pankreatu..., precedens ~ precedentu... О разном происхождении этих слов и, соответственно, чередований см. выше.

В существительных ж. р. типа bronchitis [-ti-] “бронхит” наблюдается тернарное чередование. Наличие в нем крайнего правого члена обусловлено уже закономерностями собственно чешской языковой системы: s~d~d'. S маркирует исход основы И. ед. bronchitis<sup>1</sup>, d – остальных падежных форм, кроме Д.–П. ед., d' – Д.–П. ед. При наличии дублета И. ед. bronchitida [-tí] парадигму лексемы характеризует обычное для существительных данного словоизменительного типа чередование d~d'.

Как и в случаях с «усечением», при чередованиях с # и чередованиях C<sub>1</sub>~C<sub>2</sub> семантика существительного влияет на употребимость / неупотребимость форм мн. ч. Например, в названиях болезней pankreas, astma парадигмы мн. ч. неупотребимы, что влияет на характер оппозиции: И.–В.–(Зв.) ед. противопоставлены остальным формам ед. ч.

### 3. Чередование сегментов.

Большинство чередующихся сегментов включает в качестве одного из членов сочетание ks (орфогр. x). Поскольку в парадигмах слов с чередованием различных сегментов или чередованием сегмента с одиночным согласным представлены также морфонологические позиции, обуславливающие альтернации, неспецифичные для заимствованной лексики, для рассматриваемых лексем, как правило, характерны тернарные чередования. При этом два члена этих чередований обычно образуют двучленную альтернацию в соответствующих словоизменительных типах заимствованной лексики.

Примеры конкретных чередований:

а) ks~g~z. Маркирует падежную парадигму слов ж. р. типа falanx “фаланга” и оформляет оппозицию И. ед. ~ Р., В., Зв., Т. ед., И.–В.–(Зв.), Р., Д., П., Т. мн. ~ Д.–П. ед.: И. ед. falanx ~ Р. ед. falangy... ~ Д.–П. ед. falanze.

В состав сегментов могут входить и разные гласные, противопоставленные по степени подъема (ср. e~i) или по краткости – долготе (ср. o~ó). См. б) и в).

б) eks (орфогр. ex)~ik~ic. Иная запись: eks~i (k~c). Представлено в парадигме слов типа pontifex “понтифик, член высшей коллегии жрецов в Древнем Риме”, где оформляет оппозицию И. ед. ~ Р., Д., В., Зв.,

---

<sup>1</sup> Хотя позиция конца слова является слабой для признака глухость-звонкость, а в парадигме вследствие чередования отсутствует позиция перед гласным, мы в данном случае при восстановлении основного вида фонемы опираемся на язык-источник, в котором в подобных случаях представлена сигма (ср. тип ἡ ἔλτις «надежда» ~ ἔλτιδ). Так же определяется конечный согласный в «усекаемых» в большинстве членов парадигмы *us, os, es*.

П., Т. ед., И., Р., Д., В., Зв., Т. мн. ~ П. мн. (pontifex ~ pontifika... ~ pontificích).

Как и в словах типа bronchitis, в лексеме falanx возможен дублетизм с адаптированной огласовкой И. ед. (falanga), при наличии которой в парадигме представлено только типичное для всего запаса лексем ж. р. с g-финалью И. ед. чередование g~z.

в) o~ón. Представлено, например, в faraο “фараон”, где И. ед. с o противопоставлен всем остальным формам с ón (faraóna).

Как и во многих указанных выше типах, возможность дублетизма И. ед. с ón (faraón) свидетельствует о нестабильности чередования в парадигме данной лексемы. Наличие чередования является даже более редким явлением по сравнению с его отсутствием, поскольку из двух дублетизмов И. ед. форма на ón более употребительна.

#### 4. Чередования V<sub>1</sub>~V<sub>2</sub>.

Кроме вокалических чередований, входящих в состав чередующихся сегментов (eks~i (k~c)) или чередующихся с сегментами (o~ón), в парадигме иноязычных лексем фиксируются и чередования одиночных гласных. Это чередование по степени подъема и долготе-краткости. Чередование по степени подъема (конкретные альтернанты e~i) маркирует падежную парадигму слов ср. р. типа rponomen “местоимение”, оформляя оппозицию И.–В. (Зв.) ед. (с e) остальным падежным формам (с i): И.–В. (Зв.) ед. rponomen ~ Р. ед. rponomina, Д. ед. rponominu...

Иноязычной лексике свойственны чередования типа V~V, отсутствующие в исконно чешской лексике. Это альтернатива ó~o в парадигме слов м. р. типа ion [-ó-], anion [-ó-], изофункциональное чередованию #~t. Так же как чередование #~t, альтернатива ó~o является нестабильной вследствие возможности дублетов И.–В. ед. с o кратким (iont, aniont).

Наряду с чередованиями, специфическими для иноязычной подсистемы, представлены также чередования, совпадающие по составу с альтернативами по долготе-краткости. Например, чередование i~í в bronchitis ~ bronchitidy [tí], изофункциональное альтернативы s~d. Как и для чередования s~d, альтернатива i~í нестабильна вследствие возможности дублета в И. ед. с í (bronchitida).

Часто долгота в заимствованиях не обозначается на письме, что увеличивает число колебаний и усиливает нестабильный в целом характер вокалических альтернатив.

#### 5. Явление супплетивизма.

Подобно количественным и качественным чередованиям и в отличие от супплетивных субстантивных основ исконного происхождения, супплетивные основы иноязычной подсистемы противопоставляют И. ед. остальным членам парадигмы. Например, И. ед. Zeus «Зевс» – основа

остальных падежных форм (с усечением сегмента *us*) имеет вид *Di* с [d]: *Dia, Diovī, Dia, Die, Diem*.

## II. Подсистема ЧНОЯ.

Особенности морфонологической подсистемы ЧНОЯ определяются главным образом некоторыми специфическими чертами его морфологической системы, отличающими ее от соответствующей системы ЧЛЯ.

Фонетические и фонологические признаки ЧНОЯ<sup>1</sup> не влияют на морфонологическую структуру, состав и количество АР ЧНОЯ в смысле наличия каких-либо отличий между ЧНОЯ и ЧЛЯ. Все фонетические и фонологические признаки ЧНОЯ ведут главным образом к изменению по сравнению с ЧЛЯ фонологического облика некоторых флексий (в том числе и субстантивных: ср. *stolŭm* с (-*ŭm*-) в ЧЛЯ и *stolum* с (-*um*) в ЧНОЯ) и фонологического облика некоторых основ лексем, в которых представлены те или иные морфонологические явления. При этом большинство отличий в основе не касается зоны, в которой представлено варьирование сегментов в пределах парадигмы.

Так, вследствие наличия в ЧНОЯ *í*, соответствующего *é* в ЧЛЯ в окончаниях сложных прилагательных и внутри основ после *l*, *mléko* ЧЛЯ представлено в ЧНОЯ как *mlíko* или в результате соответствия в определенных позициях *ý* (а после *s*, *z*, *s*, иногда *l* и *í*) ЧЛЯ *ej* в ЧНОЯ литер. *mlŭp* имеет в ЧНОЯ вид *mlējn*.

В связи с такими особенностями вокализма ЧНОЯ, как наличие в начале слова и на морфемном стыке сложных слов в качестве соответствий *o* и *ú* ЧЛЯ *vo* и *ou* ЧНОЯ, в ЧНОЯ представлены, например, такие формы, как: *vočŭnko* (литер. *okénko* и *okŭnko*), *vočet* (литер. *ocet*), *voheŭ* (литер. *oheŭ*), *vočno* (литер. *okno*), *vobec* (литер. *obec*), *ouřad* (литер. *úřad*), *oužeh* (литер. *úžeh*), *ouroda* (литер. *úroda*) и мн. др.

Однако вследствие «распыленности», по словам Й. Гронека, указанных фонетических особенностей ЧНОЯ не только по отдельным фонетическим и морфологическим позициям, но нередко и по отдельным лексемам (ср. *léto*, *pégo*, но *mlíko*, *starý město*) даже не всегда представлены различия подобного рода в фонологическом облике лексем ЧНОЯ и ЧЛЯ. Ср. и в ЧЛЯ и в ЧНОЯ только *úhel*, *účet* (нет в ЧНОЯ *\*ouhel*, *\*oučet*) или *otec* (нет в ЧНОЯ формы *\*votec*).

Лексическая «привязанность» указанных вокалических особенностей ЧНОЯ не позволяет утверждать, что лексически ограниченным чередованиям ЧЛЯ *é~e* или *í~e* соответствуют в ЧНОЯ пары *í~e* или *ej~e*, что возможно было бы при необусловленности этих процессов позицией и лексикой. Тем более, что картина усложняется при наличии кратких форм

---

<sup>1</sup> Об особенностях ЧНОЯ см. в [Hronek 1972].



(известных, впрочем, и ЧЛЯ) типа *dešť', pero, leto* и вторичных с экспрессивным удлинением (*dvěře, péro*) и под.

Более мелкие фонетические явления ЧНОЯ (которые отмечаются и в небрежном стиле или аллегровом темпе речи и в устной форме ЧЛЯ) по преимуществу влияют также на фонологический облик лексем, в том числе и тех, в которых представлены морфонологические чередования. При этом, за немногими исключениями, несоответствие в фонологическом облике лексемы в ЧНОЯ и ЧЛЯ отмечается вне зоны альтернативных изменений.

Например, упрощения групп согласных приводят к появлению форм типа *kadlec < tkadlec* (в ЧЛЯ представлено в фамилии *Kadlec*), *méno < jméno*, *řbitov < hřbitov*, *sjetlo < světlo*, *žíce < lžíce*; изменение *s > š* перед взрывным вызывает фиксацию форм типа *študent < student*, *Škot < Skot* и под.

В редких случаях фонетические явления влияют на изменение вида чередования. Например, сокращение *ú* в последнем слоге может привести к наличию в ЧНОЯ в качестве соответствия чередованию ЧЛЯ типа *Í~Е* чередования типа *Í~Е* (конкретная альтернатива *ú~o*: ср. *lúj ~ loje*).

Фонетическое явление может вызвать и изменение качества  $C_1$  или  $C_2$  в существительных с конечным сегментом основы  $C_1C_2$ . Например: вместо  $C_2 = s$  в ЧНОЯ и небрежном стиле ЧЛЯ в лексеме *karpa* отмечается  $C_2 = c$  (*карса*) или вместо  $C_1 = n$  в лексеме *hanba*  $C_1 = m$  (*хамба*).

Однако главный источник частных различий в морфонологической подсистеме ЧНОЯ и ЧЛЯ – это, как уже отмечалось, морфологические особенности той и другой разновидности чешского языка, обусловленные общим более архаическим характером ЧЛЯ по сравнению с ЧНОЯ, присущим первому с момента его возрождения, когда воссоздатели ЧЛЯ сознательно ориентировались на литературные традиции XVI в. В частности, в именном склонении эти отличия проявляются в таких тенденциях ЧНОЯ, как, во-первых, стремление к полифункциональности одной формы, слиянию форм с различными в ЧЛЯ функциями (хотя отмечаются и случаи многозначности формы ЧЛЯ, соответствующей разным формам ЧНОЯ) и, во-вторых, большое наличие форм, являющихся результатами аналогических процессов.

Особенности морфологической системы ЧНОЯ определяют следующие конкретные различия в морфонологических подсистемах ЧЛЯ и ЧНОЯ.

1) Отсутствие в ЧНОЯ того или иного АР ЧЛЯ, отдельного чередования или какого-либо другого морфонологического явления:

а) отсутствие  $3AP_c$  вследствие наличия во всех существительных м. и ср. р. с заднеязычной финалью основы в П. мн. флексии *-ách* (*v, o klu-kách, vojakách, rampouchách* и под.);

б) обычное отсутствие 4AP<sub>c</sub> (звенья г~ġ, с~š) ЧЛЯ вследствие преимущественного употребления в ЧНОЯ в функции Зв. ед. (обыкновенно после слова *pane*, но в особых стилистических условиях и без этой лексемы) формы И. ед. (*pane správes*, *pane magistr*);

в) отсутствие чередования г~ġ в типе *sega* вследствие замены форм от этого слова в ЧНОЯ иными лексическими средствами (*holse* и под.);

г) отсутствие в инвентаре «усекаемых» («наращиваемых») сегментов ЧНОЯ сегментов *eġ* и *en*<sup>(3)</sup>, поскольку формы на *eġ* (от слов *máti*, *gramáti*) не употребляются в ЧНОЯ, а сегмент *en*<sup>(3)</sup> представлен в ЧНОЯ (как и в нейтральном стиле ЧЛЯ) во всей парадигме слов типа *gameno*.

2) Наличие в ЧНОЯ AP, отсутствующего в ЧЛЯ:

а) наличие AP, совпадающего по составу с 2AP<sub>c</sub> ЧЛЯ, но оформляющего отсутствующую в ЧЛЯ оппозицию <И., В., Зв. мн. ~ ОПФ> вследствие употребления в ЧНОЯ в функции В. мн. в существительных одуш. м. р. формы И. мн. на -i (примеры Й. Гронекка: *na králicí, měli malý tuňáci*);

б) наличие в типе *zed'* (в ЧЛЯ: 6AP<sub>c</sub> // 7AP<sub>c</sub>) нестабильного AP типа Т~Т', оформляющего оппозицию <Д., П. мн. ~ ОПФ>, а в парадигме типа *pelest* соответствующего нестабильному 5AP<sub>c</sub> ЧЛЯ AP типа Т~Т', оформляющего оппозицию <И.–В. ед. ~ ОПФ>, вследствие наличия в ЧНОЯ форм Т. мн. *zděma* (ЧЛЯ *zdmi*), *pelestěma* (ЧЛЯ *pelestmi*), обусловленных влиянием форм по типу *říseň*, при сохранении дублетизмов на -em, -ech и -ím, -ích в Д. и П. мн.;

3) Изменение частотности того или иного AP, чередования или какого-либо другого морфонологического средства по сравнению с соответствующими AP, чередованием или морфонологическим средством ЧЛЯ:

а) возрастание частотности 2AP<sub>c</sub> в ЧНОЯ вследствие большого распространения в И. мн. одуш. сущ. м. р. флексии -i<sub>1</sub> (ср. *občan*: ЧЛЯ *občané* ~ ЧНОЯ *občani*, *Pražan*: ЧЛЯ *Pražané* ~ ЧНОЯ *Pražani*, *soused*: ЧЛЯ *sousedé* ~ ЧНОЯ *sousedí* и под.);

б) возрастание частотности 1AP<sub>v</sub> за счет утраты (или по крайней мере сокращения) 2AP<sub>v</sub> и 3AP<sub>v</sub>, нестабильных и в ЧЛЯ: так, в ЧНОЯ сохраняется *á* не только в нестабильных и в ЧЛЯ *trávám, skálám, žábám*, но и в *krávám, krávama, plícím, plícema*;

в) сокращение частотности 7AP<sub>c</sub> и нестабильных и в ЧЛЯ 5AP<sub>c</sub> и 6AP<sub>c</sub> в связи с активностью типа *říseň* и появлением в результате этой активности указанных в 2)б) форм типа *zděma*;

г) более широкая представленность в ЧНОЯ чередования *e~#<sub>3</sub>*, оформляющего оппозицию <И., В., Зв. ед. ~ ОПФ> вследствие наличия в типе *říseň* в ЧНОЯ Зв. ед. = И., В., ед., а также воздействия типа *říseň* на другие типы ж. р. с нулевой флексией И. ед.

4) Наличие в падежной парадигме лексемы ЧНОЯ AP, соответствующего иному AP ЧЛЯ.

Так, для отдельных лексем в ЧНОЯ представлены иные AP по сравнению с ЧЛЯ. Например, для *práce* не  $3AP_v$ , а  $2AP_v$  вследствие отсутствия сокращения корневого гласного в Т. ед. (пример Й. Гронек: *přišel s nepřijemnou práci*). Иной AP будет представлен и для лексемы *gána* вследствие различий в долготе корневого гласного Т. ед. и Т. мн. (по Й. Гронеку: *jednou ganou*, но *třema gánama*). Поскольку вокалические AP являются лексикализованными, для выявления всех случаев соответствий / различий между ЧЛЯ и ЧНОЯ необходимо исследовать морфонологическую структуру всех соответствующих лексем ЧНОЯ.

Мы наметили только основные параметры, по которым различаются морфонологические подсистемы ЧЛЯ и ЧНОЯ, отнюдь не претендуя на полный и исчерпывающий анализ второй из подсистем. Морфонологическая подсистема ЧНОЯ еще ожидает своего полного, подробного описания, как в плане ее самостоятельного изучения, так и в аспекте сопоставления с подсистемой ЧЛЯ.

Таким образом, если система иноязычных слов, обладая особой спецификой морфонологической подсистемы в целом, особенно в комплексе с собственно славянскими морфонологическими средствами, усложняет и обогащает инвентарь морфонологических средств ЧЛЯ, то такой разновидности чешского языка как ЧНОЯ, напротив, свойственно упрощение и редукция морфонологических явлений. Поскольку в сознании носителей чешского языка обе разновидности существуют не изолированно, вероятно, взаимодействием этих вариантов можно объяснить наличие в Ч-р Сл. форм типа *krev, ostrev* для Зв. ед.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Славянская морфонология 1987 – Славянская морфонология. Субстантивное словоизменение. Отв. ред. д.ф.н. Т. В. Попова. М., 1987. [авторы: Ананьева Н. Е., Ермакова М. И., Попова Т. В., Толстая С. М.].
- Ч-р Сл. – Чешско-русский словарь (*Česko-ruský slovník*). Под ред. Л. В. Копецкого и Й. Филиппа. Т. I–II. М., 1976.
- Hronek 1972 – *Hronek J. Obecná čeština*. Praha, 1972.
- Slavičková 1975 – *Slavičková E. Retrográdní morfematický slovník češtiny*. Praha, 1975.

В. Е. Моисеенко

**ЕЩЁ РАЗ ОБ ИСТОРИИ СЛОВА *водка*  
(ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД)**

*«ни в области фонетики, ни в области семантики  
мы не можем рассчитывать на математически  
точные результаты; на всех наших этимологиче-  
ских операциях лежит печать вероятности»  
(Хуго Шухарт)*

Теме межславянских языковых контактов и языковых заимствований посвящены многие научные исследования. Хорошо известно, что, например, польский язык в течение нескольких столетий (XVI в. – 1-й четв. XVIII в.) активно взаимодействовал с восточнославянскими языками и диалектами, оказывал на них значительное влияние в области словарного состава. О польско-русских, польско-белорусских и польско-украинских культурно-языковых связях в эпоху средневековья существует значительная литература. При ближайшем рассмотрении выясняется, однако, что в этом, казалось бы, детально описанном и «профильтрованном» материале, ещё имеются лакуны и «тёмные» места. В частности, отсутствует аргументированная этимологическая атрибуция целого ряда общеупотребительных русских слов вероятного или даже очевидного польского происхождения, которые являются важными свидетелями давних исторических межславянских культурно-языковых отношений.

В качестве одного из таких предполагаемых полонизмов, который требует более убедительных подтверждений его заимствованной природы, мы избрали распространённое русское слово *водка*. Когда носители русского языка (в их числе и люди с высшим гуманитарным образованием) узнают о том, что *водка* может быть не русским словом, они удивляются. Психологически это вполне объяснимо. Ещё большее удивление может вызвать указание на то, что это привычное для русского слуха слово имеет инославянское, а именно, польское происхождение.

Наблюдения показывают, что этимологи не очень охотно рассматривают подобные, казалось бы, «прозрачные» случаи, часто просто не включая их в специальные словари. У них для этого имеются веские причины. Их следует искать в близком генетическом родстве славянских языков. Замечательная сохранность праславянской архетипической системы деривации, которая и в наши дни состоит из почти идентичного перечня способов и средств словообразования, создаёт значительные затруднения в этимологических исследованиях слов с общеславянски-

ми корнями. Слабая разработанность теории языковых контактов и языковых заимствований именно на материале близкородственных славянских языков создаёт дополнительные трудности для историков языка и этимологов. В результате этого, например, для эпохи позднего средневековья полностью доказуемыми становятся лишь документально зафиксированные случаи первых употреблений отдельных исследуемых слов в письменных источниках. Вероятно поэтому о слове *водка* нет упоминаний в наиболее известном и авторитетном «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера (в том числе в его русском переиздании с дополнениями акад. О. Н. Трубачева). Сведения о происхождении слова *водка* можно обнаружить в немногих источниках, в частности, в составленном проф. П. Я. Черных «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» (Т. 1–2, 2-е изд., стереотип., М., 1994). На данные этого источника мы будем ссылаться в процессе последующих рассуждений.

Описание инославянских лексических заимствований требует разных подходов и неодинаковых усилий. Если некоторые из них атрибутируются вполне надёжно с использованием почти стандартных методов экстралингвистического и собственно языкового анализа, то вынесенный в заголовок данной статьи случай следует всё же отнести к достаточно сложным и запутанным. Теме происхождения слов *wódka / водка* специально посвящались научные конференции, на которых велись жаркие дискуссии. Автору этих строк доводилось слышать различные высказывания относительно происхождения этого абсолютно по-славянски звучащего слова в кругу лингвистов разных стран. Приходилось читать монографии, специально посвященные алкогольному напитку с этим названием, включая экзотические истории его появления, а также версии первоначального названия того, что теперь называется водкой [Ср., например: В. В. Похлёбкин, «История водки», Москва, «Интер-Версо», 1991].

Когда речь заходит о языке, в котором рассматриваемое слово впервые могло появиться, как правило, называются только два языка: русский и польский. При этом предпочтение нередко отдаётся русскому языку, т. к. с определённых пор водка в мире традиционно и с полным на то основанием считается русским национальным напитком. Почему всё-таки речь идёт всегда именно об этих двух славянских языках? Если подходить с позиции историко-хронологической, то самый весо́мый аргумент (нелингвистической) природы состоит в том, что именно в польском и русском языке слова *wódka* и *водка*, называющие известный крепкий алкогольный напиток, живут и исправно функционируют уже более 400 лет. Пока мы знаем лишь приблизительно с какого времени слово *водка / vodka* стало распространяться на террито-

рии Руси-России и Польши. С уверенностью можно говорить лишь о том, что, начиная с конца XVII – начала XVIII века, продукт с названием *водка* уже становится заметной составной частью международной торговли спиртными напитками, является почти неизменным элементом культурно-бытовой традиции у многих народов. Однако в массовом сознании, ставшее своеобразным интернационализмом слово *водка* (*вотка* – *vodka* – *votka*), уже давно ассоциируется преимущественно с русскими и/или российскими реалиями. Начиная с указанного времени, данное слово в иноязычных письменных источниках трактуется преимущественно только как русизм. Ср., например, тур. *votka* (фиксир. с XVII в.), англ. *vodka* (фиксир. с XVIII в.) и др.

В славянских языках и диалектах существует множество старинных оригинальных, а также заимствованных от соседних славянских народов названий для крепких спиртных напитков как конечного продукта дистилляции или, проще говоря, перегонки. Они образованы преимущественно от глаголов со значением «тепловая обработка продукта в закрытой ёмкости или на открытом огне» типа: «гнать – возгонять – перегонять», «жечь – палить», «печь – пропекать», «курить – воскуривать» и т. д., которые имеют общеславянские корни. Это продуктивные образования типовой мотивации «носитель признака» в плане словообразования оформлены по-разному. Ср. в этой связи: чешск. *pálenka*, *kořalka* (от польск. *gorzałka*); словац. *pálenka*; польск. *gorzala*, *gorzałka*, *gorzale wino*, *palanka*, *palenka*, *palańka* [J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego. T. I, IV, VII. Warszawa, 1900–1927; Słownik gwar polskich. Ułożył J. Karłowicz. T. II. Kraków, 1901], лужицк. *palens*, *palenz*; словен. *žganje*; хорват. (кайков.) *žganica*; градишч.-хорв. *žgano*; серб. *препеченица*; белорус. *гарэлка*; укр. *горілка*; др.-рус. **водка переподустная** (XVII в.); рус. *перегонное белое вино* [В. Даль, Словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955. С. 218], а также общее для восточных славян *самогон*, *самогонка*.

В древнерусских письменных памятниках, в том числе в летописях (данные фольклора мы не учитываем), начиная с XIV в., нередко фигурирует старославянское наименование снадобий и настоек **зелник**, **зеліе**, **зѣлик** в значении «лекарство, волшебная трава» [И. И. Срезневский, Материалы для словаря др.рус. языка. Т. 1, стлб. 970]. Ср. также и в других славянских языках старинные названия с корнем \**zel-* с общими значениями «зелья приворотные, лечебные и ядовитые»: ст.-чешск. *zeli* (*zeli-na*), польск. *ziola*, хорв. *zelje* (с XIII в.; в значении «trave ljekovite ili otrovne; herbae» [ARj, XXII, Zagreb, 1975, s. 756; Miklosich F. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. Mechan. Neudruck – Berlin, 1919–1920].

Свидетельства, относящиеся к истории появления на Руси крепких напитков на основе спирта, очень ненадёжны и противоречивы. В справочной литературе читаем: «Первые сведения о получении винного спирта как спиртного напитка в Древней Руси приводятся в “Вятской летописи” (12 в.)» [БСЭ, 2-е изд., Т. 8. М., 1951, С. 103]. В новейшей электронной версии Большой Советской энциклопедии эта хронология уже сдвинута (произвольно?) на два века ближе к нашим дням: «Водка, крепкий алкогольный напиток, смесь ректификованного этилового спирта с водой. Выработка В. (хлебного вина) в России началась в конце 14 в.» [Интернет: [http://www.yandex.ru/Большая Советская энциклопедия](http://www.yandex.ru/Большая_Советская_энциклопедия)].

Информация из процитированных выше источников представляется не очень достоверной<sup>1</sup>. В ней отсутствует важнейший элемент языковой номинации – само упоминание названия «винного спирта», о котором идёт речь в словарной статье. Как он назывался? В первой справке есть проговоренное вскользь указание на письменный источник XII в., который якобы и должен подтвердить существование искомого продукта уже в то время. Но она не проясняет, а затемняет суть рассматриваемой проблемы. Известно, что дошедший до наших дней свод самой древней русской «Лаврентьевской летописи» относится к XIV веку (он был переписан в 1377 г.) [А. А. Шахматов, Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб, 1908]. Все остальные сохранившиеся своды старейших русских летописей датируются преимущественно XV–XVII вв. [Я. С. Лурье, Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976; Б. М. Клосс, Никоновский свод и русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980]. Говорить о фактах, относящихся будто бы к XII в., оперируя при этом свидетельствами письменных документов XV–XVII вв. – занятие по меньшей мере несерьёзное.

Но можно говорить с уверенностью о свидетельствах внеязыковых, о том, например, что технология изготовления перегонного куба и трубчатого металлического змеевика – обязательных составных частей технологии производства спирта – на Руси в XII веке ещё не была известна. Достоверным и многократно подтверждённым историками является факт, что впервые производство спирта было открыто арабами Средиземноморья в XII веке (по другой версии – в монастырях Италии, но в том же

---

<sup>1</sup> Максимальная достоверность фактографических источников в этимологических исследованиях особенно важна. Использование в этом качестве устаревшего энциклопедического издания 50-х гг. XX века, а также его современной интернет-версии – занятие не очень надёжное. К тому же любая энциклопедия – это уже всегда дайджест, т. е. сокращённый свод данных, вынужденно опускающий и то, как и откуда получены сведения, входящие в словарную статью.

столетии). Когда и какими путями эта тщательно скрываемая от посторонних глаз технология достигла территории Руси – об этом пока можно лишь строить предположения разной степени вероятности.

В древнерусских письменных памятниках XVI столетия есть достаточно свидетельств появления на Руси *привозного винного спирта* – экзотической, дорогой и редкой по тому времени «лечебной» *aqua vitae*. Документально засвидетельствовано, что при царе Иване IV Грозном разбавленный водой спирт (водка), будучи уже распространённым алкогольным напитком, становится предметом казённого обложения. А вот зафиксировать появление самого названия *вотка* / *водка*, относящегося к этому времени, пока не удаётся. Вместе с тем, подтверщаются факты широкого употребления в эпоху, непосредственно предшествующую Смутному времени на Руси и оккупации поляками Москвы (рубеж XVI и XVII вв.), иных выражений, таких, например, как *ЗЕМЛЕ* и *ЗЕЛЕНОЕ ВИННО* (второе – явно метафорической природы<sup>1</sup>) и с очевидной «хмельной» коннотацией, которая проявляется в контекстах.

В целом данные др.-русского языка не противоречат фактам, имеющим отношение к истории винокуренного производства за пределами Руси. В германских землях, а также в соседних с ними польских, производство спирта (и водки как его деривата) несомненно возникло раньше, чем в (велико)русских землях, т. к. технические и технологические новшества эпохи средневековья распространялись в соответствии с вектором «запад→восток» и почти никогда наоборот. В научной полемике именно этот момент до сих пор остаётся решающим при утверждении «хронологического приоритета» польского слова *wódka* перед русским *водка*.

Появление любого нового продукта предполагает его первичную номинацию в одном из языков. У западных славян таким первичным названием для водного спирта / водки первое время было заимствованное латинское двусоставное наименование *aqua vitae*, которое подверглось последующим языковым трансформациям, в результате которых и превратилось в слово *wódka*. А вот установить точную или приблизитель-

---

<sup>1</sup> При сравнении метафорического выражения *ЗЕЛЕНОЕ ВИННО* в русских актовых книгах XVI века и метафорических выражений *КРОВАВОЕ ВИННО* и *СИНЕЕ ВИННО* в др.-русском эпическом памятнике «Слово о полку Игореве», воссоздающем картину русской жизни XII века (но в списке конца XV – начала XVI в.), напрашиваются аналогии. Определённый интерес представляет сравнение выражений, формально относящихся к одной лексико-семантической группе и употребляемых, *фактически*, в одну эпоху, но которые отражают две разные языковые стили: народно-разговорную и поэтическую.



ную дату «рождения» этого неологизма в старопольском и в др.-русском языке пока никому из исследователей не удалось. Это важный момент в наших рассуждениях, ибо в случаях, когда удаётся обнаружить первую фиксацию неологизма в письменных документах, почти автоматически снимаются многие вопросы, связанные с его лексико-семантической атрибуцией.

Др.-русские хроники, судебники, челобитные, другие акты документы представляют немало сведений, связанных с историей питейного дела и водочного акциза. Но в них нет ни одного факта, который бы каким-то образом подтверждал вхождение слова *водка* в великорусский язык в современном значении уже в середине XVI века. А именно об этом свидетельствует один авторитетный лексикографический источник<sup>1</sup>.

Неологизм эпохи средневековья *кабакъ*, «тематически» связанный со словом *водка*, также можно внести в список «тёмных словечек», не имеющих достоверной этимологии [Фасмер, II : 148]. Учёные расходятся во мнениях относительно того, пришло ли это слово на Русь из немецкого языка, попало ли оно в немецкие диалекты из русского языка или является заимствованием ориентального происхождения. Известно только, что впервые слово *кабакъ* в значении «трактир» документально зафиксировано в грамоте 1563 года из г. Весьегонска [Ф. А. Котов, Хождение на Восток (1-я четв. XVII в.), ИОРЯС, 12, 1 (1907), с. 67]. Где кабаки, там и водка. Только как она называлась русскими в 60-е годы XVI века?

Если говорить о наиболее ранней и, по нашему мнению, совершенно ненадёжной датировке слова *водка*, относящейся к 1533 году, то она ещё более запутывает и без того сложную историю русского слова *водка* и польского *wódka* (см. сноску 3). Однако полностью отбрасывать её мы не имеем права. Постараемся найти в ней то рациональное, что может иметь непосредственное отношение к истории Руси и к рассматриваемой теме. Особенно если принимать в расчёт сам письменный ис-

---

<sup>1</sup> Конкретно на появление этого слова на великорусской языковой территории уже в сер. XVI в. указывает «Словарь русского языка XI–XVII вв.» (вып. 1, М., 1975), в котором фиксируется слово *водка* в Новгородской IV летописи под 1533 г. А это ровно на целое столетие «опережает» начальную датировку проф. П. Я. Черных, в «Историко-этимологическом словаре» которого первое упоминание о слове *водка* относится к 1633 году. Другие, более современные исследования, передвигают фиксированное в древнерусских контекстах появление лексемы *водка* к 1600 году, но не ранее этого времени [Вести-Куранты 1600–1639. М., Наука, 1972]. В рассматриваемом случае определённое сомнение вызывает сама «игра» цифр: 1533–1633. Здесь исподволь напрашивается мысль о возможной механической ошибке при обработке картотеки.

точник – Новгородскую IV летопись, а также Новгородскую республику (до её удушения Иваном IV Грозным) как очень значительный центр торговли и ремёсел, которая счастливо избежала татарского нашествия и успешно торговала с Ганзой. Здесь знакомство с новыми и ходовыми товарами, к числу которых просто не могла не относиться и быстро полюбившаяся aqua aromatica, происходило раньше, чем в континентальной Московии. Для нашей темы существенными являются факторы географический (близость от Новгорода балтийских ганзейских торговых центров), а также этнический и языковой (немалую часть населения в этих балтийских портовых городах составляли славяне).

Остальные др.-русские языковые территории, включая ареалы белорусского и украинского языка, мы исключаем из наших рассуждений, поскольку на них не обнаружены случаи употребления рассматриваемого слова в эпоху средневековья.

\*\*\*

Несмотря на кажущуюся абсолютную «прозрачность» семантики и словообразования, и русское слово *водка*, и польское *wódka* не имеют общепринятой этимологии. Что пишут об этих словах исторические словари-тезаурусы и этимологические словари польского и русского языка? Видный польский этимолог А. Брюкнер высказывается очень кратко, но определённо. В словарной статье *woda* читаем: «*wódka tłumaczy lac. aqua vitae (okowita, woda życia), od nas na Ruś powędrowało wódeczka, wódczany*» (выделено нами – В. М.) [Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957. S. 628]. Самуил Линде в обстоятельной статье к слову *gorzala* приводит много сведений, касающихся крепких алкогольных напитков в разных славянских языках, в том числе оригинальные названия *wódka, horilka, водка, водочный, красовуля* и другие, но не упоминает об истории этих слов [Słownik Lindego. T. II. Lwów, 1855. S. 100]. В других авторитетных польских исторических и этимологических словарях информация по интересующему нас вопросу отсутствует.

В русских изданиях данные о происхождении слова *водка* скупы. Наиболее полно они представлены в упомянутом словаре проф. П. Я. Черных. В сжатой, но насыщенной сведениями словарной статье имеется ценное для нашей темы указание, что «на русской почве слово *водка* известно с XVII в.» [П. Я. Черных, Историко-этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1994. С. 159–160]. Здесь же и редкие словарные иллюстрации типа: *вотка липова цвету* (1633 г.), *вотки цвету из василкового, водки из травы волчьих ягод, водки коричной, изо вяких разных трав вотки и сыропы* (все без исключения «аптечно-рецептурно-кулинарного» ряда – В. М.) Сюда вклю-

чены два разговорных выражения из оксфордского издания «Русской грамматики» 1696 г. немецкого учёного и путешественника Г. Лудольфа: «Изволишь чарку *вотки*(?) – *Вотку* не уживаю» с латинским переводом слова *votka* как *aqua aromatica* [Ludolfi Henrici Wilhelmi, Grammatica Russica Oxonii A. D. MDCXCVI (ed. by V. O. Unbegaun). Oxford, 1959, p. 50 (фототип. изд.)].

Отличие от А. Брюкнера, П. Я. Черных нигде не упоминает о заимствованном характере слова *водка*. Однако он полон сомнений относительно структуры семантического «подстрочника» этого слова: «Всё это (т. е. предшествующие рассуждения и контекстуальные примеры – В. М.) наводит на мысль, что слово *водка* по происхождению есть производное не от *вода* [...м. б., странное значение «уменьшительности» здесь вторичное?], а от *водить, вести* (ср. *проводка, сводка* и т. д.)» (подчёрк. нами – В. М.) [там же, С. 160]. Далее следует, на наш взгляд, не совсем убедительное рассуждение: «Однако *водка* уже в XVII в. стало связываться с *вода* и получило значение «хлебное вино» (м. б., по его прозрачности, бесцветности?). Возможно, что известную роль сыграла при этом и латин. *aqua vitae* – фигуральное наименование (букв. «вода жизни») крепкого алкогольного напитка» [там же]<sup>1</sup>.

Среди современных славистов бытует мнение о том, что не русское слово *водка*, а именно польское слово *wódka* представляет собой сохранившуюся до наших дней «усечённую» первую часть дословного переложения латинского *aqua vitae*. Будучи фактологически корректным, оно не вызывает возражения, как не вызывают принципиальных возражений и утверждения некоторых исследователей о том, что именно польское слово *wódka* представляет собой не только первичную «усечённую» кальку лат. *aqua vitae*, но также является непосредственным образцом прямого лексического заимствования, проявившего себя на русской почве в форме *водка*.

Известно, что в польских землях в XVI–XVIII вв. в ходу были и иные, но первоначально не польские, а только латинские сложные наименования для крепкого, на спиртовой основе экзотического «лекарственного» напитка: *vinum adustum*, *vinum crematum*, *aqua aromatica* – все с традиционными для той эпохи «алхимическими», «лечебными» и «кос-

---

<sup>1</sup> В цитируемом абзаце из словаря требует уточнения ономазиологическая (касающаяся обозначения) и семасиологическая (касающаяся значения) составляющие лексемы *водка*, которая в русской языковой практике получила не значение «хлебное вино», а приобрело обозначение (название) в оболочке этого словосочетания. Оно издавна употребляется в качестве местного и/или диалектного в отдельных областях Руси – России, хотя и значительно реже, чем выражение «белое вино» или просто субстантивы «белое», «белая».

метическими» коннотациями [Słownik polszczyzny XVI wieku. Т. VIII. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, 1974. S. 33–34]. Часть из них, с первым элементом *aqua*, в принципе, также могла служить подстрочником при калькировании польского *wódka*.

В этой связи интересно наблюдение П. Я. Черных о том, что на русской языковой почве слово *водка* «на первых порах употреблялось как название лекарственного (неалкогольного) напитка, жидкого лекарства, сиропа, настоя из целебных трав, корней и пр.» [П. Я. Черных, Ист.-этим. сл. Т. 1. С. 159]. В русском речевом общении 1-й трети XVII всё ещё явно преобладает та же «аптекарская» коннотация, что и в польском *wódka*, но только прослеживается она с хронологическим «отставанием» в несколько десятилетий в сравнении с польским словом. Это подтверждается данными и польского, и русского языка.

Проследим теперь как трансформировался в польском языке после калькирования латинизм *aqua vitae*. Под воздействием универбации на польской языковой почве двусоставное латинское наименование *aqua vitae* = *woda życia* утратило второй словоэлемент. А первый словоэлемент *woda* в процессе семантического развития приобрёл, наряду с деминутивностью, также экспрессивный элемент ласкательности в словоформе *wódka*.

В польском языке в оболочке лексемы *okowita* (*okowitka*) – «*alkohol raz tylko dystylowany, gorzalka, śmierdziucha*» [J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego. Т. III. Warszawa, 1904. S. 744] сохранился также и этот слабо мотивированный слитный вариант двусоставного латинского выражения *aqua vita*. Этот исторический полонизм сохраняется и в современном украинском словоупотреблении в виде старинного названия сорта водки / горілки под названием *оковита*. Ср. также в этой связи пример из южно-(велико)русского языка начала XVIII в.: «*налей винца доброва яковитки*» [Черных, Т. 1 : 159] или смоленское диалектное: *акавитая* (*кавитая*) [Фасмер I : 65].

Отметим, что в польской языковой практике середины XIX века прослеживается почти парадоксальная стилистическая дифференциация при параллельном употреблении двух форм: собственно польской *wódka* и «русской» *vodka*. Не совсем ясна мотивировка, по которой, например, в польской языковой среде (не только в пределах Российской империи, в частности, в Царстве Польском, но также и на территории Габсбургской монархии – в Западной и Восточной Галиции) название этого алкогольного напитка очень часто воспроизводилось не по-польски *wódka*, а оформлялось графически как *vodka* (литера *v* в польской графике и правописании – явление достаточно редкое; она употребляется преимущественно для передачи оригинального написания ограниченного числа латинских, французских, английских или русских слов). В

данном случае это косвенное свидетельство польского происхождения слова. Ср., например, надпись середины XIX века на бутылочной этикетке известного водочного фабриканта Бачевского во Львове:

BACZEWSKI  
VODKA  
monopolowa  
koszerna  
Fondée 1782  
LWÓW

В данном конкретном случае о какой-либо преднамеренной русификации речь, безусловно, идти не может.

\*\*\*

В заключение проанализируем словообразовательную семантику русского слова *водка* и обобщим сказанное в пользу его заимствованной природы. Сам процесс заимствования из польского языкового источника в русский и последующая адаптация в принимающем языке не повлекли за собой значительных фонетико-морфологических трансформаций, за исключением позиционной мены гласных [ó] / [o] в корне праславянского происхождения \*vod-. Важнейшим здесь остаётся вопрос о наличии или отсутствии в этом слове семантического элемента деминутивности и о роли суффикса *-к-/-k-*. Нам понятны отмеченные выше сомнения проф. П. Я. Черных относительно «странного значения «уменьшительности», которое может быть вторичным». По некоторым представлениям, его придаёт рассматриваемому слову общеславянский суффикс *-k-*. Однако проведённые автором настоящей публикации опросы более чем ста носителей русского языка показали, что подавляющее большинство из них «не чувствует» оттенка уменьшительности в слове *водка*. Следует отметить, что по этому же вопросу имеются и иные мнения, например: «**Водка**. Древнерусский уменьшительный падеж (деминутив) [так в тексте. – подчёрк. нами – В. М.] от слова *вода*, образованное по типу *репа – репка, душа – душка, вода – водка*» [В. В. Похлёбкин, Кулинарный словарь. М., Центрполиграф, 2000. С. 88]. Однако подобная дефиниция не выдерживает лингвистически корректной критики. Безусловно, лексема *водка* может обладать и уменьшительным значением, точнее сопровождаться экспрессией ласкательности, например, в форме *водочка*. Эти семантические особенности приобретаются вполне традиционным способом деривации, но не от корня *вод-*, а от осложнённой первоначально суфф. *-к-* формы *вод-к(a)*, т. е.: *вод-к(a) / вод-очк(a)* (фонемат. [к] / [α<sub>1</sub>чк]). Перед [к] беглая [α<sub>1</sub>+ч] действительно создают деминутивность. По законам русского словообразования уменьшительная форма от *вод-а* → *вод(и)-*

чк(а), а от вод-к(а)→ вод(о)-чк(а), которые оформлены разными гласными *и* и *о*. В словаре В. Даля встречаем даже деминутивную форму от водка→ водонька.

Русской форме водочка лишь отчасти соответствует польский деминутив *wódeczka*, в котором в отличие от русского слова не один, а два смысла: «водочка» и «водичка» (ср. современный пример из кашубского диалекта, который не позволяет без дополнительного контекста определить какой именно смысл заложен в нём: «*Najlepszy napitek to je wodečka*» [B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich. T. VI. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1973. S. 95]. Спектр польских деминутивов от *wódka* значительно шире русского. Ср.: *wódeczka, wodeczka, woduleczka, wódziunia, wodzisia, wódula* [Karłowicz, Kryński, Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego. T. VII. Warszawa, 1919. S. 673].

Число аугментативов от польского *wódka* и русского водка ограничено. Ср. польск. *wódczysko* – «*przy każdej służbie wódczyskiem zalewa*» [там же] или его русскую вульгарно-просторечную параллель *водяра*.

При более детальном рассмотрении оказывается, что русское по всем своим формальным показателям слово водка с трудом вписывается в формальную сетку современной русской словообразовательной семантики, в которой для этого слова *ещё нужно подыскать «нишу», соответствующую его формальной структуре и семантической природе*. Это – рудиментарное свидетельство того, что водка является очень давним заимствованием хотя и генетически родственного, славянского, но всё-таки иноязычного источника.

Очевидно, что водка образована не по модели *репа – репка, душа – душка*. Это иной, нечасто встречающийся случай инославянского заимствования, в котором утрачен остаточный элемент дополнительного смысла (в нашем случае это деминутивность), предположительно имевший место в польском языке-доноре. Анализ осложняется тем, что элементы словообразования (корень + аффиксы) и словообразовательная семантика практически полностью совпали в языке-доноре и языке-реципиенте уже на начальной стадии межъязыковой интерференции.

И всё же слову водка должно быть найдено место в русской семантической словообразовательной классификации. Его можно отнести, в частности, к разряду суффиксальных существительных, мотивированных существительным – *словом с модификационным значением*. Словообразовательная модификация, сущность которой заключается в добавлении к основному значению мотивирующего слова *некоторого дополнительного элемента смысла*, может быть использована как вспомогательное средство при семантической классификации. По формальным показателям рассматриваемую лексему можно отнести также к разряду существительных с модификационным значением подобия [Русская граммати-

ка. Т. 1. М., «Наука», 1982. С. 205–206], но с определённой долей условности, ибо в слове *водк(а)* всё-таки не очевиден основной смысл как  $H_2O$ , присущий слову *вода*.

Важно, что этому лексико-семантическому разряду не свойственно экспрессивное значение деминутивности, которого, как мы подчёркивали, нет и в слове *водка*. Входящие в его состав существительные женского рода с суф. -к-, называют преимущественно неодушевлённый предмет, похожий по внешнему виду или по какой-либо функции на предмет, названный мотивирующим словом типа: *нога* – *ножка* (рояля), *шляпа* – *шляпка* (гигантского гриба, например), *стена* – *стенка* (мебель; контрфорс), *книга* – *книжка* (любого формата и веса), *печь* – *печка* (обычная русская печь), *стрела* – *стрелка* (на ж/д) и т. д.

Слово *водка* может быть отнесено также и к существительным стилистической модификации, которые представляют собой разговорные или просторечные синонимичные варианты слов типа: *тётя* – *тётка*, *няня* – *нянька*, *самогон* – *самогонка*, *кладовая* – *кладовка*, *колено* – *коленка*, *скамья* – *скамейка* и т. д. [там же, с. 216–217]. В относящихся к этому типу словах нет деминутивности. К нему, скорее по формальной, а не смысловой аналогии, может быть отнесена и пара *вода* – *водка*, которая функционально поливалентна и продуктивна в русской литературной разговорной и профессиональной речи, а также в русском просторечии.

**АНАТОМИЯ СТЫДА (ЭТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА СОМАТИЗМОВ  
В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ)**

Одна из интереснейших задач славянской этимологии и диалектной лексикологии заключается в выявлении регулярных семантических связей между различными лексико-семантическими полями и терминологическими группами, за которыми стоят сближения разных фрагментов действительности, возникающих в процессе номинации. Последовательное языковое осмысление одного участка реальности через другой, реализующееся в продуктивных мотивационных моделях, дает возможность говорить о существовании кода, интерпретирующей системы знаков, используемой при назывании. В формировании лексико-семантического **поля этики**, являющегося предметом настоящей работы, в славянских диалектах задействовано несколько кодов, с помощью которых происходит обозначение моральных понятий: пространственный, гастрономический, цветовой и др. Одной из таких моделирующих семантических систем, участвующих в образовании моральных оценок, является **анатомическая терминология**, элементом которой в славянских языках свойственно развивать этические значения<sup>1</sup>. Мы рассмотрим функционирование этого кода в праславянской лексико-семантической системе и системах отдельных современных славянских говоров, главным образом, сербохорватских.

Особенности соматической интерпретации нравственного определяются противопоставлением **внутреннего** и **внешнего**, нравственно-религиозного и социального, которое лежит в основе традиционной этической системы. Наличие двух оценочных систем, субъектом первой из которых является Бог, а второй – люди, отчетливо осознается народной традицией и широко отражено в славянской паремиологии: *нит се Бога боји, нит се од људи срами* <ни Бога не боится, ни людей не стыдится> [Елезовић]; *преступио си све законе, и љуцке и боже* <нарушил все законы и человеческие, и божеские> [Станић]; *не треба ни богу, ни свиту* <не нужен ни Богу, ни миру> ‘пропащий человек’ [Reić, Ваџија]. Божий суд интерпретирует негативные действия как **грех**, а людской – как **позор**, устойчиво противопоставляемые в пословицах: ср. с.-х. *од људи срамота, од Бога грехота*, русск. *перед Богом грех*,

---

<sup>1</sup> Телесный код, как и другие упомянутые выше коды, относится к базовым средствам языковой интерпретации действительности, он функционирует в целом ряде лексико-семантических полей: терминологии родства [Бјелетић 1999], географической [Толстой 1969], ботанической терминологии [Бјелетић 1999] и т. д.



*перед людьми сором* [Даль, *sv сором*]. *Стыдное* противопоставлено *греховному* не только по субъекту оценки, но и по симптоматике: оно тяготеет к **внешнему** выражению [Арутюнова 1997] и внешнему наблюдению (ср. русск. *не стыдно, коли не видно*), в противоположность *греху*, коренящемуся **внутри** человека, являющемуся объектом его внутренней рефлексии и подчас ведомому одному Богу. Заслуживают внимание формулы, выражающие параллелизм устройства этической системы и строения человеческого тела, в которых анатомическое пространство разделяется: честь и стыд проявляются через внешнего человека – лицо и глаза, а грех – через внутреннего – душу: *ђе је образ ту је и душа, што је срамота то је и грехота* <где лицо, тут и душа, что позорно, то и грешно> [Караѿић 1996 : 84]. Соматическая интерпретация «внутренней» этики носит наиболее регулярный характер, ее категории универсально, в том числе и за пределами славянского языкового пространства, связываются с такими органами, как **душа** и **сердце**. Подробно касаться вопроса анатомического кодирования «внутренней» этики вследствие его общеизвестности и изученности [Ристић, Радић-Дугоњић 1999 : 155–211; Урысон 2000] мы не будем. Отметим лишь, что внутренние этические «органы» входят в парадигму понятий **добро и зло**, формируя абсолютный нравственный облик человека, а не его соответствие нормам приличия или этикету; они являются индикаторами милосердия, добродетельности их обладателя: *душа* ‘добрый, отзывчивый человек’ [Reić, Ваѿlija], ‘благородство’ [Станић], *бит без срца* ‘не быть отзывчивым’ [Reić, Ваѿlija], *стећи душу* <«приобрести» душу>, *изгубити душу* <потерять душу>, *ђаволу душу поклонити* <подарить душу дьяволу> [Ристић, Радић-Дугоњић 1999 : 197].

Существенно реже обращают внимание на анатомическое кодирование «социо-оценочных концептов, регулирующих отношение человека к другому» [Арутюнова 2000 : 56–57], а именно **чести, достоинства, позора, стыда, срама**. Эти понятия обслуживают поведенческий кодекс, сформировавшийся в сословном обществе, в основе которого лежит идея суда, выносимого человеку другими людьми за социально унижающий, неприличный поступок или облик, наносящий вред его репутации. Полем взаимодействия судьи и судимого становится, естественно, не внутреннее пространство человека, как при диалоге с Богом, а наружная поверхность тела, граница, отделяющая человека от внешнего мира – **лицо и глаза**.

В архаической славянской лексико-семантической системе была широко представлена модель ‘без глаз, безо лба’ > ‘бесстыжий, наглый’, отраженная в таких образованиях, как праслав. *\*bezocitъ*, *\*bezocivъ(jь)*, *\*bezocъnъ(jь)*, *\*bezokъ(jь)*, *\*bezčelъnъ(jь)* [ЭССЯ]. Ср.: ст.-сл. БЕЗОЧИТЬ, БЕЗОЧИВЪ, с.-х. *безочит*, чеш.диал. *bezocivъ* ‘бесстыд-

ный', словц диал. *bezočivý* 'наглый', русск. ц.-сл. *безочивый* 'безглазый, бесстыдный', болг. *безочный*, с.-х. *безочан* 'бесстыдный, наглый', словен. *bezočen* 'распущенный'; польск. *bezczelny* 'наглый, дерзкий' [ЭССЯ]. Слав. номинации бесстыдного человека имеют типологическую параллель в греч. *αναίδης* 'бесстыдный' и перс. *би-чйим-о-ру* 'бесстыжий, наглый', образованных по той же модели 'отрицание + название глаз, зрения' [ЭССЯ 2 : 13].

С формальной (деривационной) точки зрения прилагательные с основой *\*bezok-* / *\*bezoč-* и *\*bezčel-* представляют собой регулярные для праславянской лексики сложения префикса *\*bez-* и анатомических терминов, обозначающие признак отсутствия у человека или животного какого-либо органа, ср.: *\*beznogъ*, *\*beznosъ*, *\*bezpalъ*, *\*bezuxъ* [ЭССЯ]. В процессе семантического развития у целого ряда анатомических сложений с *\*bez-* значение отсутствия некоторой части тела трансформировалось в оценочное значение невыполнения им его прототипических функций: 'лишенный головы' > 'не умеющий рассуждать', 'лишенный руки' > 'не имеющий трудовых навыков': *\*bezgolъ* 'безрассудный', *\*bezrukъ* 'неумелый' [ЭССЯ]. Сходный семантический путь прошли слова с основами *\*bezok-* / *\*bezoč-* и *\*bezčel-*. Первоначально отсылавшие к области телесных аномалий (ср. русск. ц.-слав. *безочивый* 'безглазый', с.-х. *безок* 'безглазый, кривой' [ЭССЯ]), данные основы приобрели семантику отрицания функций соответствующих частей тела – глаз и лба. Так, основа *\*bezoč-* стала использоваться для обозначения слепоты, неспособности смотреть, ср. русск. *безочесный*, *безочный* 'слепой, незрячий' (ср. *безглазый* в том же значении) [Даль], польск. *bezoczny*, *bezoczy* 'слепой' [ЭССЯ]. Этическую семантику основ *\*bezok-* / *\*bezoč-* и *\*bezčel-* сформировало, однако, особое назначение лица и его частей<sup>1</sup>: внешнее выражение внутренней жизни человека, прежде всего чувства **стыда** и **чести** (ср. *глаза – зеркало души*; с.-х. *погледај ме у очи, да видим лъжеши ли* <посмотри мне в глаза, чтоб я увидел, не лжешь ли ты>; *по око га познавам* <я это по глазам вижу> [Форски, sv око], а также *доброе лицо, умное лицо, сердитое лицо* и т. д.).

Известно, что в русской языковой картине мира лицо [Арутюнова 1997; Утехин 1999, 107] и глаза выступают как основной индикатор ощущаемого человеком стыда. Этот фрагмент наивной психологии широко отражен в литературной и диалектной фразеологии разных славян-

---

<sup>1</sup> Значения 'лоб', 'щека' и 'лицо' в слав. языках часто лексически не дифференцируются, образуя синкретичное слияние. Ср. семантику продолжений слав. *\*čelo*: 'лоб', 'лицо', 'щека', 'видное место, передняя сторона', 'фасад' [ЭССЯ], а также с.-х. *очи* 'лицо': *ујутру кад се дигнеш, нај пре оми руке и очи* <утром, как встанешь, сначала умой руки и лицо> [Марковић].

ских языков, демонстрирующей не только цветовую и тепловую как в литературном русском, но и деформационную симптоматику. Ср. с.-х.: *паде му мраз на образ* <у него прошел мороз по лицу (щеке)> ‘ощутить стыд, растеряться’, *промијенити се у лицу* <измениться в лице> ‘ощутить стыд’ [Караџић 1996 : 250], *образ од образа стиди се* <щека щеки стыдится>, *запали се образ од образа* <щека от щеки загорелась> ‘у человека одна щека стыдится другой’ [Караџић 1996 : 235], *не гори образ од сунца, већ од поштенијих људи* <лицо горит не от солнца, а от честных людей> [Караџић 1996 : 203], *obroz mi olpalo kad vidin da ćeš bit zapripovist* <у меня лицо отпало (мне стало стыдно), когда я увидел, что ты опозорился> [Dulčić, sv obroz]; русск. смол. *глаза лупятся* ‘становится стыдно’: *не хочу, чтоб из-за тебя у меня глаза лупились* [СРНГ]; с.-х. *очи му отекоше љжејечи* <у него глаза распухли от лжи> [Златковић : 227]; *затрљује очи да се не примети да је љгала* <трет глаза, чтоб не заметили, что она врала> [Златковић, 227], *замочам очи* <замочить глаза> ‘потерять стыд’: *он не знаје што је срам, одамна је замочаја очи* <он не знает, что такое стыд, давно замочил глаза> [Златановић, vs очи]. В ю. и ю.-з. сербских говорах, в которых особенно устойчиво прослеживается связь глаз с этической сферой, встречаются фразеологизмы, внутренняя форма которых совпадает с мотивационным признаком, представленном в праслав. *\*bezočivъ(jь)*, *\*bezočъ(jь)* и пр. Ср.: *нема очи* <не имеет глаз> ‘ни га је стра, ни га је срамота’ <Бога не боится и людей не стыдится> [Златковић : 197]; *Рђо једна! Срам те било! Немаш очи! Не мож се девојчетијата окупу од тебе! А мож да ним будеш дедо!* <Поганец! Как тебе не стыдно! «Глаз» (совести) у тебя нет! Девкам от тебя спасенья нет! А в деды им годишься!> [Златковић : 112]. Составители сербских диалектных словарей в с.-х. продолжениях слова *\*bezočъ(jь)* ощущают этот признак как живую внутреннюю форму, связывая ее с симптоматикой стыда: *безочан* ‘дерзкий, бесстыдный, который не опускает глаз, когда совершает постыдное дело, как будто их нет’, *безочница* ‘бесстыдница, женщина, которая в известных случаях не опускает глаз, как будто у нее их нет’ [Елезовић]. Испытывающий стыд стремится избежать зрительного контакта с другим человеком, оценивающим его поведение: ср. *опустити, спрјатати глаза*, с.-х. *жими очи на у очи* ‘зажмурься и скажи в глаза’ [Караџић 1996 : 368]. Человек, лишенный чувства стыда, напротив, не боится такого контакта: ср. *врати в глаза*, с.-х. *лагати у очи* ‘бесстыдно врать’, *које очи чине, оне и гледају* <какие глаза делают, те и смотрят> ‘о бесстыдном, дерзком человеке’; *у безочности срама нема* <у наглости стыда нет> ‘виноватый, вор смотрит открыто, свободно, а честный человек стесняется, прячет глаза’ [Станић], *које очи зло чине оне и по свијету гледе* <какие глаза зло делают, те и на мир смотрят> [Караџић 1996 : 150]. Признаку

«слепоты» в значении бесстыдства синонимичен признак 'нечеловеческие глаза', актуализирующийся в таких номинациях как: с.-х. *узети у куче очи* <взять у собаки глаза> 'потерять стыд' [Златковић], русск. псков., твер. *волчы глаза* 'бесстыдник, бесстыдница' [СРНГ, sv *волчий*].

Возможны, однако, и иные трактовки мотивационного признака в слав. образованиях от корня \**ok-*. А. Ф. Журавлев внутреннюю форму праслав. \**bezobъnъ* связывает с ситуационной схемой 'ведущий себя так, как если бы был без очевидцев или невидим' и представлением о бесстыдстве «как манере общественного поведения, осуществляемого как бы без свидетелей» [Журавлев 1999 : 26–27]. Эта версия коррелирует с логической структурой ситуации посрамления, представляющей собой оценку поведения субъекта наблюдающими за ним окружающими людьми, а также с наименованиями стыдного, мотивированными глаголом *зрети*: русск. *позор, зазорно*, с.-х. *зазор* 'срам, позор', ср. также русск. посл. *не стыдно, коли не видно*. Нельзя не отметить, что в слове \**bezobъnъ* также возможно усматривать связь с ситуацией, когда человек намеренно не замечает стимула к некоторому поступку, закрывая глаза перед фактом его существования, ведя себя так, как будто этого стимула нет и на него не надо реагировать. Ср. *безочан* 'тот, «у которого нет глаз», кто не смотрит, что делает, не обращая внимания на предписываемое нормой' [RJAZU], а также *безобзиран* 'дерзкий' [МС], производное от *обзир* 'осторожность, осмотрительность', восходящего к \**zbrěti*.

Помимо стыда, лицо коннотирует представление о репутации человека, будучи «визитной карточкой», которая представляет человека миру<sup>1</sup>, «носителем информации о сущности человека» [Утехин 1999 : 107] (ср. выражение *вот твое лицо* в значении 'этим ты показал, что ты есть на самом деле'). Чаще, однако, обозначения лица реализуют значение **положительной репутации** и внутренней установки на ее поддержание, т. е. **чувства чести и достоинства**, и регулятора нравственной жизни – **совести**. Ср. с.-х. *образ* 'щека' [Караџић], 'лицо' [Станић; Ћупић; Вујичић], 'стыд, совесть' [Караџић]: *и ти имаш образ некому нешта да речеш* <и у тебя хватает совести кому-то что-то говорить> [Златковић]; *он да има образ не би смео да ми погледа у очи* <если бы у него была совесть, он бы не смел мне в глаза взглянуть> [Елезовић], 'честь, достоинство' [Станић; Ћупић; Вујичић; Елезовић]: *има образа да ни гледа у очи* <хватает совести смотреть мне в глаза> [Станић], 'уважаемый человек' [Елезовић], *образлија, образник* 'честный, хороший, благородный человек' [Станић]: *нико ка они не умје чојека да дочека, таквија образлија*

<sup>1</sup> Ср. компонент семантики слав. \**lico* – 'передняя, лучшая часть какого-либо объекта' [ЭССЯ].

*нема надалеко* <никто не умеет встретить человека, как они, таких благородных людей нет далеко вокруг> [Ћупић]; *образан* ‘совестливый’ [Елезовић], *собразан* ‘честный, спокойный, тот кто «имеет образ»’: *собразни су и поштени сви они* <они все честные и достойные> [Ћупић]<sup>1</sup>. Совмещение в основе *образ-* анатомической и этической семантики в поговорках служит источником языковой игры: *ко више себе (на небо) плује на образ му пада* <кто плюет вверх (на небо), тому <плевок> падает на лицо (на честь)> [Караѿић 1996 : 145, 165], *плуни врх себе, кад ли на образ* <плюнешь вверх, упадет на лицо (на честь)> (о человеке, который позорит другого) [Караѿић 1996 : 254]

Отсутствие внутреннего регулятора нравственности, *стыда* [Булыгина, Шмелев 2000 : 227], выражается в языке через **отрицание** наличия **лица**: русск. *безличье* ‘нравственное ничтожество человека, бесхарактерность’ [Даль], с.-х. *нема образа* ‘бессовестный’ [Караѿић]; *безобразан* ‘бесстыдный’ [Караѿић; Стијовић], *безобразуља* ‘бесстыдная женщина’: *она се не срамује ни пред татка, права је безобразуља* <она не стыдится даже отца, настоящая бесстыдница> [Златановић]; утверждения его **малого размера**: *образа више нема, него два прста (а гузице има два аршина)* <лица (совести) на два пальца, а зад в два аршина> [Караѿић]; **уродства**, нарушения привычных форм: *безобразан* ‘внешне изуродованный, не имеющий своего настоящего обличья’; ‘бесстыдный’: *безобразан ко пашче* [RJAZU]. Физическое безобразие как стандартный объект посягательства закономерно развивает семантику позора и значение негативной оценки человека: *обличје* ‘внешний вид’, ‘уродство’ [Станић], *обличје му да га не погледаш* <у него рожа, смотреть не хочется>; *у, как ’в облик има овај баба* <что за рожа у этой бабы> [Митровић], ‘позор’ [Форски; Станић]; *облич, обличница* ‘злая, вздорная женщина’: *немо е дират, то е облич, па те може нагрдит* <не тронь ее, это злыдня, может и обругать> [Стијовић].

Мотивационной базой для негативных нравственных оценок с семантикой наглости и подлости служат признаки, характеризующие кожу лица<sup>2</sup>: ‘твердость’, ‘грубость’, ‘толщина’. Ср. *ћонообразан* (< *ћон* ‘подошва’ + *образ* ‘лицо’) ‘наглый и бесчестный человек’ [Митровић], а также гнездо слов с основой *печобраз-*, которую в диалектной лексикографии связывают с глаголом *пећи* ‘обжигать’ [Ћупић]: *печобразник*

<sup>1</sup> Мотивационная модель ‘лицо’ > ‘честь’ встречается не только в славянских, но и в других европейских языках: ср. англ. *face* ‘лицо’ и ‘достоинство, смелость’ [Рябцева 2000 : 182].

<sup>2</sup> В русской языковой картине мира лицо и кожа изоморфны, будучи «пограничными» органами, выполняющими «представительскую» функцию [Утехин 1999 : 107].

‘человек печена, тврда образа, безобразник, наглец’: *нема онаквога печобразника ка шта је он, украиће ти, слагаће те, свашта ће учињет а да се не трепне* <большого наглеца, чем он, не найти: украдет, соврет, все сделает и глазом не моргнет> [Ћупић]; *печобразан* ‘человек печена образа, наглый, бесчестный, бесстыдный’ [Ћупић; Станић; Стијовић]: *печобразнијега чељадета нијесам виђела од ње, очи наочи те лаже* <более наглого человека, чем она, я никогда не видела, врет в глаза> [Ћупић]. Такого рода наименования соотносятся с целым рядом фразеологизмов, манифестирующих семантическую модель ‘грубая кожа’ > ‘бесчестность’: *девет чарапа има на образу* <у него на лице девять носков> [Караџић 1996 : 69], *кожа му је на образу као ђон (тврда као у вола)* <у него кожа на лице, как подошва (твердая, как у вола)> [Караџић 1996 : 146], *образ му је као опанак* <у него лицо, как сапог> ‘о бесчестном человеке’ [Караџић 1996 : 235]. Другие осязательные признаки в процессе взаимодействия с анатомическим кодом индуцируют те же понятия, что и в процессе самостоятельной метафоризации. Ср. ‘мягкое лицо’ > ‘снисходительность’: *с мека образа девето копице* <от мягкого лица девятый внебрачный ребенок> ‘когда человек видит, что ему причиняют убыток, но по доброте не противится’ [Караџић 1996 : 292] и ‘мягкий’ > ‘нестрогий, снисходительный; лишенный резкости, грубости’ [СРЯ].

Вторая группа признаков, задействованных в номинациях чести и бесчестья, – цветовые характеристики. Значение хорошей и плохой репутации выражается через представления о темном или светлом цвете кожи или ее чистоте и загрязненности: *благо добром чину и свијетлом образу!* <счастье хорошему поступку и светлому лицу (совести)> [Караџић 1996 : 29], *тако ми образ не поцрнио (као Арапу)* <чтоб мое лицо не почернело, как у арапа> [Караџић 1996 : 304], *по твој образу цвијеће расло!* <чтоб у тебе на лице цветы расли> ‘как тебе не стыдно’ [Караџић 1996 : 260].

В ряде сербских говоров как средоточие стыда, репутации человека осмысляются глаза. В ю.-серб. говорах зафиксированы фразеологизмы с семантикой позора, лишения чести, мотивированные признаком ‘портить, уничтожать глаза’. Ср.: *ставља чкембе на очи* <класть на глаза требуху> ‘позорить, лишать чести’: «Нечестная невеста *ставља* родителям *чкембе на очи*, из-за чего они сильно страдают» [Ђорђевић 1958 : 480], *вади очи* <лишать глаз, ослеплять>: «Для нечестной невесты в понедельник <после свадьбы> наступает тяжелое время. Муж бьет ее, пытая, с кем она *«вадила очи»* <извлекала глаза>, т. е. имела половые сношения» [Ђорђевић 1958 : 479], а также русск. смол. *глаза драть* ‘упрекать’: *за тебја мне на деревне глаза дерут* [СРНГ].

Та же схема прослеживается в диалектных номинациях наглого человека: ситуация проявления бесстыдства описывается как нанесение вреда глазам наблюдателя безнравственного поведения. Ср. с.-х. *очовадник* (< *вадити очи* 'лишать глаз') 'дерзкий, наглец', *очовадно* 'дерзко, грубо': *очовадно се тај мој пријатељ, не боји се никога* <дерзко ведет себя мой приятель, никого не боится> [Митровић], коррелирующее с *душевадник* (< *вадити душу* 'вытаскивать душу') 'мучитель', 'злодей', русск. *глазобивец, глазоубивец, глазобитный* 'нахал, буян, наглец, бесстыжий неслух, своевольник' [Даль]. Уничтожению глаз синонимично лишение человека лица или его попрание: *узети образ* <взять лицо, честь> 'опозорить', 'иметь сношение с женщиной; изнасиловать': *узо јој образ* <забрал у не честь> [Станић], *метнути образ под ноге* [Караџић 1996 : 184].

Анатомическому кодированию подвергается и специальное значение этико-социальных оценок – 'девичья честь'. В эту денотативную сферу в ю.-сл. говорах вовлекаются слова с первичной семантикой 'лицо' и 'глаза' (у *мушкога је срамота под петом а у женскога међу очима* <у мужчины стыд под пятой, а у женщины меж глаз> [Караџић 1994 : 333]. Ср: болг. *момино лице, момско лице, невестино лице* 'девичья честь' [Узенева 1999 : 145], с.-х. *обљубити лице* 'лишить чести; иметь половое сношение': *обљуби јој лице младо* [Станић] (ср. формальную дифференциацию широкого и узкого значений чести: *образ* и *лице*). В диалектной фразеологии лишение девушки чести выражается через признак лишения ее глаз, ср. приводившуюся выше идиому *вади очи* [Ђорђевић 1958 : 479].

Среди разнообразных средств воплощения этических понятий с помощью предметной лексики телесный код занимает особое место, являясь метаязыком традиционной этики, с помощью которого происходит экспликация структуры этической системы в таком виде, в каком она осознается носителями традиции. Основным элементом этого метоописания является оппозиция души и лица, двух частей тела, которые формируют человека как индивидуальность (ср., использование соответствующих слов для метонимического обозначения человека) и ассоциируются с двумя родами этических реакций человека, возникающих вследствие оценки Высшим судьей и наружным наблюдателем.

#### ЛИТЕРАТУРА И СОКРАЩЕНИЯ

- Арутюнова 1997 – Арутюнова Н. Д. О стыде и стуже // Вопросы языкознания 1997, № 2.  
Арутюнова 2000 – Арутюнова Н. Д. О стыде и совести // Логический анализ языка: языки этики. М., 2000.

- Бјелетић 1999 – *Бјелетић М.* Кост кости (делови тела као ознаке сродства) // Кодови словенских култура, бр. 4. Делови тела. Београд, 1999, с. 48–67.
- Булыгина, Шмелев 2000 – *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Грамматика позора // Логически анализ језика: језици етике. М., 2000.
- Вујичић – *Вујичић М.* Рјечник говора Прошћења (код Мојковца). Подгорица (ЦАНУ), 1995.
- Даль – *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956, I–IV.
- Ђорђевић 1958 – *Ђорђевић Др. М.* Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. Београд, 1958 [СЕЗб, књ. 70].
- Елезовић – *Елезовић Г.* Речник косовско-метохијског дијалекта, књ. I–II [СДЗб IV, Београд, 1932; VI, Београд, 1935].
- Златановић – *Златановић М.* Речник говора Јужне Србије. Врање, 1998.
- Златковић – *Златковић Д.* Фразеологија омаловажавања у пиротском говору // СДЗб XXXVI, Београд, 1990, с. 423–740.
- Журавлев 1999 – *Журавлев А. Ф.* Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. М., 1999.
- Караџић – *Караџић В. С.* Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима. Београд, 1935.
- Караџић 1996 – Вукове народне пословице с регистром кључних речи. Београд, 1996.
- Марковић – *Марковић М.* Речник народног говора у Црној Реци, књ. I–II // СДЗб XXXII, Београд, 1986, с. 3–258; СДЗб XXXIX, Београд, 1993, с. 3–398.
- Митровић – *Митровић Б.* Речник лесковачког говора. [Библиотека народног музеја у Лесковцу, књ. 32], Лесковац, 1984.
- Ристић, Радић-Дугоњић 1999 – *Ристић С., Радић-Дугоњић М.* Реч. Смиао. Сазнање. Београд, 1999.
- Рябцева 2000 – *Рябцева Н. К.* Этические знания и их «предметное» воплощение // Логически анализ језика: језици етике. М., 2000.
- Станић – *Станић М.* Ускочки речник, књ. 1–2, Београд, 1990.
- Стијовић – *Стијовић Р.* Из лексике Васојевића // СДЗб XXXVI, Београд, 1990, с. 119–381.
- Толстой 1969 – *Толстой Н. И.* Славянская географическая терминология. Семасиологические этюды, М., 1969.
- Ђупић – *Ђупић Д., Ђупић Ж.* Речник говора Загараца [СДЗб XLIV, Београд, 1997].
- Форски – *Форски Манић Др.* Лужнички речник. Бабушница, 1997.



- Узенева 1999 – *Узенева Е. С.* «Бъчва без дъно». К символике девственности в болгарском свадебном обряде // Кодови словенских култура, бр. 4. Делови тела. Београд, 1999, с. 145–157.
- Урысон 2000 – *Урысон Е. В.* Голос разума и голос совести // Логический анализ языка: языки этики. М., 2000.
- Утехин 1999 – *Утехин И. В.* Представления русских о коже // Кодови словенских култура, бр. 4. Делови тела. Београд, 1999, с. 98–110.
- Dulčić – *Dulčić J., Dulčić P.* Rječnik bruškoga govora // HDZb, knj. 7, sv. 2, Zagreb, 1985.
- Peić, Bačlija – *Peić M.; Bačlija G.* Rečnik bačkih Bunjevaca / Saradnik i redaktor Dr. Petrović. Novi Sad – Subotica, 1990.
- МС – Речник српскохрватског књижевног језика. Нови Сад, 1967–1976, 1–6.
- СДЗб – Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1905–, књ. 1–.
- СЕЗб – Српски етнографски зборник. Београд, 1894–, књ. 1–.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. Л., 1965–, вып. 1–.
- СРЯ – Словарь русского языка. Т. I–IV, М., 1984.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974–, вып. 1–.
- HDZb – Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb, 1965–, knj. 1–.
- RJAZU – Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880–1976.

**СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК:  
ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ**

**1.1.** Статус церковнославянского (далее цсл.) языка представляет собой одну из наиболее активно обсуждаемых проблем сегодняшней церковной жизни в России. Дискуссия о цсл. языке, которую мы можем наблюдать с начала 1990-х гг., является продолжением полемики, развернувшейся в начале XX в. в ходе подготовки к Поместному собору. То обстоятельство, что эта полемика возобновилась сразу же после появления возможности открытого обсуждения подобных вопросов, свидетельствует об остроте проблемы.

**1.2.** Между тем в изучении и преподавании цсл. языка имеет место довольно странная ситуация. *Старославянский язык* вот уже двести лет изучается как первая письменная фиксация одного из славянских диалектов и рассматривается как материал для компаративистики. Отсюда повышенный интерес к исторической фонетике и морфологии при относительно недостаточной разработанности, например, лексикологии. *Цсл. язык XII–XVII вв.* трактуется прежде всего как литературный язык. Указанному периоду, рассматриваемому под таким углом зрения, посвящено большое количество работ. Однако поскольку в XVIII–XIX вв. у славянских народов возникают литературные языки нового типа, постольку исчезает интерес исследователей к более позднему периоду существования цсл. языка. И если цсл. язык XVIII в. еще рассматривается как «строительный материал» для русского литературного языка, то XIX и XX вв. вплоть до недавнего времени не попадали в поле зрения исследователей. Цсл. язык этого периода интерпретируется как мертвый и не представляющий интереса для изучения.

**1.3.** Однако цсл. язык не умер. Вряд ли будет корректным применять понятие «мертвый язык» по отношению к языку, на котором постоянно создаются новые тексты. А ведь на цсл. в XIX–XXI вв. созданы сотни служб, акафистов, канонов, молитв. Логично предположить, что с появлением новых текстов меняется – хотя бы отчасти – и сам язык. Следовательно, можно говорить о существовании *современного цсл. языка*, отличающегося от цсл. языка предшествующих эпох.

**2.** Дадим определение понятию «современный цсл. язык».

**2.1.** Содержание понятия «цсл. язык» будем считать известным<sup>1</sup>. Необходимо сформулировать критерии «современности» этого языка. Од-

---

<sup>1</sup> Вслед за Е. М. Верещагиным мы именуем *церковнославянским* язык, созданный свв. Кириллом и Мефодием, распространяя употребление данного термина на всю историю этого языка [Верещагин 1997 : 297].

нако здесь возникают определенные трудности, связанные со спецификой нормы<sup>1</sup> и функционирования цсл. языка. Цсл. язык – прежде всего язык *богослужения*. Это его инвариантная и первичная функция. Именно как богослужебный он был создан во второй половине IX в. и именно как богослужебный он продолжает функционировать в начале XXI в. Все остальные его функции вторичны. Напротив, для русского (равно как английского, французского и т. п.) языка первичной – в логическом и хронологическом отношении – функцией является *межличностная коммуникация*. Именно первичность и актуальность этой функции позволяет нам с уверенностью говорить, что язык изменяется непрерывно, что он обладает естественной нормой. Однако функция межличностной коммуникации не принадлежит к числу функций цсл. языка. Изменения в этом языке протекают принципиально иным образом, нежели в русском и других естественных, «живых» языках. Периодизация истории функционирования цсл. языка не будет отражать изменения самой языковой системы. Соответственно необходим принципиально иной подход к определению интересующего нас понятия.

**2.2.** *Современный цсл. язык* (далее СЦСЯ) уместно определить как язык *богослужебных текстов, используемых в настоящее время (в начале XXI в.) клириками и мирянами Русской Православной Церкви<sup>2</sup> при общественном и частном богослужении и домашней (келейной) молитве.*

**2.3.** Прокомментируем сформулированное определение.

**2.3.1.** Данная дефиниция нацелена в первую очередь на раскрытие значения терминологического элемента «современный» в составе сложного термина «современный цсл. язык», на отграничение современного цсл. от «несовременного». Предполагается, таким образом, что существуют критерии структурно-генетического характера, позволяющие отграничивать цсл. язык от прочих языков. По мнению А. А. Плетневой, для пары «рус. язык – цсл. язык» наиболее важным параметром разграничения является отсутствие / наличие простых претеритов<sup>3</sup>.

**2.3.2.** «Настоящее время» раскрыто как начало XXI в. Собственно, в соответствии с определением языка через тексты на этом языке, язык меняется при любом изменении корпуса текстов. Таким образом, понятие современного цсл. языка оказывается в жесткой зависимости от набора функционирующих в данный момент текстов. С другой стороны, время создания (редактирования) того или иного текста не играет ника-

---

<sup>1</sup> Об особенностях нормы цсл. языка см. подробнее [Людоговский 2002].

<sup>2</sup> Мы ограничиваем задачи настоящей статьи рассмотрением функционирования цсл. именно в Русской Православной Церкви, хотя свои модификации данного языка существуют и за ее пределами (см. 2.3.3.).

<sup>3</sup> Сообщение на XI Ежегодной богословской конференции ПСТБИ.

кой роли для решения вопроса об отнесенности его к СЦСЯ, коль скоро он функционирует в текущий момент наряду с прочими текстами.

**2.3.3.** Жесткой зависимостью языка от текстов на этом языке объясняется и некоторая социологизированность данного нами определения. А ргіогі можно предполагать, что корпус богослужебных текстов Русской Православной Церкви Заграницей (Зарубежной Церкви), Болгарской и Сербской Православных Церквей, а также текстов, используемых русскими старообрядцами и украинскими униатами, не совпадает с корпусом богослужебных текстов, функционирующих в Русской Православной Церкви.

**2.3.4.** Предложенная дефиниция понятия «современный цсл. язык» ставит само содержание этого понятия в зависимость от функционирования цсл. языка. Таким образом, мы предлагаем *функциональный подход* к определению СЦСЯ. При этом неизбежно ограничение привлекаемых к исследованию текстов, которое, однако, позволяет работать с обозримым и более однородным материалом, нежели это имело бы место при *структурно-генетическом подходе*.

**3.** Прежде чем перейти к обрисовке контуров корпуса цсл. текстов, используемых при богослужении, дадим предварительные определения понятиям *богослужение, общественное богослужение, частное богослужение, домашняя молитва*.

**3.1.** *Богослужение* определим как *институционализированную форму богопочитания и богообщения*. Богослужение представляет собою текст, знаки которого имеют как вербальную, так и невербальную природу.

**3.2.** *Общественное богослужение* есть *богослужение, которое совершается в зависимости от календарной даты и/или времени празднования предстоящей и/или прошедшей Пасхи*. Отличительными его особенностями являются 1) жесткая регламентированность (относительно времени и образа совершения службы) и 2) обязательность (реально, однако, совершаются не все службы и не в полном объеме). Общественное богослужение совершается обычно в храме при участии священника, в определенное время суток.

**3.3.** *Частное богослужение* есть *богослужение, которое совершается в зависимости от желания одного или нескольких христиан*. Частное богослужение может совершаться священнослужителем как в храме, так и вне его. Наиболее типичной разновидностью частного богослужения являются так называемые *требы*: крещение, венчание, освящение жилища и т. п. Однако многие разновидности частного богослужения больше напоминают общественное, например, совершение постом таинства соборования в храме, а также молебен, панихида и др. Вместе с тем указанные службы, как и прочие виды частного богослу-

жения, отличаются от общественного 1) низкой степенью регламентированности в отношении времени совершения службы (регламентация имеет по преимуществу отрицательный, ограничительный характер), 2) необязательностью. В большинстве случаев службу возглавляет священник.

**3.4.** Домашнюю (келейную) молитву для единообразия (в известной степени метафорически) можно назвать домашним богослужением (см.: [Каледа 1997 : 168–179]). *Домашнее богослужение есть богослужение, совершаемое христианами (одним или несколькими) дома (в келье, в дороге и т. д.), как правило, в отсутствие священника.* Сюда следует отнести совершение утреннего и вечернего молитвенного правила, молитвы перед трапезой и после трапезы, чтение акафистов, а также чтение Св. Писания. Домашнее богослужение не чуждо определенной регламентации, некоторые его части можно считать обязательными (в первую очередь утреннее и вечернее правило); однако «сверхчастный» его характер в большинстве случаев исключает общезначимость имеющейся регламентации.

**4.** Рассмотрим конкретный состав цсл. текстов, определяемый дефиницией СЦСЯ.

**4.1.** При общественном богослужении употребляются следующие богослужебные книги: Евангелие, Апостол, Псалтирь, Служебник, Часослов, Октоих, Триодь (Постная и Цветная), Ирмологий, Минея.

**4.1.1.** Служебное *Евангелие* содержит текст четырех Евангелий в их обычном порядке (апракос в настоящее время не используется) с разбивкой на *зачала* и с добавлением начальных формул для каждого зачала (в большинстве случаев – *Во время оно...*). Текст служебного Евангелия стабилен, некоторые расхождения между изданиями можно усмотреть в области орфографии<sup>1</sup>.

Наряду со служебным Евангелием существует *четый* текст Евангелия (в составе *Елизаветинской Библии*), который содержит довольно значительные отличия от служебного текста (последовательно устранены формы 2 л. ед. ч. аориста и имперфекта с заменой на соответствующие формы перфекта<sup>2</sup>, наблюдаются расхождения в области морфологии, словообразования, лексики, синтаксиса).

---

<sup>1</sup> Если не оговорено противное, имеется в виду, что богослужебные книги набраны церковнославянской кириллицей.

<sup>2</sup> Единичные случаи сохранения аориста: *Чудо, что сотвори нама тако?* (Лк. 2: 48); *Равви, когда zde бысть?* (Ин. 6: 25; причем в этом случае дается вариант в сноске: *Когда семо пришел еси?*). Вообще говоря, указанная замена характерна для большинства текстов СЦСЯ.

Евангелие, являясь частью Нового Завета, характеризуется закрытой структурой.

**4.1.2.** Служебный *Апостол* содержит текст Нового Завета за вычетом Евангелия и Апокалипсиса. Так же, как и в случае с Евангелием, соответствующие книги Нового Завета имеют параллельный четый вариант. Апостол обладает закрытой структурой.

**4.1.3.** Служебная *Псалтирь* издается обычно в составе так называемой *Следованной Псалтири* (в двух частях). Псалтирь как богослужебная книга употребляется обычно лишь при чтении *кафизм*; однако сами псалмы входят в состав практически всех служб дневного и седмичного круга. По нашим наблюдениям, отличия этого текста от соответствующего текста в составе Елизаветинской Библии незначительны. Структура Псалтири закрытая.

**4.1.4.** *Служебник* содержит те тексты, которые произносятся священнослужителями (священником и диаконом). В настоящее время имеет хождение несколько изданий Служебника, однако различия между этими изданиями несущественны. Структура Служебника потенциально открытая, т. е. в принципе возможно включение в состав этой книги каких-то новых разделов (заимствованных из других богослужебных книг или же вновь написанных).

**4.1.5.** *Часослов* включает неизменяемые части служб дневного круга (за исключением литургии). Изменения от издания к изданию минимальные. Структура Часослова должна быть охарактеризована как закрытая.

**4.1.6.** *Октоих (Осмогласник)* содержит тексты дневного и седмичного круга, зависящие от гласа. Издается обычно в двух частях. Нотное приложение может составлять третью часть. Текст стабилен от издания к изданию. Структура Октоиха закрытая.

**4.1.7.** *Триодь* содержит службы, связанные с пасхалией. В сопоставлении с Октоихом и Минеей Триодь рассматривается как единое целое. Однако реально в настоящее время имеются две книги: *Триодь Постная*, которая содержит службы от Недели (воскресенья) о мытаре и фарисее до Великой субботы, и *Триодь Цветная (Пентикостарион)*, содержащая службы от первого дня Пасхи до Недели всех святых. Текст обеих Триодей был исправлен комиссией под председательством архиепископа Сергия (Страгородского), тем не менее в настоящее время переиздается старый вариант (см.: [Кравецкий, Плетнева 2001 : 74–124, 237–238]).

Структура Триоди потенциально открытая. Некоторые службы, содержащиеся в Минее месячной, выглядели бы лучше в составе Триоди. Так, например, логично было бы включить в Цветную Триодь службу в день Всех святых в земле Российской просиявших (празднование в неделю 2-ю по Пятидесятнице), равно как и, например, службы соборам

святых, приуроченные к 3-й неделе по Пятидесятнице, и некоторые другие службы, зависящие от пасхалии, так как включение их в Минею, содержащую непереходящие службы, нелогично.

**4.1.8.** *Ирмологий* содержит тексты, предназначенные для пения. Ирмологий в значительной мере дублирует другие книги. Издается как в цсл., так и в гражданской графике. Структура закрытая.

**4.1.9.** *Минея* составляет не менее 70% от общего объема книг, используемых при общественном богослужении. Различают Минею месячную, дополнительную, праздничную и общую.

1) *Минея месячная* представляет собой собрание изменяемых частей служб, приуроченных к определенному дню года и не зависящих от пасхалии. Минея месячная издается в 12-ти томах (по числу месяцев), некоторые из которых состоят из двух или трех частей. Наиболее употребительными являются так называемые *Зеленые Минеи*, изданные Московской Патриархией в 1978–1989 гг. (см. [Кравецкий, Плетнева 2001 : 263–273]); по объему они в 2–2,5 раза превосходят Минеи издания 1895 года. В 1996–2000 гг. Зеленые Минеи, дополненные службами новопроставленным святым, были переизданы Международным издательским центром православной литературы. В настоящее время в Издательстве Московской Патриархии подготовлено новое издание Зеленых Минеи. Вышеуказанные издания используют гражданский шрифт.

Кроме того, в последние годы было осуществлено два переиздания дореволюционных Минеи, набранных цсл. кириллицей<sup>1</sup>.

Структура Минеи месячной открытая. С прославлением новых святых, с установлением новых праздников и памятей объем Минеи непрерывно возрастает. На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 г. были прославлены сотни новомучеников. Многим из них в ближайшее время будут написаны службы. По всей видимости, через 15–20 лет можно ожидать нового удвоения объема Минеи месячных – как за счет составления новых служб, так и в результате переводов с греческого и других языков.

С другой стороны, как отмечалось выше (4.1.7), некоторые службы из Минеи следовало бы перенести в Триодь. Кроме того, «Служба общая преподобному Печерскому единому» и «Служба общая преподобным Печерским, двема или многим» (28 августа) по сути дела должны быть включены в состав Минеи общей.

2) *Минея дополнительная* представляет собой дополнение к Минее месячной и содержит службы, которые по тем или иным причинам не вошли в состав основного корпуса (как правило, это службы ново-

---

<sup>1</sup> О Минее месячной см. подробнее: [Людоговский 2003а].

прославленным святым). Минея дополнительная была издана в 1905 г. Дополнительную русскую минею готовил еп. Афанасий (Сахаров) (см.: [Кравецкий, Плетнева 2001 : 264–266, 268–269]). Минея дополнительная не является отдельной богослужебной книгой, а потому говорить об открытости или закрытости ее структуры было бы некорректно.

3) *Минея праздничная (Анфологион)* есть извлечение из Минеи месячной служб двенадцатых непереходящих праздников (Рождество Христово, Сретение, Успение и др.), а также некоторых других праздников. Структура потенциально открытая.

4) *Минея общая* содержит собрание типовых служб (служба праздника Господским, служба преподобным, служба святителю и др.), которыми в случае надобности могли бы быть заменены конкретные службы. Структура потенциально открытая.

**4.1.10.** Помимо вышеуказанных книг существует также *Чиновник архиерейского служения* – архиерейский Служебник. Имеется также *Великий часослов*, не являющийся необходимой богослужебной книгой. Для клироса предназначен *Православный богослужебный сборник*.

**4.2.** При частном богослужении используется по преимуществу *Требник* (расширенный вариант именуется *Великим Требником*), сборник «Молитвы, чтимыя на молебных» и др. Кроме того, при частном богослужении читаются (поются) *акафисты*, общий объем которых (автору известно около 400 акафистов) в целом сопоставим с объемом служебных Минеи. Существует практика, не предусмотренная уставом, когда акафист вставляется во всеобщую, часто вытесняя при этом «законную» часть службы (главным образом кафизмы).

**4.3.** Укажем тексты, характерные для домашней молитвы (домашнего богослужения).

**4.3.1.** Прежде всего это *Молитвы утренние* (утреннее молитвенное правило) и *Молитвы на сон грядущим* (вечерние молитвы, вечернее молитвенное правило). Эти молитвы содержатся в любом (неспециализированном) молитвослове. В зависимости от конкретного издания в составе утреннего и вечернего правила могут наблюдаться некоторые различия (преимущественно в начальной и конечной частях; различия, как правило, наблюдаются между современными изданиями и репринтами с изданий XIX – начала XX в.).

**4.3.2.** Правило, которое принято читать перед причащением, состоит из *Канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу*, *Канона молебного ко Пресвятой Богородице*, *Канона Ангелу-хранителю* и *Последования ко святому причащению*. После причастия принято читать *Благодарственные молитвы по святом причащении*. Указанные последования также содержатся в большинстве молитвословов.



**4.3.3.** Многие христиане имеют обыкновение читать различные *акафисты*<sup>1</sup> и *каноны*, содержащиеся в многочисленных молитвословах, акафистниках, канонниках и других сборниках, большинство из которых издаются в гражданской графике<sup>2</sup>.

**4.3.4.** Значимым жанром являются молитвы почитаемых подвижников (оптинских старцев, св. Иоанна Кронштадтского и др.; см. подробнее: [Кравецкий, Плетнева 2001 : 140–154]).

**4.3.5.** Наконец, следует сказать о чтении Св. Писания (разумеется, нас будет интересовать лишь чтение цсл. текста).

В настоящее время соотношение внебогослужебного употребления русского и цсл. текста Св. Писания таково. Единственная книга Св. Писания, которая читается почти исключительно на цсл. – это Псалтирь. Относительно прочих книг Ветхого Завета с достаточной степенью уверенности можно сказать, что на цсл. их не читает почти никто (за исключением немногочисленных любителей и одновременно знатоков цсл. языка). Из Нового Завета наиболее читаемым по-цсл. является, естественно, Евангелие. Необходимо отметить следующий факт. Текст Евангелия, предназначенного для келейного чтения, как правило, печатается по тексту Елизаветинской Библии; однако многие издания содержат текст служебного Евангелия, причем указания на то, какую редакцию цсл. текста содержит данное издание, отсутствуют. Деяния, Послания и тем более Апокалипсис читаются преимущественно по-русски. Разумеется, такие оценки являются в высшей степени приблизительными; возможно, роль цсл. текста Евангелия завышена, так как автору по личному опыту известно, что далеко не во всех православных семьях имеется цсл. Евангелие.

**5.** Наметив контуры совокупности цсл. текстов, рассмотрим по отдельности на предмет очерченности границ и степени структурированности 1) тексты, используемые при общественном богослужении, 2) при частном богослужении; 3) при домашнем богослужении.

**5.1.** Совокупность текстов, используемых при *общественном богослужении*, отличается системностью и наличием достаточно четких границ. Эти тексты в своей совокупности могут быть охарактеризованы как *гипертекст*, т. е. «текст, устроенный таким образом, что он превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и множество текстов» [Руднев 1997 : 69]. Единство в данном случае обеспечивается уставом, достаточно жестко регламентирующим время, место и образ совершения той или иной службы и ее частей. Множест-

---

<sup>1</sup> О современных акафистах см.: [Людоговский 2003б].

<sup>2</sup> О проблемах, связанных с изданием цсл. текстов средствами гражданской азбуки, см.: [Людоговский 2000а]; см. также: [Людоговский 2000б].

венность обусловлена включенностью служб в различные независимые друг от друга круги богослужения.

Для рассматриваемых текстов удобно различать два состояния: потенциальное и актуальное. В потенциальном состоянии тексты находятся в богослужебных книгах, будучи расположены в линейном порядке внутри каждой из книг. *Актуализация* совершается при чтении (пении) их на службе; тогда в пределах текста службы данного дня комбинируются, в соответствии с определенным алгоритмом, тексты из различных богослужебных книг: Минеи, Октоиха, Триоди, Ирмология и др. Здесь также наблюдается линейная последовательность текстов, однако эти тексты в потенциальном состоянии не соприкасаются. Алгоритм актуализации производит, таким образом, структурирование совокупности текстов, устанавливает между ними жесткие, со слабой вариативностью, связи. Указанный алгоритм содержится в Типиконе; таким образом, Типикон (его богослужебная часть) представляет собой своего рода метатекст по отношению к прочим книгам, используемым при богослужении.

**5.2.** Совокупность текстов, используемых при *частном богослужении*, не отличается системностью и имеет более размытые границы. Существуют достаточно четкие предписания относительно совершения каждой из служб (крещения, отпевания и т. д.), однако все эти службы описываются отдельно и слабо соотносятся как друг с другом, так и с общественным богослужением.

**5.3.** При наличии инвариантного ядра у совокупности текстов, используемых при *домашнем богослужении*, наблюдается полная неопределенность в составе периферии этого совокупности.

**6.** Укажем тексты, которые, будучи написаны на цсл. языке, тем не менее должны быть вынесены за рамки СЦСЯ по причине их невосребованности.

**6.1.** Не используется при общественном и частном богослужении и не читается келейно большая часть Ветхого Завета, за исключением Псалтири и паремий – отрывков из ветхозаветных книг, читаемых на вечерне. Таким образом, значительная часть цсл. текста Св. Писания существует лишь в потенциальном состоянии, не претерпевая актуализации.

**6.2.** С уверенностью можно сказать, что многие службы, включенные в Зеленые Минеи, практически никогда и нигде (за редким исключением) не читаются. Зеленые Минеи создавались в такое время, когда разрешение на их издание обусловило включение служб «на всякий случай», причем зачастую без надлежащего редактирования (см., напр., службу преп. Кассиану Угличскому 2 октября).

**6.3.** Существуют отдельные тексты, которые хотя и включены в текст той или иной службы, однако в соответствии с уставом не должны

читаться. Это относится, например, к ирмосам канонов в составе канона на утрени: ирмос первого канона поется перед тропарями этого канона, ирмос последнего канона может петься в качестве *катавасии* или *покрывающего ирмоса* после тропарей последнего канона, но пение или же чтение ирмосов «внутренних» канонов уставом не предусмотрено.

**6.4.** Иерусалимский устав, принятый с XV в. и по настоящее время в Русской Православной Церкви, равно как и предшествовавший ему Студийский устав, является по своему происхождению *монастырским* уставом. В приходских храмах (а на самом деле и в большинстве монастырей) он не соблюдается полностью. Следовательно, определенные части службы – т. е. определенные цсл. тексты – не функционируют или же функционирование их ослаблено. В первую очередь это касается полунощницы и малой вечерни.

**6.5.** При использовании функционального подхода к определению современного цсл. языка приходится вынести за рамки этого языка *Четвы миней* свт. Димитрия Ростовского. Действительно, в настоящее время общедоступным является их перевод на русский язык с дополнениями (выполнен в конце XIX в., первое переиздание осуществлено в 1992–1994 гг. Оптиной пустыней). Однако цсл. текст Четвых миней до сих пор не переиздан полностью<sup>1</sup>.

7. Проведенное нами разграничение цсл. текстов на относящиеся и не относящиеся к СЦСЯ с точки зрения структурно-генетического подхода может показаться во многом спорным и чересчур формальным. Действительно, тексты Четвых миней в области лексики и особенно грамматики гораздо ближе к ядру цсл. богослужебных текстов – Евангелию, Апостолу, Псалтири, Октоиху, Триоди – чем, скажем, к акафистам. С другой стороны, искусственным выглядит отнесение к СЦСЯ тропарей канона и неотнесение сюда же ирмосов этого канона. Однако с точки зрения функционирования языка такое решение является единственно логичным и возможным. Само же предпочтение, которое мы отдаем функциональному подходу, обусловлено своеобразием нормы СЦСЯ, которая не основывается на первичной (естественной) норме и не является кодифицированной. Создание новых цсл. текстов происходит при использовании *механизма пересчета* и *механизма ориентации на тексты* [Живов 1996 : 23–25] – разумеется, на те тексты, которые являются актуальными для языкового сознания продуцента или же редактора данного текста.

---

<sup>1</sup> В 1997 г. братство свт. Алексия Московского приступило к переизданию цсл. текста житий; вышли мартовский и апрельский тома, в 1998 г. – майский том; издание было продолжено лишь после трехлетнего перерыва: в 2001 г. вышли тома за июнь и август, подготовлен июльский том.

В силу этого обстоятельства дескриптивные грамматики СЦСЯ должны основываться прежде всего на данных тех текстов, которые реально функционируют в настоящее время. Будущий цсл.-русский словарь должен также в первую очередь учитывать лексику указанных текстов; использование прочих текстов должно всякий раз оговариваться особо. В противном случае мы рискуем оказаться в ситуации полной неопределенности и будем вынуждены работать с текстами, охватывающими эпоху с X по начало XXI в., что вряд ли разумно.

**8.** В заключение перечислим актуальные задачи как теоретического, так и прикладного плана, связанные с изучением современного цсл. языка.

**8.1.** Прежде всего необходима инвентаризация цсл. текстов. Как справедливо отмечалось на круглом столе, прошедшем 27 февраля 2001 г. в Институте русского языка РАН и посвященном церковнославянскому языку<sup>1</sup>, без такой инвентаризации невозможно полноценное изучение СЦСЯ.

**8.2.** Весьма актуальной задачей представляется изучение *внешней истории* цсл. языка: социокультурного контекста его функционирования, истории создания текстов, их редактирования, восприятия цсл. языка обществом и т. д. Важным шагом в этом направлении является монография А. Г. Кравецкого и А. А. Плетневой «История церковнославянского языка в России (конец XIX – XX век)» [Кравецкий, Плетнева 2001], ссылки на которую неоднократно давались нами выше. Эту работу можно рассматривать как продолжение монографии В. М. Живова «Язык и культура в России XVIII века». На основании многолетних архивных изысканий авторы выстраивают последовательность исправления и издания церковнославянских богослужебных текстов с конца XIX в. до времени празднования 1000-летия крещения Руси, сопровождая изложение «внешних» событий подробным текстологическим анализом. Следует отметить также монографию прот. Н. В. Балашова «На пути к литургическому возрождению» [Балашов 2001], в которой значительное внимание уделяется вопросам богослужебного языка.

**8.3.** Не менее насущным является изучение *языковой системы* СЦСЯ. Работа в этом направлении только начинается; интенсификации исследования, несомненно, будет способствовать осознание современного цсл. языка как особого идиома, наряду с другими идиомами определяющего характер языковой ситуации в современной России.

---

<sup>1</sup> Поводом для круглого стола послужило создание сайта ИРЯ РАН, в рамках которого планируется страница, посвященная церковнославянскому языку. О работе круглого стола см. [Казанцева 2001].

**8.4.** Успешное исследование цсл. языка в рамках академической науки невозможно без преподавания этого языка в высших учебных заведениях при подготовке филологов-славистов и русистов. Необходимо, таким образом, разработать программу соответствующего курса, выработать методику преподавания цсл. языка.

**8.5.** Как практическая дисциплина цсл. язык уже преподается в ряде высших и средних учебных заведений. Соответственно встает вопрос о создании руководств для изучения цсл. языка (грамматик, учебников, словарей, рабочих тетрадей и т. д.).

**8.5.1.** Наиболее известной на сегодняшний день *грамматикой* цсл. языка является пособие иеромонаха Алипия (Гамановича), изданное в Джорданвилле в 1964 г. (впервые в России – в 1991). Рассчитанная на массового пользователя, эта грамматика, однако, как нам известно по собственному опыту преподавания, оценивается учащимися как сложная в терминологическом отношении и малоприспособленная для самостоятельного изучения языка. Академический характер носит грамматика, подготовленная М. Л. Ремневой в соавторстве с В. С. Савельевым и И. И. Филичевым (1999), которая содержит экскурсы в историю цсл. языка, а также включает хрестоматию и словарь.

**8.5.2.** Что касается *учебников*, то лучшим, на наш взгляд, является первый из написанных в постсоветское время «Церковно-славянский язык» А. А. Плетневой и А. Г. Кравецкого (1996). К сожалению, этот учебник содержит немало опечаток и разного рода погрешностей. Все это по возможности исправлено во втором издании (2001). Кроме указанного учебника, имеются и другие учебники и пособия (напр., [Миронова 1997; Церковнославянская грамота 1998; Супрун 1998] и др.).

**8.5.3.** Единственным достаточно полным цсл.-русским *словарем* является словарь прот. Г. Дьяченко (1900). Однако этот словарь, содержа далеко не все цсл. лексемы, включает в свой словник также старославянскую и древнерусскую лексику. Кроме того, будучи создан более ста лет назад, он совершенно не соответствует современному уровню отечественной двуязычной лексикографии. «Словарь церковно-славянских слов» Т. С. Олейниковой (1997) ни в коей мере не может рассматриваться в качестве замены словаря Дьяченко.

В наши дни предпринимаются попытки создания специализированных словарей СЦСЯ. Так, А. Г. Кравецким в 1995–1997 гг. в журнале «Славяноведение» был опубликован «Опыт словаря литургических символов». В этом же журнале в 1992–1995 гг. печатался словарь цсл.-русских паронимов О. А. Седаковой. Отметим также «Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири» Л. П. Клименко (2000), близкий по концепции словарю Кравецкого.

**8.6.** Таким образом, можно констатировать, что современный славянский язык представляет собой во многом terra incognita как в плане теоретического изучения, так и в отношении создания практических пособий. Хочется надеяться, что такая ситуация продлится недолго и что богослужебный язык Русской Православной Церкви перестанет быть лишь предметом газетной полемики, но будет осознан как интереснейший объект для исследования со стороны различных гуманитарных дисциплин.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Алипий (Гаманович), иером.* Грамматика церковно-славянского языка. М., 1991.
- Балашов Н. В., прот.* На пути к литургическому возрождению. М., 2001.
- Верецагин Е. М.* История возникновения общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.
- Дьяченко Г., прот.* Полный церковнославянский словарь. М., 1991.
- Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Каледа Г., проф., прот.* Домашняя Церковь. М., 1997.
- Казанцева Г. Е.* Круглый стол, посвященный проблемам изучения и преподавания церковнославянского языка // Русский язык в научном освещении, 2001. № 2, с. 299–305.
- Клименко Л. П.* Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Ч. 1. Псалмы 1–50. Н. Новгород, 2000.
- Кравецкий А. Г.* Опыт словаря литургических символов // Славяноведение, 1995. № 3, с. 97–104; № 4, с. 96–105; 1996. № 8, с. 87–97; 1997. № 2, с. 84–102; № 5, с. 108–112.
- Кравецкий А. Г., Плетнева А. А.* История церковнославянского языка в России (конец XIX–XX в.). М., 2001.
- Людоговский Ф. Б.* Графическая оболочка современного церковнославянского языка // Ежегодная богословская конференция ПСТБИ: Материалы 2000 г. М., 2000а. С. 505–509.
- Людоговский Ф. Б.* Графическая система современного церковнославянского языка // Опыты–2000. Сб. науч. трудов... преподавателей Школы Юного Филолога. М., 2000б. С. 73–89.
- Людоговский Ф. Б.* Особенности нормы современного церковнославянского языка: теоретический аспект (определения и тезисы) // Христианское просвещение и русская культура. Материалы IV научно-богословской конференции. 24–25 мая 2001 г. Йошкар-Ола, 2002. С. 110–119.

- Людоговский Ф. Б.* Современный церковнославянский минейный корпус // Лингвистическое источниковедение и история русского языка <2002>. М., 2003а (в печати).
- Людоговский Ф. Б.* Церковнославянские акафисты как современный гимнографический жанр: структура и адресация // Славяноведение, 2003б. № 6 (в печати).
- Миронова Т. Л.* Церковнославянский язык. М., 1997.
- Олейникова Т. С.* Словарь церковно-славянских слов. М., 1997.
- Плетнева А. А., Кравецкий А. Г.* Церковно-славянский язык. М., 1996.
- Ремнева М. Л., Савельев В. С., Филичев И. И.* Церковнославянский язык. М., 1999.
- Руднев В. П.* Словарь культуры XX века. М., 1997.
- Седакова О. А.* Церковнославянско-русские паронимы // Славяноведение, 1992. № 5, с. 95–111; № 6, с. 78–97; 1993. № 1, с. 98–112; № 2, с. 117–123; № 4, с. 99–105; 1994. № 1, с. 83–103; № 3, с. 108–122; 1995. № 1, с. 79–88; № 2, с. 84–91.
- Супрун В. И.* Учебник церковнославянского языка. Волгоград, 1998.  
Церковнославянская грамота. СПб, 1998.

А. А. Хрущёва

**К ИЗУЧЕНИЮ СВОЕОБРАЗИЯ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА  
РУССКОЙ РЕДАКЦИИ У СЕРБОВ («РУКОВОДСТВО КЪ СЛА-  
ВЕНСТЪЙ ГРАММАТИЦЪ» АВРАМА МРАЗОВИЧА)**

В начале XVIII века у сербов произошла смена редакций церковнославянского языка в сфере духовной и светской культуры: традиционная сербская редакция церковнославянского языка (она же сербскославянский язык) была заменена русской в связи с постепенным угасанием средневековой сербской литературы. Русский церковнославянский язык с того времени стал официальным языком Сербской православной церкви, причём не только литургии, но также в сфере администрации и образования. Причиной этого послужили экстралингвистические факторы: как социально-исторические условия наряду с политическими обстоятельствами, так и уровень филологических знаний той эпохи.

Инициатором перехода к русской редакции выступил белградский митрополит Моисей Пётрович, обратившийся в 1718 и 1721 годах к российскому императору Петру I с просьбой прислать церковную утварь, богослужебные и учебные книги, а также учителей «латинского и славянского» языков. Просьба митрополита была исполнена, и в 1724 году в Сербию были направлены богослужебные книги для 12 церквей и учебники. В 1726 году в г. Сремские Карловцы прибыл русский учитель «славянского» языка, выпускник московской Славяно-Греко-Латинской академии Максим Терентьевич Суворов, деятельность которого оставила заметный след в образовании, культуре и литературе сербов. Большую роль сыграли книги, привезённые М. Суворовым: 70 экземпляров «Грамматикн» Мелетия Смотрицкого издания Ф. Поликарпова 1721 г., 400 экземпляров «Перваго учёниа Ѡчроковмз» (букварь) Феофана Прокоповича 1722 г. и 10 «ЛезникѠншкз глвѠно-греко-латинскихъ» Ф. Поликарпова 1704 г. издания.

Развитие школьного дела совпало с возрождением сербского книгопечатания, пока, правда, не на своей территории. В этом же 1726 г. в монастырской типографии г. Рымника (в Румынии) было без изменений воспроизведено русское издание «Перваго учёниа Ѡчроковмз» Ф. Прокоповича. В 1755 г. там же слово в слово было перепечатано учебное пособие М. Смотрицкого под наименованием «ГлвѠникала грамматикна... къ ползу и употрѠкѠнне Ѡчроковкз сербскихъ желѠющихъ ѠновѠтельного наѠчѠниа глвѠникала дѠлекта» с последовательной заменой слов «россійскій» на «сербскій».

Книги русской печати получают повсеместное распространение. Одновременно развивается издание книг для православных сербов во второй половине XVIII века в соседних с сербами государствах. В 1758 г. в



Венеции основывает греко-православную типографию Дмитрий Феодози (Теодози), используя кириллические шрифты, полученные из Москвы. С помощью русского печатника Д. Феодози воспроизводил русские богослужебные издания, не указывая, что книга опубликована в Венеции, так как сербы больше доверяли и охотнее покупали издания «московской печати».

В основном продукция Д. Феодози состояла из богослужебных книг: молитвословов, псалтирей, требников, часословов и сочинений западно-русских и московских религиозных деятелей. Там же был опубликован ряд учебных книг первого сербского просветителя Захарии Орфелина: «Латинский букварь» (1766) и «Первые начатки латинского языка» (1767), где использована русская гражданская кириллица, букварь «Первое обучение...» (1767), а также пособие по математике Василия Дамьяновича «Нова наука арифметики» (1767).

Тем же издателем выпущен единственный номер сербского журнала «Славно – сербский магазин» Захарии Орфелина (1768), исторические труды «Начатки введения к истории славяно-сербского народа» Павла Юинца (1765), «Письмо историческое» (1765), «Житие и славные дела государя императора Петра Великого» (1772) и ряд других поэтических произведений и переводов Захарии Орфелина.

В 1769 г. по решению австрийского правительства, после многочисленных просьб со стороны сербов, в Вене была открыта типография Иосифа Курцбека с монопольным правом печатания книг для православных на близком к сербскому народному, румынском и греческом языках. Важно отметить, что Курцбеку было позволено использовать в этих книгах только церковный славянский шрифт, что можно объяснить антирусской позицией австрийских властей, а также недоверием православных сербов к русскому гражданскому шрифту.

Число образованных читателей среди сербов росло в связи с развитием школьного образования, начало которому положил М. Суворов. Продолжателями его дела также были приглашённые русские учителя: воспитанник Киевской духовной академии Эммануил Козачинский, магистр Иван Менацкий, диакон Георгий Живойнов, Синесий Залуцкий, Тимофей Левандовский и другие. Э. Козачинский организовал в Новом Саде школу (1733–1737 гг.), которая позже была преобразована в Духовную коллегию.

Церковнославянский язык русской редакции вошёл почти во все сферы общественной и культурной жизни сербов. На нём писались официальные документы австрийских властей и сербской церкви: «Школьный устав» 1776, «Правила монастыря» 1777, «Регламенты» 1777, «Устав о мнении» 1782, «Важное постановление» 1786, «Общий закон над сербскими князьями и князьями» Иосифа II 1788 года и другие.

Образованные люди той эпохи «славянствовали», т. е. уснащали свою речь церковнославянизмами<sup>1</sup>.

Поэтому вся сербская книжность («литература в самом широком значении, т. е. весь корпус созданных сербами книг и рукописей»<sup>2</sup>) была различной в языковом отношении. Церковнославянский язык русской редакции не был единственным языком сербской книжности. Языковая ситуация у сербов была на протяжении XVIII – начала XIX века весьма сложной. Кроме текстов на церковнославянском языке, публиковались произведения на языке, близком к живой сербской речи, на языке русской светской литературы (русском литературном языке XVIII века, называемом «историческим слогом» в связи с использованием в основном в данном жанре – например, упомянутое выше «Житіе и славныя дѣла государя императора Петра Великаго»), а также на смешанном, так называемом славяносербском языке<sup>3</sup>.

Церковная литература в основном была представлена на русском церковнославянском языке, хотя Й. Раич писал языком, близким сербскому народному (перевод проповедей Г. Криновского «Слѣбо ѡ грѣшномъ чловѣкѣ»), официальное церковное делопроизводство шло по большей части на русском церковнославянском языке, учебная литература создавалась на русском церковнославянском, а затем и на смешанном славяносербском языке. Один и тот же писатель пользовался разными типами литературного языка в зависимости от жанра, собственных пристрастий, уровня владения данным языком и направленности произведения.

К концу XVIII века расширяется круг собственно сербских деятелей Просвещения, которые создают новые, уже национальные сербские (хотя и под сильным русским и западноевропейским влиянием) произведения учебной литературы. Так, в 1767 году вышел уже упомянутый букварь Захарии Орфелина. Авторами учебных книг выступают первые национальные сербские педагоги: Фёдор Мириевский (Теодор Янкович де Мириево), Аврам Мразович и Стефан Вуяновский<sup>4</sup>.

Одним из самых авторитетных и образованных среди них был Аврам Мразович (1756–1829) – инспектор сербских народных училищ в

---

<sup>1</sup> *Јован Скерлић*. Историја нове српске књижевности. Београд, 1953. С. 40.

<sup>2</sup> *Гудков В. П.* К выяснению обстоятельств издания «Истории разных славянских народов» Йована Раича // Советское славяноведение. М., 1977. С. 106.

<sup>3</sup> *Гудков В. П.* Особенности воспроизведения русских текстов в «Славено-сербском магазине» // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 1977, № 1. С. 67.

<sup>4</sup> Данные об их трудах см. в книге: *Г. Михаиловић*. Српска библиографија XVIII века. Београд, 1964.

Печском округе, писатель и переводчик. Он создал целый ряд учебных пособий и художественных произведений на церковнославянском языке:

«Руководство къ славѣнскѣй грамматикѣ». Вена, 1794; Буда, 1800.

«Руководство къ наѣцѣ числителной». Вена, 1794; Буда, 1798; Пешт, 1804.

«Руководство къ славѣнскомѣ краснорѣчїю ко употребленїю любительей славѣнскѣмъ ѡзыку». Буда, 1821.

«Руководство къ славѣнскомѣ пракочтѣнїю и пракопїснїю». Вена, 1792; Буда, 1797.

«Слѣзы блаженнѣй шїи Александрѣ Павловнѣ побѣдцѣныи Александромъ Мразовичѣмъ». Буда, 1810.

«Поздравленїе Г. Іоанновичѣ Епископѣмъ Балкомѣмъ». Буда, 1805.

«Логїка, сї естѣ ѡмслобкѣ или фїлогѡфїи ѡмна...».

Он выпустил также ряд сочинений и переводов на языке, близком к сербскому народному:

«Руководство къ польскому и домаѣму строенїю или пропись, что селянинѣ свакогѣ месеца при нивах, ливадахъ, скотоводству, виноградѣхъ, башчахъ и домоводству радити има, за селянску младежъ изданный». Буда, 1822.

«Поучительный магазин за дѣцу къ просвѣщенїю разума и исправленїю сердца отъ госпожи Марїи ле Пренс де Бомонтѣ сочиненѣ а саде Славенносербске ради юности съ нѣмецкаго на сербскїй езыкъ преведенъ». Ч. 1. Вена, 1787; ч. 2. Вена, 1790 (?), 1793; ч. 3 и 4. Буда, 1800.

«Пастырска игра со стїхами у одномѣ дѣйствию». Пешт, 1803, перевод Х. Ф. Гелерта.

«Человѣкомерзость и раскаянїе» Позорищна игра у петѣ дѣйствиахъ. Преведена Авраамомѣ отъ Мразовичѣ. Буда, 1808.

«Овідїа Назона посланїй отъ Понта книги IV. Преведены и примѣчанїями изъ древностей нарочно мѣѡлогїи обѣма языкома изяснены». Буда, 1818.

Среди произведений А. Мразовича особого внимания заслуживает «Руководство къ славѣнскѣй грамматикѣ» как первый опыт создания грамматики церковнославянского языка русской редакции сербским автором для сербов.

В «Предисловїи» автор сообщает о том, что, начав преподавать «славенскую грамматику», столкнулся с отсутствием отечественных учебных пособий по этому предмету, в связи с чем решил сравнить все существующие славянские грамматики и выбрать из них подходящую для своей работы. Однако таковой не нашел: одни были слишком объемны, в других Мразовича не устраивала несвязность в расположении правил. Так А. Мразович оказался перед необходимостью создать собственную грамматику, опираясь на уже существующие образцы и учиты-

вая современные ему формы обучения. Сам он признается, что знает «славенский» язык только благодаря чтению церковных книг и надеется, что ему простят имеющиеся ошибки. Тем не менее автор давно (около 20 лет) использует созданную им грамматику в преподавании, но лишь недавно решил ее напечатать, получив одобрение многих «достойных лиц».

Книга предназначена для учащихся сербских школ. Благодаря ей, они смогут, освоив «...нѣждѣнѣша ѿинокѣнѣа ѿ ѿвѣнѣтка ѿбѣтѣннаго ѿзѣка...», «ко ѿзѣчѣнѣю дрѣгѣхъ къ ѿдрѣжѣтѣѣ граждѣнѣкомѣа благопочѣрѣбнѣхъ ѿзѣкѣа ѿдрѣжѣтѣѣ рѣководѣтѣнѣа...»

Как видим, А. Мразович не считает здесь «славенский» язык «чужим», «мертвым», а наоборот, называет его «собственным», т. е. принадлежащим сербам, изучив который, они смогут постигать другие, даже современные, «гражданские» языки, необходимые в обществе.

Возникает вопрос: насколько данный труд Аврама Мразовича оригинален и самостоятелен? Ведь сам автор не скрывает, что ознакомился со всеми существующими грамматиками славянского языка и создал свою «помощѣю гѣрѣ помѣнѣтѣхъ Граммѣтѣкѣа». Не стоит также забывать, что нередко сербы перепечатывали русские пособия, лишь слегка видоизменяя их.

Например, «Букварь» («Пѣрѣкоѣ ѿчѣнѣе ѿтѣрокѣмѣа») Ф. Прокоповича выходил под разными наименованиями, с изменением предисловия, без имени автора и с отсутствием следов русского происхождения, однако с сохраненным содержанием. «Букварь», изданный в 1770 г. Курцбеком, был дословно перепечатан с издания Киево-Печерской лавры, лишь гравюра Троицы немного отличалась от русского оригинала и имела цитату из 1-го послания Иоанна Богослова (стих 7 V главы). И подобных примеров достаточно много.

Однако исследование труда А. Мразовича дало нам основания полагать, что в значительной степени «Рѣководѣтѣа къ ѿвѣнѣтѣѣй граммѣтѣкѣа» является оригинальным произведением. Этот труд представляет немалый интерес для истории церковнославянского языка в православных славянских землях на рубеже XVIII–XIX веков и заслуживает специального рассмотрения. Мы опираемся на 2-е издание этой книги, выпущенное в Будапеште в 1800 году. Экземпляр данного издания хранится в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве.

Внешне «Рѣководѣтѣа къ ѿвѣнѣтѣѣй граммѣтѣкѣа» представляет собой книгу небольшого формата размером 18x11 см, напечатанную на достаточно плотной, сероватой и неровной бумаге и оправленную в твердый коричневый бумажный переплет (верхняя его часть в 2003 г. уже отсутствует). Общая сохранность книги пока ещё хорошая, кроме уже названного отсутствующего верхнего переплѣта и 98–99-ой страниц, испачканных чем-то синим. Листы прошиты. На титульном листе

изображение двуглавого орла, других иллюстраций нет. На внутренней стороне верхнего переплёта был приклеен листок с указанием: «Изъ Библиотеки для чтенія А. Смирдина» под № 5684.

На титульном листе даны название книги, должность автора, указано, что это 2-е издание, а также цена без переплета (36 крон), место и год издания (Будимъ, Кралевское Всеучилище Пештанское, 1800). Кроме того, чуть ниже центра титульного листа расположен двуглавый орел со щитом внизу, мечом и скипетром в лапах. Буквы по углам щита – ККИВ.

Площадь, занятая печатными знаками на каждой странице, – 15,5x8,5 см, содержит в среднем по 27 строк (их число колеблется от 25 до 28), вверху каждой страницы имеется простой орнамент. Часть первого слова или символ остается на предыдущей странице и указывается в правом нижнем углу для удобства ориентации в книге, как и в современных богослужебных книгах, напечатанных церковнославянским шрифтом. Шрифт кириллический, церковный, черный. Названия крупных разделов выделены крупным жирным шрифтом, параграфов и подпунктов – шрифтом поменьше, но все равно больше шрифта основного текста. Поля 1,5 см справа и слева; 2,5 см сверху; 3 см снизу. Буквы прямые, мелкие (высотой 3 мм, шириной 1,5 мм).

Книга содержит 192 пагинированных страницы. Пагинация выполнена римскими («Предисловие» и «Оглавление») и арабскими (основное содержание) цифрами в верхнем правом или левом углу соответственно. Титульный лист не пронумерован, но учитывается в нумерации. «Предисловие» занимает с III по VI страницы. Нумерация начинается с IV, III не указана, но учитывается. «Оглавление» занимает с VII по XVI страницы, VII-я не указана. На этом пагинация римскими цифрами заканчивается. Основное содержание пронумеровано арабскими цифрами. 1-я страница не обозначена, нумерация начинается со 2-ой. Внизу страниц основной части, начиная с первой, имеются пометки латинскими буквами: 1-я – А, 3-я – А2; 17-я – В, 19-я – В2; 33-я – С, 35-я – С2 и т. д. до букв М и М2. Общее количество страниц – 208.

### Содержание

«Рѣчьковѣдство» состоит из «Предисловия автора», подробного «Оглавления», пяти озаглавленных частей («Орфоэпии», «Просодии», «Орфографии», «Этимологии» и «Синтаксиса») и «Прибавления о двойственном числе» на 6-и страницах в конце книги. Каждая часть делится на главы, те – на параграфы, последние – на пункты, обозначенные заглавными буквами, цифрами и строчными буквами (в порядке убывания). Части неравнозначны по объему: «Орфоэпия», «Просодия» и «Синтаксис» занимают по 20–30 страниц, «Этимология» – большую часть книги. В книге содержится словарь для учащихся на стр. 41–46, между

«Орфографией» и «Этимологией». Он называется «Назначеніе реченій въ произношеніи еякъ подобающихъ...»

Композиционно «Рѹководство» сходно с другими пособиями по церковнославянскому языку, так как составлено в русле традиции описания данного языка. Особый интерес вызывает прежде всего описание фонетики и графики, учитывая тот факт, что учебник ориентирован на людей, родным языком которых является сербский.

Проведём выборочный анализ по некоторым позициям, сопоставив «Рѹководство къ славінскѣй грамматикѣ» Аврама Мразовича (далее – «Рѹководство») и «Грамматикѣ Славѣнскѣя правнѣное Сѹнѣтама» Мелетія Смотрицкого (далее – «Грамматика»).

### Алфавит

Мразович даёт в виде последовательного списка перечень из 42 букв:

а б в г д е ж з н і к л м н о п р с т њ Ѡ<sup>1</sup> ф х ѡ ц ч ш щ з ы ь  
ѣ ѥ ю ѡ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ

Алфавит у Смотрицкого в издании Ф. Поликарпова 1721 г., также приведенный в виде последовательного списка, содержит 40 букв:

а б в г или г, д е ж з џ или з, н і к л м н о п р с т њ или Ѡ, ф х ѡ  
ц ч ш щ з ы ь ѣ ѥ или ѣ, ю или ж, ѧ или ѧ, ѡ или ѡ, Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ<sup>2</sup>

Как видим, у М. Смотрицкого присутствуют дублетные буквы, которые либо имеют различное фонетическое значение (г, или г<sup>3</sup>), либо являются графическими вариантами:

џ, или з

њ, или Ѡ

ѣ, или ѣ

ю, или ж

ѧ, или ѧ

ѡ, или ѡ – всего 7 букв.

У А. Мразовича подобных вариантов с «или» в алфавите нет, все буквы перечислены через запятую. Порядок букв в алфавите Мразовича в целом совпадает с таковым у Смотрицкого, за исключением ѡ, кото-

<sup>1</sup> Этим условным знаком обозначаем здесь и далее своеобразную лигатуру, эквивалентную диграфу ѡѣ.

<sup>2</sup> В издании «Грамматикѣ» Смотрицкого 1619 г. были буквы ѡѣ или њ, ѡ или ѡ.

<sup>3</sup> Об этой букве: Б. Успенский. Книжное произношение в России. М., 1971. Т. 1. С. 212. Заметим здесь лишь, что буква г обозначала в книжной речи фрикативный [γ], тогда как для обозначения взрывного звука в грамматиках Юго-Западной Руси стали использовать специальный значок «г с молоточком», т. е. г, что наблюдается в «Грамматикѣ» Смотрицкого.







XVIII вв. имели свои особенности: [γ] фрикативное, произнесение цѣ как [шч], различение ѣ и ѓ, отсутствие редукции, наличие вокального звукового значения у љ и ѣ, отсутствие перехода е>о перед твёрдыми согласными и т. д.<sup>1</sup>

Влияние украинской фонетики связано с тем, что большинство русских учителей приезжало из Киева, и в основном сербы на протяжении всего XVIII века получали образование в Киевской духовной семинарии.

Существенно отметить, содержится ли в сербских грамматических пособиях по церковнославянскому языку информация о чтении букв, т. е. обучению произношения артикулированных звуков уделялось в России (наряду с пением) наибольшее внимание<sup>2</sup>.

Можно сказать, что подобные сведения в грамматиках есть, но их недостаточно при отсутствии живого примера для овладения русскими производными особенностями носителей другого языка.

К вопросам, нуждающимся в рассмотрении, относятся правила чтения букв церковнославянской кириллицы, имевших у сербов другое звуковое значение: дублетных ѓ – ѣ, ѓ – ѣ, ф – ѣ, а также ѣ, ѣ, ѣ, љ, цѣ, слоговых ѣ и ѣ.

Поскольку фонетическая система языков на восточнославянской и балканской территориях была разной, а кириллическая азбука – единой для всех славян, то сербам, перенявшим в начале XVIII века церковнославянский язык русской редакции, требовалось упорядочить использование данных букв и правил их чтения («озвучивания»). Здесь стоит отметить, что вместе с церковным чтением к сербам пришло и книжное, литургическое произношение, отразившееся позже в высоком стиле русского светского языка.

Рассмотрим с этих позиций правила произношения, представленные в «Рѣчьковѣдѣ» А. Мразовича, и сравним их с правилами в «Грамматикѣ» М. Смотрицкого.

#### Ѣ и ѣ

В церковнославянском языке сербской редакции (сербскославянском) звуковая реализация букв Ѣ и ѣ в к начале XVIII в. была различной. Буква Ѣ обозначалась последовательностью [ja] в начале слова и после гласной. Буква ѣ уже не использовалась в сербской кириллице с XIII века и заменялась на письме буквой ѓ в соответствии с реа-

<sup>1</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 466–468.

<sup>2</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 54.

лизацией на сербской почве [ɛ] > [e] и утратой ринезма<sup>1</sup>. Например, *яко* [jako], но *свѣтаго* [svetago], *поштеѣнимъ* [posteštimsɛ].

В церковнославянском языке русской редакции XVIII в. звуки, обозначенные буквами *ѣ* и *ѧ*, были идентичными – [ja], или [ʔa] в соответствии с восточнославянским (русским) рефлексом носового [ɛ], а сами буквы, соответственно, «омофоничными» (понятие Б. Успенского<sup>2</sup>). Их разграничение происходило орфографически: буква *ѣ* в начальной позиции и *ѧ* после гласного обозначали йотированный звук [ja]. После согласного буква *ѧ* обозначала [ʔa] ([a] с мягкостью предшествующего согласного).

Подобное значение данных букв отражено во многих грамматических руководствах той эпохи (Г. В. Лудольфа, Л. Зизания, Ф. Поликарпова, Ф. Максимова), в том числе и в наиболее авторитетной «Грамматичѣ» Смотрицкого. Буквы *ѣ* и *ѧ*, имеющие единое произношение и разграничивавшиеся лишь орфографически, трактовались Смотрицким как варианты с одинаковым фонетическим значением [ja], или [ʔa] («сортѣ ѣ ѣзѣмъ») и классифицировались как «двогласныѣ» и «кѣй-гласныѣ ѣ Лѣтѣнѣ» (вместе с *ѣ* и *ю*, видимо, в связи с наличием начального j). Конкретное произношение данных букв, вероятно, вытекало из указанной фразы («сортѣ ѣ ѣзѣмъ») в связи с буквослагательным методом чтения при обучении грамоте, когда читался слог с последовательным называнием всех входящих в него букв<sup>3</sup>.

Что касается сербов, то, с принятием в первой четверти XVIII в. «русскоцерковнославянского» языка, они вместе с «вернувшейся» буквой *ѧ* должны были приобрести в принципе знакомое, но для данной буквы новое звуковое значение [ja] после гласных и не свойственное [ʔa] после согласных, что привело бы к совпадению огласовки *ѣ* и *ѧ* в начале слога, но и к необходимости разграничения на орфографическом уровне 2-х самостоятельных букв, получивших одно звуковое воплощение.

Так, *ѧ* в этих позициях должна была бы произноситься в примерах *прѣѧтѣ*, *ѧѣкоѧѧ* как [ja] после гласного и [ʔa] после согласного – [prijatʔi], [ubojasʔa]. Первая реализация, скорее всего, закрепилась без изменений, по аналогии с произношением *ѣ*. Однако после согласного реализация *ѧ* была иной. Так как в сербской фонетической системе позиционное смягчение согласных, т. е. реализация *ѧ* в виде [ʔa], невозможны, а мягкость

<sup>1</sup> А. Младеновић. О неким питањима примања и измене рускословенског језика код Срба // Зборник за филологију и лингвистику. XXV / 2. Нови Сад, 1982. С. 71; Петар Борђић. Историја српске ћирилице. Београд, 1987. С. 72, 217.

<sup>2</sup> Б. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Москва, 2002. С. 128.

<sup>3</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 528.



ный) приобрело на сербской почве облик ja, oja, beta (в одном случае beta).

Самостоятельным моментом работы Мразовича можно назвать подробную классификацию гласных по составу с точным определением в ней места звуков, обозначенных буквами ja и a (термины автора «ложинна» и «потлажинна»), а также доступное описание их произношения, возможно, в духе нового звукослагательного, а не традиционного буквослагательного метода, как было у Смотрицкого («сливаемое ja слышится», а не «iwa и az»).

### Ѣ и Ѥ

В церковнославянском языке сербской редакции начала XVIII в. произношение букв Ѣ и Ѥ не различалось: в начале слова и после гласного буквам Ѣ и Ѥ соответствовало сочетание [je], в середине и конце слова после согласного – [e]. Их использование разграничивалось орфографически – в начальной позиции полагалось писать только букву Ѣ, хотя не всегда это условие чётко соблюдалось<sup>1</sup>.

До XIII века сочетание [je] у сербов обозначала специальная буква ѣ, однако она употреблялась нерегулярно, и уже с XIV века сочетание [je] обозначалось чаще всего буквами Ѣ и Ѥ в указанных позициях: ѣдиногласиѣ [jedinoglasije], ѣдно [jedno], моѣ [moje], днѣвь [dnes], дрѣво [drevo], гѣѣни [gejena].

В церковнославянском языке русской редакции XVIII в. звуки, обозначенные буквами Ѣ и Ѥ, также произносились одинаково в соответствии с правилами орфографии. Так, Ѣ в начале слова и Ѣ – Ѥ после гласного обозначали последовательность [je], а после согласного – [e]. По поводу произношения Ѣ и Ѥ после согласного существуют 2 точки зрения – Б. Успенского и М. Панова<sup>2</sup>. Б. Успенский изучал литургическое произношение в России до и после раскола (вторая пол. XVII – первая пол. XVIII в.), в то время как М. Панов опирался на трактаты исследователей русского литературного языка второй половины XVIII в.: М. Ломоносова, А. Сумарокова, В. Третьяковского, А. Барсова, В. Адогурова. Так как по утвердившемуся мнению русская редакция церковнославянского языка была принесена сербам русскими учителями в 20–30-х гг. XVIII в.<sup>3</sup>, мы будем придерживаться хронологически более оправданной позиции Б. Успенского, при которой Ѣ и Ѥ имеют реализацию [e] с не-

<sup>1</sup> Петар Борђић. Указ. соч. С. 210, 218.

<sup>2</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 81–82 сноска; М. В. Панов. История русского литературного произношения XVIII–XX веков. М., 2002. С. 322.

<sup>3</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 2. С. LXXXIV–LXXXVII. Комментарий № 29 к С. 343.

палатальным предшествующим согласным. Например, *днѣсь* [dnesj], *дрѣво* [drevo].

Такое произношение было свойственным и сербскославянскому языку, поэтому можно говорить об одинаковой звуковой реализации букв *ѣ* и *е* в неначальной позиции в русском церковнославянском языке в России и на сербской почве.

Что касается произношения *ѣ* в начальной позиции, следует отметить определённые отличия внутри русской редакции, связанные с юго-западнорусской и великорусской (московской) традициями и подробно рассмотренные у Б. А. Успенского. В Юго-Западной Руси начальное *ѣ* читалось как [je] в славянских и как [e] в иноязычных словах, в то время как в Московской Руси до раскола середины XVII в. *ѣ* в словах любого происхождения читалось в начале слова с йотацией, как [je]. Например, *ѣдино* [jed'ino], *ѣлеазаръ* [jeleazar] по московской традиции, тогда как по киевской [jedino], но [eleazar]. После раскола, в XVIII в., великорусская традиция произношения *ѣ* укрепились в церковнославянском языке русской редакции, в то время как юго-западнорусская нашла своё отражение в русском литературном (светском) произношении<sup>1</sup>.

В «Грамматицѣ» М. Смотрицкого представлена именно юго-западнорусская традиция:

«*е* ѣже чѣсто ѿ со прѣдн речѣнїа полбѣженое двогласнѣго сегѡ ѿ силѡ прѣтѣжлетѣ ѣкѡ оѣединѣнїе, ѣггегтѡ ѿ про», т. е. получает в начале слова значение буквы *ѣ*=[je]. Однако «Нзѡчїю подлежащїи речѣнїѣмѣ ѣврѣйски Грѣчѣски ѿ Латїнски: ѣкѡ, ѣманѣнїа, ѣлѣн, ѣлемѣнтѣ: ѿ про. В нн же *е*, ѣко же ѿ в речѣнїи Славянскїхъ согласномѣ прѣпрѣжено гласн, ѣфїлонѣ грѣчѣскомѣ, ѿнѣ С латїнскомѣ подобнѣ», т. е. в иностранных словах *ѣ* в начале слова произносится так же, как в славянских после согласного — без его смягчения, как греческое или латинское *e*. Кроме этого, как мы видим, здесь нет орфографического разграничения *ѣ* и *е*: обе буквы возможны как в начальной, так и в неначальной позициях.

В классификации гласных Смотрицкого *е* относилась к «гласн-гласнымѣ» (т. е. обозначала, скорее всего, один звук в противоположность «двогласнымѣ»), *ѣ* в «разделениях» не упоминалась. Между тем ещё в алфавите буквы *ѣ* и *ѣе* трактовались как варианты (что выражалось в их написании с союзом «или») и должны были иметь, соответственно, одинаковое произношение и значение: раз «ѣе соггонтѣ ѡчїго ѿ ѣтгомѣ», так же произносится и *ѣ*. Если *ѣе* относится к «двогласнымѣ» и «скоичѣвнымѣ ѡ Латїнѣ» (вместе с *и*, *а* и *ю*), этими же признаками, вероятно, должна обладать и буква *ѣ* (с учётом современного понимания второго признака, что буква *ѣ* греческого, а *ѣе* славянского происхождения). Таким образом, произношение звуков, обозначенных буква-

<sup>1</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 511–512.

ми љ и ѣ, описано у Смотрицкого достаточно подробно (как [je] или [e] в зависимости от позиции в слове), а их орфографическое разграничение затрагивает различие грамматических форм и будет рассмотрено ниже.

В связи с обнаруженным выше совпадением норм произношения букв љ и ѣ в русской и сербской редакциях церковнославянского языка можно предположить, что принятие в XVIII в. «русскославянского» языка не вызвало изменений русской (в широком понимании) книжной нормы на сербской почве. Действительно, в своей классификации гласных А. Мразович относит буквы љ и ѣ к «примѣтым самогласным», а чуть ниже, в «Облиныхъ правилехъ произношенїа писмѣнъ» подробно описывает их произношение:

«Писма љ или ѣ въ Славянскихъ реченїахъ двоякъ произнобнтса.

а. Какъ гласное ѣ (в данном значении «с йотацией»), когда въ началѣ реченїа стоитъ, или предъ собою самогласное писма ѣмать. П. п. ѣрѣствѣ, чковѣ.

Примѣчанїе. Писма љ или ѣ въ чужестранныхъ реченїахъ вездѣ содержится чистый<sup>1</sup> (в данном значении «без йотации») гласъ ѣой. П. п. ѣврѣпа, Фїнеѣса.

б. Содержитъ чистый ѣой гласъ, когда предъ собою самогласное писма ѣмать».

Как видим, норма произношения буквы љ в начале слова, устанавливаемая А. Мразовичем, продолжает юго-западнорусскую традицию чтения данной буквы, кодифицированную ещё М. Смотрицким и усвоенную в XVIII в. русской светской речью (отсутствие йотации начального љ в иностранных словах), но расходится с великорусской нормой книжного чтения, сохранившейся в церкви после раскола (чтение с йотацией в начале слова как славянских, так и иностранных слов). Русское светское произношение было знакомо сербам в связи с использованием гражданской азбуки и чтением художественных произведений на русском литературном языке XVIII в. (так называемый «историографический слог») как русских, так и сербских авторов, например, «Житїе и славныя дѣла государя императора Петра Великаго» Захарии Орфелина или «Феторїа разныхъ славянскихъ народовъ наипаче Болгаръ, Хорватовъ и Сербовъ...» Иована Раича. Таким образом, можно говорить о различной реализации љ и ѣ в русском церковнославянском языке на сербской почве в зависимости от позиции в слове:

1) в начале слова: љ реализовалась в виде [je] в славянских и [e] в иностранных словах в литургическом чтении в соответствии с русской светской, но не церковной манерой произношения.

<sup>1</sup> Как отмечено у Б. А. Успенского. Книжное произношение... Т. 1. (С. 159), термин «чистый» в русской грамматической традиции обозначал гласный в начале слога.

2) после гласного: ѣ и е представлены в виде [je] в церковном чтении как на русской, так и на сербской почве.

3) после согласного: ѣ и е реализовались в виде [e] в церковном чтении русскославянского языка у сербов – так же, как и на русской почве.

### ѣ

В церковнославянском языке сербской редакции начала XVIII в. буква ѣ имела двойную звуковую реализацию. Основным значением данной буквы было [e]<sup>1</sup> после твёрдых согласных (как и для ѡ, ѣ – ѣ), что отражает характерный эквивизм сербскославянского языка: *колѣна* [kolena], *вѣрѣмени* [vɛrɛmɛni], *правѣше* [praveše], *мѣрою* [mɛroju], *вѣсти* [vesti] («Житие свѣтѣла князя Лазара» из сборника XVII века). В начале слова и после гласного ѣ обозначала сочетание [ja] (реже [je]), в связи с чем заменялась соответствующими буквами (ѡ и ѣ)<sup>2</sup>: *ѣсти* – *ѣсти* [jesti], *ѣли* – *ѡли* [jasli].

В связи с принятием сербами церковнославянского языка русской редакции ѣ в основной своей позиции (после согласных) начала произноситься как [je] и различаться в произношении с ѣ<sup>3</sup>: *совѣтъ* [sovjet], *вѣра* [vɛra], *вѣкъ* [vɛk], *дѣва* [dɛva]. Данная особенность отмечена П. Ивичем на основании исследований Б. Успенского и непосредственно связана с проникновением русской редакции и распространением нового церковного чтения<sup>4</sup>. В то же время в сочетаниях с мягкими согласными [l'] и [n'] – *лѣ*, *нѣ*, которые до XIV века обозначались у сербов как *ле*, *не*, буква ѣ имела огласовку [ʲe] в соответствии с палатальностью предшествующих согласных, т. е. произносилась, как и в русском церковнославянском языке: *тѣлѣннаго* [tl'ɛnago], *прилѣпникъ* [pr'il'ɛpɪv], *гнѣзда* [gn'ɛzda], *довлѣши* [dovl'ɛjaše]. В начальной позиции буква ѣ должна была употребляться лишь в нескольких словах (*ѣти*, *ѣлти*), где обозначала сочетание [je], как и после гласного.

Почему же изменилось произношение буквы ѣ после твёрдых согласных и установилось её различие от е на сербской почве? Несомненно, это было связано с принятием церковнославянского языка русской редакции в 20–30-х гг. XVIII в. Б. А. Успенский считает, что в книжной церковнославянской речи ѣ и е после согласного обозначали один звук [e], при этом между ними существовало искусственное различие,

<sup>1</sup> П. Борђић. Указ. соч. С. 210, 217; А. Младеновић. Указ. соч. С. 61.

<sup>2</sup> П. Борђић. Указ. соч. С. 70, 210.

<sup>3</sup> Это различие П. Борђић охарактеризовал как «искусственное». С. 217–218.

<sup>4</sup> П. Ивић. Рецензия на книгу Б. Успенского «Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России)» // Сборник за филологију и лингвистику. XIII / 1. Нови Сад, 1979. С. 286; Его же: Српски народ и његов језик. Београд, 1971. С. 165–166.

выражавшееся «не в качестве самого гласного, но в том, что **ѣ** смягчал предыдущий согласный, тогда как перед **е** смягчения не было», например **чѣло** [t'elo] и **небо** [nebo]. Подобное произношение было «противопоставлено явлениям живой речи» Московской Руси, где звучание **е** и **ѣ** совпадало<sup>1</sup>. В Юго-Западной Руси книжное произношение изменялось вслед за живым, поэтому оно отражало совпадение в южноукраинских диалектах **ѣ** с **и**. На великорусской территории уже во второй половине XVIII в. [ѣ] в книжной речи стали смешивать в середине слова с [е], что получило отражение на письме, а к середине XIX в. различие [ѣ] и [е] утратилось и в церковном чтении. В начале слова и после гласного произношение [ѣ] и [е] не различалось и реализовывалось в виде [je].

О приобретаемом, книжном характере различия **ѣ** и **е** в середине слова свидетельствуют русские буквари церковнославянского языка XVII – нач. XVIII в., в которых обучали различать при чтении «склады» (слоги) с **ѣ** и **е**: **бѣ** – **бе**, **вѣ** – **ве** и т. д.

Грамматические пособия также строго разграничивали употребление **ѣ** и **е** в указанной позиции. В «Грамматицѣ» Смотрицкого **ѣ** относилась к «молглынымъ долгимъ» (тогда как **е** – к «краткимъ») и использовалась «во всѣхъ реченіахъ словъхъ: ѣкѣ ѣва, ѣва, инѣдохѣ: ѣ про». Звуковое значение буквы **ѣ** можно представить из третьего правила орфографии, предостерегающего от употребления «**е** въ мѣсто **ѣ**, ни въ прѣтвѣ», «ни **ѣ** въ мѣсто **и**». Первое предостережение говорит о проникновении в строгую систему церковнославянского языка московских разговорных черт, а второе свидетельствует о влиянии на книжный язык украинской диалектной речи. Однако у Смотрицкого не так уж и подробно рассказано о произношении **ѣ**, что позволяет предполагать для Мразовича иной источник заимствования, например, в «Технологіи» Ф. Поликарпова 1725 г. чтение буквы **ѣ** указано следующим образом: «Бѣва **ѣ** произношѣтъ акн ѣ... въ мѣсто **ѣ** пишѣтъ и произношѣтъ **е** или и не мѣжетъ».

В иностранных (западноевропейских) грамматических пособиях по русскому церковнославянскому языку отмечалось «двусоставное качество звука, обозначаемого буквой **ѣ**», чаще всего в виде [je] или [ie], так как «представители тех языков, где отсутствует противопоставление согласных по твёрдости-мягкости, часто воспринимают палатальность согласного именно как сочетание с йотом»<sup>2</sup>.

Этим и объясняется своеобразная звуковая реализация **ѣ** после согласных на сербской почве. С учётом того, что для сербской консонантной системы не характерно позиционное смягчение согласных, можно утверждать, что усвоение русского фонетического значения буквы **ѣ**

<sup>1</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 159.

<sup>2</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 173–180.



происходило после твёрдых согласных в виде [je] со вставным [j], с помощью которого в сербском языке могла быть обозначена не свойственная сербам позиционная мягкость согласного. Таким образом, русскоцерковнославянские т'ѣло [t'elo], во вѣки [vov'eki], прѣломити [pr'elomiti] стали произноситься у сербов как тѣло [tjelo], во вѣки [vovjekı], прѣломити [prjelomiti], что напоминало «йекавское» произношение. В отношении палатальных согласных произношение лѣ, нѣ осталось прежним как соответствующее русской редакции церковнославянского языка.

Итак, в «Рѣководѣтвѣ» Мразовича на рубеже XVIII–XIX вв. мы находим следующую характеристику ѣ: данная буква классифицируется как «сложѣннаа», «двогласнаа» и «потаѣннаа», «ѣки бы предѣ сокѣоу краткое ѣ ѣмѣетѣ. Н. п. рѣклѣ», а в правилах орфографии достаточно подробно описано её произношение: «вѣ предѣ тѣчѣю (середине слова) ѣ вѣ концѣ до согласнаго писмене (после согласного), ѣдѣже слыѣемое ѣ слышнѣтѣ, написѣетѣ. Н. п. вѣгѣ, добѣтѣ».

Мы видим, что Мразович даёт более подробные сведения о произношении ѣ (как ѣе), чем это было представлено у Смотрицкого, и кодифицирует не характерное для последнего написание ѣ только после согласных. Схожая характеристика ѣ как ѣе отмечена также в «Рѣководѣтвѣ ко правописанію ѣ правописанію» 1793 Стефана Вуяновского и скорее всего заимствована обоими авторами в другом грамматическом сочинении, нежели «Грамматика» Смотрицкого (возможно, в добавленной к ней «Технологіи» Ф. Поликарпова 1725 г.). Она сохраняется и у последующих сербских авторов учебных пособий – Г. Захариадиса, М. Видаковича, Й. Поповича, Д. Тирола, В. Караджича<sup>1</sup>.

Как видим, особая огласовка ѣ после твёрдых согласных в русскоцерковнославянском языке XVIII в. на сербской почве возникла в результате взаимодействия русского книжного произношения и сербской фонетической системы. Однако описание особенностей произношения данной буквы были заимствованы А. Мразовичем не у М. Смотрицкого, а в других источниках, как восточнославянских, так, возможно, и западноевропейских, толковавших произношение ѣ более подробно и с учётом отсутствия позиционного смягчения согласных. В связи с невозможностью «мягкого» произношения твёрдых согласных, которого требовало употребление «ятя», в церковнославянском языке у сербов установилось «компромиссное» сочетание [je], сохранившееся до настоящего времени в Сербской православной церкви.

<sup>1</sup> А. Младеновић. Указ. соч. С. 63–64.

## Ы

В церковнославянском языке сербской редакции буква **ы** обозначала звук [i] в связи с отсутствием в сербской фонетической системе звука [y], который был утрачен в XII–XIII веках. В церковнославянском языке русской редакции звук [y] существовал и коррелировал с [i] по признаку обозначения твёрдости-мягкости предшествующего согласного.

С принятием русской редакции церковнославянского языка перед сербами встал вопрос об использовании звука, обозначаемого буквой **ы**.

Было хорошо известно, что в русском языке есть звук [y], противопоставленный [i] по признаку обозначения твёрдости-мягкости предшествующего согласного. В сербской фонетической системе такого звука не существовало. Сербские авторы грамматических пособий решали, признавать ли [ы] в качестве особого звука церковной кириллицы или нет. Некоторые авторы, для которых «русскославянский» выступал в качестве «чистого», «неиспорченного» общеславянского языка, видели свою задачу в том, чтобы «возродить» у сербов исконный славянский звук [ы], который сохранился в русском произношении. Поэтому они доказывали наличие этого звука, обращаясь к сербскому языку. Данная точка зрения была непопулярна, нам известны лишь два её сторонника – С. Вуяновский и Г. Трлаич.

С. Вуяновский рекомендовал различать *и*, *у* и **ы**, указывая, что «**ы** всегда двѣкымыз вѣщцѣмѣтѣа гл҃гомыз». Григорий Трлаич в небольшом словаре в конце своего сочинения «Нѹма, ѡн Процвѣтѹющій Рѣмѣз» (1801) сетовал на «великое и всеобщее небрежение, которое господствует среди нас по вопросам языка» и призывал объяснить учащейся молодёжи «как нужно произносить наше *ы*». Трлаич восхищался церковнославянским языком, общим достоянием всего славянского народа, и старался привлечь сербов к «присвоению чистого, богатого и прекрасного славянского языка нашего». Георгий Захариадис предлагал «чтением и дальнейшим обучением грамматическим навязать на звук» [ы].

Но большинство авторов уже не могло объяснить произношение [ы] с помощью звуков сербского языка, обращаясь с этой целью к современным западноевропейским языкам, чаще всего к немецкому. Сава Мркаль в «Палинодии» выделяет 6 гласных в церковном языке сербов, «потому что *ы* так нужно произносить, как немцы свой *й* произносят». Сава Сретенович (1853) сообщал, что «*ы* произносится немного твёрже, чем *и* и *й*». Павел Соларич в букваре (1812) считал, что **ы** «произносится прикрытым ртом как мутное [i] подобное французскому [u] или слитному [yi]». Вук Караджич отмечал: «[ы] – звук средний между [e] и [u] (почти как немецкое [ü])».

Однако немало нашлось сторонников точки зрения, отказывавшей звуку [ы] в особой артикуляции, отличающей его от звука [и]. Данные авторы выясняли, нужно ли произносить этот звук так, как в рус-

ском, или придерживаться сербской фонетической системы, в которой звука [ы] давно не существует даже в церковном языке, он произносится как [и], а обозначающий его значок (буква ы) сохраняется по орфографической традиции. Так поступал З. Орфелин в своём букваре (1767), не делая различий между звучанием ы и и в «славенском» языке. Вук Карджич указывал, что «в сербском языке такого звука ([у]) нет, и сербы не могут его произнести, а при чтении церковных книг произносят как [i]: [sin], [riba], [bik]». Йован Попович отмечал, что слова с ы «произносятся так же, как если бы они с и написаны были, то для нашего диалекта не нужно строго требовать, чтобы мы их с ы писали, кроме различения некоторых слов от себе подобных». Д. Тирол в своём «Правописании сербского языка» 1852 года сообщал: «В сербском языке ы не имеет никаких отличий от и и i в произношении и употребляется только по обычаю».

Аврам Мразович, а также Йован Живанович и Петар Нинкович считали, что буква ы употребляется на письме только для дифференциации значений слов, являясь атрибутом орфографии. Аврам Мразович не объяснял в своём «Рѣчькобѣдѣ» произношения буквы ы и не указывал звука, который она обозначает, ограничиваясь лишь правилами правописания. В результате проблема ы превращалась из фонетической в грамматическую: особого звука, обозначенного буквой ы, в его учебнике не существовало, но оставался не реализованный в фонетическом плане графический значок, который требовалось употреблять в строго определённом месте и в ограниченном количестве слов. Усвоение правописания ы сводилось к механическому заучиванию объёмного материала – слов и словоформ в русской огласовке, содержащих данную букву, без указания признака, обуславливающего появление буквы ы в том или ином месте.

Таким образом, в сербских грамматических пособиях по церковно-славянскому языку в XVIII–XIX вв. утвердилась последняя точка зрения чисто орфографического понимания ы с фонетическим значением [i], что сохраняется и по сей день, например, в грамматике Б. Ђирковића 1949 г.

Причину этого надо искать в русских грамматиках церковнославянского языка XVI–XVII вв., на которые ориентировались сербские авторы пособий на протяжении всего XVIII – нач. XIX века, а также в произношении русских учителей, непосредственно обучавших сербов в 20–30-е гг. XVIII века.

Если обратиться к восточнославянским грамматическим пособиям, можно заметить тот факт, что произношение данного звука почти не описывалось или объяснялось крайне недостаточно для понимания иностранцев. У Лаврентия Зизания в «Грамматицѣ словѣникой» 1596 отмечалось, что «ы дѣлѣным глаголом вѣщѣетѣся» – эта же фраза присутствует в пособии С. Вуяновского, но отсутствует у А. Мразовича.

М. Смотрицкий характеризовал в своей «Грамматицѣ» букву ы как «двогласнѣю», «вѣойствениѣю ѿ Славѣнъ» и образуемую «ѣремъ и ѿтгою» с предельно краткими орфографическими сведениями: «Въ началѣ реченїа не полагаетсѣя».

Также автор предостерегал от написания «ы ѣ мѣсто и, ни ѡбѡта ѡпрѡтнѣ», что связано с влиянием юго-западнорусского книжного произношения, стоявшего ближе к диалектному, в котором [ы] был более переднего ряда и имел звучание, близкое к [и]. Это стоит учитывать в связи с тем, что более продолжительное время учителями сербов в 20–30-е гг. XVIII в. были воспитанники Киевской духовной академии (Э. Козачинский и его соратники), там же сербы получали духовное образование на протяжении XVIII–XIX вв.

Таким образом, у сербов сохранилось прежнее, сербскославянское произношение буквы ы в виде [i], чему способствовало как отсутствие чёткого описания произношения данной буквы в восточнославянских грамматических пособиях, так и влияние живого чтения киевских учителей, более близкого языку сербов, чем у москвича Максима Суворова.

## Ѣ, Ѥ

В церковнославянском языке сербской редакции в XII в. редуцированные звуки [ѣ] и [ѥ] совпали в сильной позиции в одном гласном звуке среднего ряда и стали обозначаться значком [ѥ]. Этот гласный среднего ряда в сильной позиции перешёл в большинстве говоров в [а]. Есть основание полагать, что и в церковном сербском произношении [ѣ] и [ѥ] не различались и озвучивались как [а], о чём будет рассказано ниже.

В сербской орфографии использовалась в основном буква ѥ. Буква ѣ вновь была восстановлена в XIV в. в результате ресавской реформы, тогда как ѥ могла употребляться в значении [а] и на конце слов в чисто орфографической функции: *сѣнъ* > *ѣнъ* [san], *дѣнъ* [dan], *тѣмьнъ* > *тѣмьнѣ* [taman].

В церковнославянском языке русской редакции к XVIII в. ѣ и ѥ в слабой позиции не произносились, в сильной они вокализовались в звуки полного образования – [о] и [е] соответственно.

На письме слабые ѣ, ѥ опускались или заменялись специальными значками – ериком и паерком, в сильной позиции обозначались буквами о и ѣ. В слабой позиции буквы ѣ и ѥ продолжали писаться на конце слов, где за ними остались чисто орфографические функции<sup>1</sup> (показатель твёрдости-мягкости предшествующего согласного), ѥ в этом же значении в середине слов после твёрдых согласных, а также в предлогах и приставках, где они произносились как [о] по юго-западнорусской традиции: *сѣнъ* [son], *ѣъ дѣнъ* [voden’], *тѣмьнъ* [temen].

<sup>1</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 446.

Это нашло отражение в восточнославянских грамматических пособиях XVII–XVIII вв. Мелетий Смотрицкий зафиксировал в своей «Грамматичѣ» современное ему состояние церковнославянского языка с отсутствием звукового значения у *ѣ* и *ь*, которые назвал в своей классификации «припражнoglными» («понеже глаголю бою глаголю издѣти не могути»).

В словах они обозначают твёрдость-мягкость предшествующего согласного и служат для разграничения омонимов: «ѣз слогахъ же соглными припражена, ѣ оубо дѣбелое, ь же чѣнокое ѡкончаніе чѣоритѣ: крѣкъ – крѣвь, чѣтъ – чѣтъ». Правила орфографии фиксируют употребление *ѣ* и *ь* только на конце слова, а в предлогах и приставках заменяют их «ериком» и «паерком»: «пѣрка оубо над соглными положенъ дѣбело ѣ ѣко же вѣрнѣше рѣкомъ ко извѣщанію чѣоритѣ... мѣрто ѣрка и пѣрка слогахъ кончѣемый... и к ѣдноложныхъ к к ѣ и проч. к мѣрто вѣ, кѣ, ѣ: илѣ ко, ко, со и проч.» В «Грамматичѣ» Лаврентия Зизания место «паерка» (общего для *ѣ* и *ь*) точно не определено, однако примеры фиксируют пропуск еров в середине слова: «плѣчникъ надъ пѣменѣ пишѣмѣ, ѡвѣхъ илѣ илѣтъ, ѣко, множѣтѣнѣнѣ, оумилѣнѣнѣ».

Принятие русского церковнославянского языка сербами должно было вызвать новое понимание значения *ѣ* и *ь*: вместо сербской реализации обоих редуцированных в одном звуке [a], они должны были усвоить отсутствие звукового значения у данных букв и их чисто орфографическое употребление для обозначения твёрдости-мягкости согласного. Новое, «беззвукое» значение *ѣ* и *ь* мы и наблюдаем у Мразовича, который не включил *ѣ* и *ь* в классификацию гласных (т. к. звуков они по рускославянской книжной традиции не обозначали) и в правилах орфографии назвал «вѣзглными». Уже в первом правиле «произношеніа писемъ» («самогласна к произношенію ѣдно вѣтѣтѣ дѣлѣтъ да не премѣнѣютѣ») Мразович борется с сербскославянским произношением, запрещая читать Тѣорѣтъ вместо Тѣорѣтъ. В «глаголахъ» правиле «извѣтѣнѣнѣ и злѣшнихъ писемъ» Мразович предупреждает о том, что вокализация *ь* является нарушением русских церковнославянских норм: «ни ѣдное писма додѣти подобѣтъ, ѣже вѣ правномъ произношенію не слышѣтъ, Н. п. ѣмѣ, ѣ не ѣмѣ, прѣценіе, ѣ не прѣценіе».

Орфографическое значение *ѣ* и *ь* представлено в «оголѣкомъ» правиле «извѣтѣнѣнѣ и злѣшнихъ писемъ» в соответствии с «Грамматикой» М. Смотрицкого: «Писменѣ ѣ и ь при концѣ реченію до согланигъ писмене (т. е. после согласного) оупотребляютѣ, на средѣ же и злѣшна сѣтъ. Н. п. Слѣдѣнѣ, ѣ не слѣдѣнѣ, добродѣтельный, ѣ не добродѣтельный». При этом орфографическая норма Мразовича требовала использования на конце слов в основном буквы *ь* (что соответствовало сербскославянской традиции), для чего автор привёл длинный список примеров, тогда как буква *ѣ* должна была употребляться в данной позиции по совершенно не оп-

ределённому «остаточному принципу», т. к. признак твёрдости-мягкости согласного не является для сербского языка релевантным.

Таким образом, в русской редакции церковнославянского языка на сербской почве было усвоено чисто орфографическое значение букв *ѣ* и *ь* и употребление их только на конце слов в соответствии с русской традицией, но без реализации основной функции в данной позиции – различения твёрдости-мягкости согласных. Вскоре это постепенно привело к вытеснению из графики буквы *ѣ* как не свойственной сербской орфографической традиции. Однако сербскославянское произношение *ѣ* и *ь* в виде [a], считавшееся ненормативным, сохранилось в названиях праздников и в других клишированных церковных выражениях, что отмечает А. Младенович: *Вликрєніє, Влєдєніє, влиєтнїѣ, ва глєвѣ и чєтї*<sup>1</sup>.

#### слоговые *г*, *л*

В сербскославянском языке существовали слоговые [г], [л], которые были как исконными, так и вторичными по происхождению, но имели впоследствии общую судьбу<sup>2</sup>. Исконные слоговые [г], [л] восходили к праславянским сочетаниям [ъг], [ъл], [ьг], [ьл] с неслоговыми *ъ*, *ь* и долгими *г*, *л* в качестве носителей слога. Новые слоговые сонанты, которых не было в старославянском языке, возникли на месте сочетаний [гъ], [гь], [лъ], [ль], [гь], став носителями слога лишь после утраты *ъ*, *ь* в слабой позиции. Гласные сонанты заднего и переднего ряда, т. е. [ъг], [ъл] и [ьг], [ьл] в сербском языке не различались.

В сербских источниках старые и новые слоговые плавные обозначались на письме одинаково – как *рь*, *ль* в соответствии с традициями сербской орфографии: *трьгъ* [trg], *дльгъ* [dlg], *пррьгъ* [prst] и *кррьгъ* [krst], *пльгъ* [plt] в отличие от старославянского языка, где исконные слоговые зафиксированы на письме в виде *рѣ*, *лѣ* и *рь*, *ль*: *трѣгѣ*, *длѣгѣ*, *пррьгѣ*<sup>3</sup>. Исконные и вторичные слоговые плавные пережили дальнейшие изменения в народных сербских говорах: [л] изменился в [о] после гласных и [у] после согласных, тогда как слоговой [г] оказался более устойчивым<sup>4</sup>.

В русском церковнославянском языке слоговых *р* и *л* не было, так как в праславянских группах [ъг], [ъл], [ьг], [ьл] на русской почве носителем слога был гласный переднего или заднего ряда, вокализовавшийся в сильной позиции. Поэтому на месте старославянских слоговых плавных

<sup>1</sup> А. Младенович. Указ. статья. С. 71.

<sup>2</sup> С. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. т. 1. С. 269.

<sup>3</sup> П. Ђорђевић. Указ. сочинение. С. 55–56.

<sup>4</sup> С. Бернштейн. Указ. сочинение. С. 269.

мы находим сочетания плавных с предшествующими гласными полного образования.

На письме данные сочетания до вокализации обозначались в соответствии с произношением в виде *чъргъ, дългъ, пьръгъ* (в отличие от старославянского написания *чръгъ, дльгъ, прьръгъ*), после вокализации соответственно *чѣргъ [torg], дѣлгъ [dolg], пѣръгъ [perst]*. Второе южнославянское влияние возродило старославянское написание *ргъ, лъ*, однако московская традиция быстро изжила эту норму и уже в XVI в. вернулась к прежним *ор, ол, ер*<sup>1</sup>.

В «Грамматикѣ» Смотрицкого подобные сочетания приводятся в качестве примеров при рассмотрении «приращногласныхъ» *ъ* и *ь*: *крѣкъ – крѣкъ, пѣръгъ – пѣръгъ, плоть*. Это были слова с типичным восточнославянским обликом, и специальных правил употребления этих сочетаний не требовалось, потому что гласные *о* и *ѣ* в сильной позиции не вызывали никаких затруднений ни в произношении, ни в написании.

С принятием сербами русского церковнославянского языка им нужно было отказаться от произношения собственных слоговых плавных и усвоить новое – сочетание *р* и *л* с предыдущими и последующими гласными *о* и *ѣ*. При этом им нужно было различать, когда использовать на письме гласный *о*, а когда *ѣ*, реализуемые в этих сочетаниях, так как в сербскославянской орфографии преобладал *ь*, имевший там, как известно, другую реализацию в сильной позиции – *а*. Поэтому сербы, переняв новое написание, адаптировали его с учётом сербскославянских традиций: типичную в сербской орфографии букву *ь* стали усваивать в подобных сочетаниях с русской реализацией в виде *ѣ*, а из слоговых плавных использовать сохранившееся слоговое *р*. Эти особенности объединяются у Мразовича в следующем правиле: «пнѣма ѣ когдѣ ѣмѣ р съ каковыми лѣко дрѣгими гласными пнѣменемъ предхѣднѣтъ или послѣдѣтъ, никогда ѣзвѣтъкнѣти подокѣтъ. Н. п. Пѣръгъ ѣ не Прѣгъ, Крѣръгъ ѣ не Крѣгъ, пѣръкый ѣ не прѣкый». Описывая подобное явление, Мразович не мог опираться на русские грамматические пособия, поэтому представлял его в соответствии с собственными наблюдениями над структурой церковнославянского языка русской редакции в сопоставлении с сербской.

Кодификация русского церковнославянского произношения предписывала, таким образом, отказаться от одной из самых характерных черт сербской фонетической системы. Написание сочетаний гласных с плавными вместо слоговых *р; л* резко выделялось своим «русским» характером и служило для писателей второй половины XVIII – начала XIX вв. средством выражения их позиции в отношении литературного языка: это проявлялось в сербизации подобных слов сторонниками ли-

---

<sup>1</sup> Б. Успенский. История... С. 137, 309, 355.

тературного языка на народной основе и сохранением их в языке защитников «славянского» языка. Некоторые черты подобного произношения и написания сохранились в современном сербохорватском языке, что отметил П. Ђорђић: *оваплотити, плотски*.

Таким образом, сербы усвоили в качестве нормы в XVIII–XIX вв. русскославянское произношение исконно слоговых *р* и *л* в виде сочетаний сонорных с полными гласными, при этом наиболее частотной являлась группа *ер*, употребление которой «представляло собой одну из характеристик литературы предвуковского и вуковского периода»<sup>1</sup>.

## Ц

В результате палатализации праславянских [st] и [sk] большинство штокавских говоров имеет [št], и в сербском церковнославянском языке буква *ц* читалась соответственно, напр.: *ицѣмъ* [ištēm].

В русском церковнославянском языке существовало искусственное книжное чтение буквы *ц* как [šč] – [шч], отличное и от старославянского [шт], и от русского народного [ч]. Б. Успенский предполагает, что такая манера чтения сохранилась в Юго-Западной Руси и была утрачена в Руси Московской. После раскола XVII в. юго-западнорусская норма церковного чтения [шч] распространилась и на великорусской территории, закрепившись позже в светском произношении высокого стиля<sup>2</sup>. Появление этой искусственной манеры чтения на Руси А. Шахматов и Н. Дурново связывали как с древним подражанием старославянскому произношению [št] и с усвоением его «непосредственно от книжников юго-западных болгарских областей, т. е. Македонии», так и с эпохой «создания славянской письменности, т. е. передачи *ц* в кириллице в виде ш+ч, ш+ч, тогда как в глаголице только ш+ч»<sup>3</sup>.

Особое произношение *ц* отражено в восточнославянских грамматиках церковнославянского языка.

У Л. Зизания *ц* относится к «ѣдѣицѣмъ» со звуковым значением [шч] «ѣдѣицѣмъ ѣ ш, ѣ ч». В «Грамматикѣ» М. Смотрицкого *ц* принадлежит к «ѣдѣицѣмъ», которые «ѣ количествѣмъ стѣхотворномъ ѣдѣицѣмъ (т. е. состоящихъ ѣ двѣю писменъ) илѣ причѣтѣмъ». Произношение буквы *ц* представлено у Смотрицкого лишь в 4-ом правиле орфографии: «ни *ц* ѣ мѣсто *ч*, ни *ч* мѣсто *ц*: исчетный, ѣ не исчетный: ницѣ, ѣ не ницѣ».

Поэтому сербам, принявшим русский церковнославянский язык, следовало усвоить иное звуковое значение буквы *ц* в виде [шч], отличающееся от сербскославянского (одинакового со старославянским) произно-

<sup>1</sup> А. Младенович. Указ. статья. С. 75.

<sup>2</sup> Б. Успенский. История... С. 134–135.

<sup>3</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 353–354.





было также специфическое украинское произношение *ѣ*, в виде [ft], считавшееся в этой традиции гражданским и провинциальным. Норма произношения Московской Руси, при которой *ѣ* читалась как [f], совпадая по звучанию с *ф*, закрепилась в светской манере высокого стиля вместе с [t], обусловленной латинским влиянием<sup>1</sup>. Данное различие произносительных норм подтверждается тем, что в великорусских букварях нет сочетаний с буквами *ѣѣ* – *ѣѣѣ* (потому что они совпадают по звучанию), тогда как в юго-западнорусских они есть с предписанием различать произношение букв *ѣ* и *ф*. Это отражено у М. Смотрицкого и в грамматических пособиях XVII–XVIII вв. – букварях К. Истомина, Ф. Поликарпова, братьев Лихудов.

В «Грамматичѣ» Смотрицкого буква названа «трѣтня... ѣко ѿ Грекъвъ прихъѣта», рядом приводится правило её разграничения от *ф* (которое произносилось в некнижной речи Юго-Западной Руси как *хѣ*, что отражено в правиле: «ниже *ф* в мѣсто *хѣ*, ни впрѣчѣ, ѣкѡ хѣла ѣ не фла, фѡрма, ѣ не хѣорма»): «междѡ *ф*, ѣ *ѣ*, различѣ ѡплѣну хранимо ѣтѣ: ни же ко мѡжет пишемо быти фѡдѣлѣ, Фѣлѣппѣ, фѣкла: но Фѡфѣлѣ, Фѣлѣппѣ, Фѣкла и проч.».

Сербы, переняв русскоцерковнославянский язык, должны были усвоить в качестве образца существовавшую русскую норму произношение *ѣ*, со значением [th]. В букваре Курцбека 1788 г. отвергается сербскославянское чтение *ѣ*, в виде [t] и утверждается русское: «оглѣна, котѡра въ произношенѣи себѣ подобѣтъ, ѣко да различѣ, на прилѣзѣ: т и *ѣ*, не говорим: Тѡма, но Фѡма». Однако на сербов оказывали влияние как светские нормы (до раскола церковная московская *ѣ*=*ф*=[f] и возникшая позже под латинским влиянием *ѣ*=[t]), так и специфическая украинская церковная форма *ѣ*=[ft]. Наличие нескольких образцов произношения данной буквы ([th], [f], [ft] и [t]) привело к возникновению колебаний в произношении. Так, требование читать *ѣ* как [th] дословно повторяется в «Рѣководѣтѣ» А. Мразовича, однако в правилах орфографии *ѣ* вновь сопоставляется как равнозначная с *т*: «писмени Т ѣ Ф ...тѡчнѡ да различѡтъ: *ѣ*... тѡчнѡ въ чѣжестрѣннѡхъ рѣчѣнѣхъ пишѡтъ, т... въ Славѣннѡхъ рѣчѣнѣхъ ѡпотребѣтелѣа сѡтъ».

Авторы грамматических пособий XIX в. также предпочитали для этой типично книжной буквы сербскославянское значение [t]. В. Караджич разграничивал [t] и [f] как варианты сербского и русского церковного произношения, называя в славянской азбуке данную букву по-сербски – «тита». Для доказательства правильности такого значения он ссылаясь на новозаимствованные слова русского светского языка, где также произносилось и писалось *т* вместо *ѣ*, (Караджич при этом подчеркнул: «как у сербов»): *математика, аптека*. Й. Попович призывал

<sup>1</sup> Б. Успенский. История... С. 356, 449.

сохранять в славянской азбуке букву Ѧ, со значением [t] как греческое церковное наследие. М. Видакович и Д. Тирол в «Славянской грамматике» также фиксируют для Ѧ звуковое значение [t].

Таким образом, в использовании заимствованной из греческого языка буквы Ѧ, возобладало в XIX в. сербскославянское значение [t] из-за разнообразия существовавших норм, под влиянием киевских учителей и русской светской литературы. В настоящее время сербы в руководствах по церковнославянскому языку для объяснения звучания данной буквы обращаются к исходному греческому, а не русскому церковнославянскому языку: «Ѧ, *тѣ* специальный звук... из греческого языка... произносится как греческий, средний между язычно-зубными *тѣ*... в славянских языках утрачен» (Б. Тирковић).

Итак, на основании проведённого сравнения можно сделать следующий вывод: звуковые значения всех рассмотренных букв кириллицы, которые усваивались сербами в составе русского церковнославянского языка, подверглись определённым изменениям с движением в сторону сербской фонетической системы. Это выразилось в:

- 1) компромиссных значениях: Ѧ=[ja], Ѧ=[je].
- 2) сохранении прежнего сербскославянского звукового значения: Ѧ и Ѧ=[je], Ѧ=[i], Ѧ=[t].
- 3) сосуществовании двух видов произношения: Ѧ=[št] и [šć], Ѧ – Ѧ=[ø] и [a], Ѧ, Ѧ=[er], [el], [re], [le], [ro], [lo], [or], [ol] и [r], [l].

Таким образом, звуковая сторона церковнославянского языка русской редакции на сербской почве была пропущена через горнило сербской фонетической системы, перестав таким образом быть полностью русской, но и не превратившись полностью в сербскую, что придало этому языку в какой-то степени искусственный характер. Этому способствовали различные факторы, среди которых:

- приглашение учителей из двух конкурирующих центров образованности – Москвы и Киева с различными традициями произносительных норм,
- отсутствие образцов живого произношения наряду с учебными пособиями, где чтение многих букв описано затемнённо и недостаточно, что в результате привело к интерпретации и переосмыслению русского произношения сербскими авторами грамматических пособий.

### Правописание

Традиция старославянской письменности, сохранившаяся и в церковнославянском, предусматривала для целого ряда звуков наличие в азбуке не одной, а нескольких букв, например і и и, о, ѡ и ѳ, ѣ-ѣ-ѣ, которые были как в русской, так и в сербской редакциях церковнославянского языка. Кроме них, сербы «реанимировали» Ѧ, Ѧ, Ѧ, Ѧ с новыми правилами правописания.

Сербы могли усваивать данные правила без изменений, но также мы можем предположить, что они неосознанно или сознательно вносили свои элементы в орфографию церковнославянского языка.

Рассмотрим, как разграничено правописание некоторых гласных букв в «Рѹковѡдѣтѣ» А. Мразовича и «Грамматицѣ» М. Смотрицкого. Так как орфографию невозможно полностью отграничить от фонетики, в этой части статьи возможно повторение ранее представленных сведений.

### Ї – И, Ъ, Ы

Все данные буквы церковнославянской кириллицы имели в русско-славянском языке на сербской почве звуковое значение [i], разграничиваясь только орфографически.

Буквы ѱ («и-десятеричное») и и («и-восьмеричное») обозначали звук [i] как в русской, так и сербской церковнославянской кириллице. Правила разграничения на письме этих одинаково звучащих букв представлены в «Рѹковѡдѣтѣ» Мразовича следующим образом:

и употребляется:

1) в начале славянских слов: ѱмѡ, ѱкѡнн, ѱмѡтъ.

2) в окончаниях причастий и прилагательных после ѡ или ѱ: ѡбрѡнн, чнѡвѡнн.

3) на конце наречий: ѡбѡнн, ѱкѡнн.

4) в окончаниях после г, к, х: ногн, рѡкн, снохн.

5) а также во всех славянских словах, где нельзя поставить ѱ или ѡ: мѡй, твѡрѡнн.

ѱ употребляется:

1) перед гласным: пѡн, лѡдѡ.

2) в иностранных словах: ѱѡннн, ѡбѡфѡлн, ѡмѡртѡнн.

Кроме того, автор приводит разграничение омофонов мѡрѡ и мѡрѡ – «подѡбѡетѣ разнѡчнн съ разнѡчными пѡсменн... Мѡрѡ (покоѡ) Мѡрѡ (всѡленнн)», лексическая дифференциация которых отмечена ещё у Максима Грека из-за соотнесения с разными греческими словами – [κόσμος] и [εἰρήνη]. Орфографическая дифференциация данных омонимов появляется после второго южнославянского влияния в качестве локальной нормы Юго-Западной Руси, т. к. разграничение ѱ и и имело на Украине фонетическое значение. После раскола данная норма закрепились и на великорусской территории, но с чисто графическим значением<sup>1</sup>. Мразович мог заимствовать эту норму из «Тѣхнолѡгѡн» Ф. Поликарпова – дополнения к московскому изданию «Грамматицѡн» Смотрицкого.

<sup>1</sup> Б. Успенский. История... С. 330–333.



няло и морфологическую функцию разграничения частей речи: союз ѣ произносился без йотации, местоимение ѣ – с йотацией, кроме того, в этом случае морфологическая дифференциация оформлялась при помощи надстрочных знаков – спиритуса и исо.

Особую роль диакритических знаков можно отметить в истории букв ѣ и ѣ̣.

Возникновение буквы ѣ было связано с западнорусской традицией, поэтому этот новый значок нехарактерен для Московской Руси: ѣ со знаком придыхания («слитной») стал обозначать «и неслоговое» и произноситься «лнѣѣмъ», т. е. кратко<sup>1</sup>. Старообрядцы протестовали против такого произношения и написания святых молитв, считая его уменьшительным («полуименем») и вульгарным: ѣѣѣи Божѣ вместо почтительного ѣѣѣи Божѣ<sup>2</sup>. В связи с тем, что буква ѣ рассматривалась в восточнославянской грамматической традиции как гласная ѣ, образующая самостоятельный слог, то и в пособии Мразовича она не выделяется в качестве самостоятельной буквы алфавита, являясь лишь вариантом, одним из воплощений буквы ѣ с определённым звучанием: «ѣ крѣткѣ произношѣтѣ. Н. п. мѣѣ, ѣлѣѣѣи». Позже она использовалась сербскими писателями и авторами грамматических пособий для обозначения [j].

Буква ѣ («ижица») в рассматриваемый нами период читалась как [i] между согласными (после гласного – [v]), а её облик имел долгий путь развития. Достаточно времени ижица употреблялась на письме в русской и сербской кириллице в виде Ѡ как вторая часть диграфа Ѡѣ. В старославянском языке диграф Ѡѣ («оник») обозначал звук [u] и восходил к греческому диграфу ου, а его вторая часть Ѡ («ик», «ижица») передавала особый греческий звук [ū], обозначенный буквой υ (ипсилон), который славяне также могли читать как [u]. В церковнославянском языке сербской и русской редакций ижица Ѡ имела двойной фонетический облик в зависимости от позиции: между согласными и в начале слова она выступала в качестве гласного звука, после гласного обозначала согласный [v]. В качестве гласного звука чтение Ѡ как [u] было для церковнославянского языка русской и сербской редакций уже архаической нормой; ижица должна была читаться как [i] в соответствии с новым произношением ипсилона υ=[i] в греческом языке. Если раньше на письме буква Ѡ могла смешиваться с Ѡѣ, Ѡѣ, Ѡѣ, то позже она смешивалась с ѣ, что приводило к неправильному произношению гречизмов в церковнославянском языке и требовало упорядочивания. Для прежнего разграничения Ѡ=[u] от Ѡѣ и её лигатурного начертания Ѡѣ существовало правило употребления Ѡѣ(Ѡѣ) в начале слога (т. е. в начале слова и после гласных), Ѡ –

---

<sup>1</sup> Там же. С. 313.

<sup>2</sup> Там же. С. 442.

в середине слога. Разграничение  $\acute{O}=[i]$  от  $\text{и}$  было проведено известными реформами орфографии.

После ресавской реформы в сербской редакции и второго южнославянского влияния в русской редакции ижица получила новое начертание  $\text{v}$  и стала использоваться только для обозначения в грецизмах звуков  $[i]$  и  $[v]$ , причём в первом случае она употреблялась со специальной диакритикой (кендемой, «палками»)–  $\text{v}^{\text{h}}$ , а во втором – без диакритики<sup>1</sup>. Новый облик ижицы  $\text{v}$  был противопоставлен старому, в виде  $\acute{O}$ , с прежним звуковым значением  $[u]$  и отождествлением с буквами  $\text{ou}$ ,  $\text{y}$  и  $\text{ю}$ , что потребовало уже разграничения на письме  $\text{ou}$  и  $\text{y}$ , что мы рассмотрим ниже.

Для грамматической дифференциации ижицы Мразович использовал позицию в слове и признак иноязычного происхождения, без указания на особый надстрочный знак, хотя и приводил два её фонетических значения в качестве гласного и согласного звука: « $\text{v}$  то́чїю чѣжеотрѣннїмїз нѣкоторымѣз речѣнїамїз свѣиткѣно ѣтъ. Н. п. Сѣнодѣ, Ёпоствѣ», «... $\text{v}$  то́чїю вѣз чѣжеотрѣннїхѣз речѣнїахѣз написѣтсѣ, вѣз Славѣнїкнїхѣз речѣнїахѣз оупотребїтѣлнаѣ ѣтъ», тогда как у Смотрицкого орфографическая характеристика данной буквы основывалась на обоих признаках: « $\text{v}$  Грѣчїемнїм то́чїю речѣнїем ѣтъ приклѣно, ѥногда гла҃нагв н сїлѣ нмѣще, двѣто́чїем свѣше ѡзнаменовѣно бѣвше: ѣкв, ѣкнѣдѣ: ѥногда же согл҃нагв в, крѣмѣ двѣто́чїа: ѣкв, ѣкнѣдѣ» (схожим образом были разграничены  $\text{v}$  и  $\text{v}^{\text{h}}$  в букваре Киприана Рачанина). Поэтому можно предположить, что Мразович либо не пользовался правилом Смотрицкого относительно ижицы, либо не считал существенным и сократил его, не выделив важный различительный признак – диакритику буквы, меняющую её фонетическое значение (хотя в примерах буква употреблена правильно – с «палками» для обозначения  $[i]$ ).

Буква  $\text{ы}$  присутствовала как в русской, так и сербской редакции церковнославянского языка, однако в русском церковнославянском языке она имела звуковую реализацию  $[y]$ , тогда как в сербском –  $[i]$ . Поэтому употребление данной буквы у сербов и отграничение её от  $\text{и}$  основывалось только на грамматических признаках. Мразович привёл детализированные правила для кодификации орфографических различий указанной буквы среди трёх других с таким же звуковым значением. Итак,  $\text{ы}$  пишется:

- в полных окончаниях прилагательных и причастий ед. ч. перед буквой  $\text{й}$ : **кѣрѣннїй, чнѣтѣмнїй**
- после  $\text{ц}$ : **чѣловѣцѣ, тѣцѣтѣ, рѣцѣтѣ.**
- в существительных на  $\text{-ынѣ}$ : **рѣкѣынѣ, пѣтѣынѣ, гордѣынѣ.**
- в конце наречий на  $\text{-жды}$ : **дѣлѣжды, мнѣлѣжды.**

<sup>1</sup> Б. Успенский. История... С. 181–184, 304.

- в окончаниях некоторых падежей имен и причастий: *гряды, сватыхъ, тгьа, творцья.*
- в I лице множ. числа нетематических глаголов *ѣмы, нѣмы, вѣмы, гмы, ѿмы* и их приставочных вариантах
- в корнях слов *быкъ, бытрый, мышь.*
- после приставки *кз-* в глаголах настоящего времени: *кзыкю, кзыдѣ, кзымаю.*
- в глаголах на *-ыю* после *б, д, з, м, н, с, т:* *добываю, ѿповѣдыаю, сказываю, преломываю, ѿбкопываю, препниываю, долѣтываю.*

Здесь можно отметить стремление Мразовича выделить характерные признаки, по которым будут ориентироваться ученики при написании слов с буквой *ы*. К таким признакам относятся: словообразовательный критерий, т. к. буква *ы* может писаться во всех частях слова; морфологический критерий – эта буква употребляется в словах знаменательных частей речи, за исключением частицы *кы*; орфографический критерий с учётом условий фонетической сочетаемости – написание *ы* после букв, обозначающих твёрдые согласные.

Из 9-и пунктов правила употребления *ы* в 7-и кодификация написания данной буквы идёт на основании морфологического и словообразовательного критериев (указания части речи и слова – обычно окончания и суффикса: пункты 1, 3, 4, 5, 6, 8; корня – пункт 7 с целым списком из 90 слов в русскоцерковнославянской огласовке) и лишь в двух случаях – на основании орфографического критерия: написания *ы* после букв *б, д, з, м, н, с, т* и *ц*. В списке приводимых автором слов, в корне которых пишется буква *ы* (пункт 7), присутствуют, кроме русскоцерковнославянских, также русские просторечные *кды, рыгаю, тгьд* и непонятные (ошибочные? южнорусские?) формы *лыгто, млынз, пельнз, плякяю, пьро, тгрий, тгья.* Автор пособия, таким образом, ориентировал учащихся в основном на конец слова и часть речи, причём второй признак был наиболее расплывчатым: так, сначала Мразович провозглашает написание *ы* на конце причастий и прилагательных, а затем приводит целый список исключений, едва ли не превышающих правило (т. к. оба написания были графически условными, без опоры на народный сербский язык). Мразович и сам осознаёт несовершенство своих правил, сообщая о кодифицированном им правописании: «*ѣмѣ же дѣлшимъ на гтавлѣнїемъ Грамматїечкимъ пркыкѣти подоклѣтѣ*» и помещая примеры, где использование *ы – и, ы – ѿ* в корне имеет смыслоразличительную функцию разграничения омофонов, в своём словарице, вероятно, для запоминания: *кѣти – быти, вѣшнн – вѣшнїй, мѣ – мы, пѣгяю – пыгяю, сѣрый – сѣрий, сѣгто – сѣгто, ѡбываю – ѡбываю, кѣю – кѣю, сѣй – сѣй* и т. д. Можно отметить, что одно слово из пары в данных примерах является русизмом. Таким образом, перед нами попытки самостоятельной кодификации Мразовичем употребления буквы *ы*, не ориентированные



на «Грамматикѣ» Смотрицкого (в которой этому вопросу посвящена всего одна строка: *В началѣ речѣиѣ не полагѣиѣ*), но, возможно, с использованием других, современных автору грамматических пособий конца XVIII – начала XIX вв., даже русского литературного языка.

Итак, сопоставив приведенные выше правила Мразовича и Смотрицкого относительно разграничения *ї* – *и*, *ѣ*, *ы*, мы увидели как их совпадение, так и совершенное различие. Уверенно можно говорить лишь о том, что нормы употребления *ї* полностью заимствованы Мразовичем из «Грамматикѣ» Смотрицкого, нормы употребления *и* – расширены и конкретизированы, *ѣ* – сведены к минимуму и лишены основного отличия. Так, употребление буквы *и* рассмотрено Мразовичем более детально: правило 1 полностью повторяет Смотрицкого, правила 2, 3, 4 конкретизируют 1-е правило Смотрицкого «о конце слова», 5-е правило – самое неопределённое, провозглашающее использование *и* по «остаточному принципу». Что касается употребления *ѣ*, то тут нельзя однозначно сказать, на что ориентировался Мразович, т. к. Смотрицкий и букварь К. Рачанина уже разграничивали *ѣ* (ипсилон) и *ѣ*, а Мразович нигде специально не оговаривает звукоразличительную роль диакритических знаков при написании данной буквы. По поводу *ы* можно утверждать, что Мразович в отношении правописания данной буквы не ориентировался на Смотрицкого: он либо самостоятельно создавал орфографические нормы её написания, либо обращался к современным ему пособиям, причём не только церковнославянского, но, возможно, и русского литературного языка.

## О и Ѡ

Для обозначения звука [o] в старославянском языке существовало 2 буквы: *о* («он») и *Ѡ* («от» – греческая «омега»), что сохранилось как в русской, так и сербской церковнославянской кириллице. Буква *Ѡ* была предназначена для передачи греческих слов и могла использоваться сначала в декоративных целях (в зависимости от эпохи и ареала распространения с высокой и низкой серединой), а затем поставлена в рамки нормативного употребления. Название «от» со временем перешло на лигатуру *Ѡ* в значении предлога и приставки, стоявшую в церковнославянской азбуке раньше омеги, обычно между *х* и *ц*.

Буква *о* в период развития кириллицы выступала в нескольких графических разновидностях, которые не отражались в алфавите: *О* *о* широкое – употреблялось в начале корневой морфемы, часто под ударением, заменяя в югославянской традиции начальную *Ѡ*: *Ѡчрокѡ* и в середине некоторых слов: *прѣѠцѣ*, *Ѡрдѣнѣ*; *о* очное – применялось югославянскими писцами XVI в. в декоративных целях в словах *око*, *очи*, *окръгѣ*.

Также можно отметить синтаксическую роль *Ѡ* в качестве междометия, использовавшегося в церковнославянском языке в конструкции

«родительный восклицания» по греческим образцам. Эти междометия – «**Ѡ** званія и восклицанія», «сетованія» и «удивленія» – сочетались лишь с формами определённых падежей и различались с помощью диакритик: **Ѡ** званія и восклицанія со звательным падежом, **ѡ** сетованія, **ѡ** удивленія – с родительным (до второго южнославянского влияния с именительным). Данные конструкции представлены у Мразовича в полном соответствии с нормами Смотрицкого.

В рассматриваемом нами «**РѠкободитѣ**» Мразовича при разграничении на письме названных букв учитывались словообразовательные и грамматические характеристики. Правила дистрибуции **о** и **ѡ** представлены следующим образом.

Буква **о** употребляется:

- 1) в начале славянских слов: **Ѡ**вца, **Ѡ**стрый, **Ѡ**рѣ, **Ѡ**баче.
- 2) в приставках **ѡ-**, **ко-**, **до-**, **по-** и так далее: **ѡ**творѣ, **ѡ**емлю, **до**ношеніе, **прѡ**питѣ, **ко**поманѣ, **по**дѣти.
- 3) в окончаниях имен и причастий в Вин. п. ед. числа: **то**го **ѡ**вчѣго и **ѡ**животворѣцѣго, **тѣ**мъ **ѡ**бномъ.
- 4) во всех прочих случаях, где нельзя поставить **ѡ**: **т**ворѣцѣ, **бл**годѣтъ, **рѡ**коположеніе.

Буква **ѡ** употребляется:

- 1) в приставках **ѡ**, **ѡ**, **ѡ**: **ѡ**бглавлю, **ѡ**держлю, **ѡ**емлю, в середине и конце во множ. числе: **то**и **ѡ**бни – **тѣ**хъ **ѡ**бни.
- 2) в окончаниях имен и причастий в Р. п. ед. числа: **дѣ**ло **чѣ**тна-**г**ѡ **м**ѡжа.
- 3) на конце наречий: **ѡ**рѡ, **ѡ**днѡ.
- 4) в иностранных словах: **ѡ**рѡдъ, **ѡ**мни, **ѡ**мѡръ.

Мы видим, что правила употребления буквы **о** соответствуют нормам, кодифицированным у Смотрицкого: «**Ѡ**бложеныи **ѡ** со, во, ко, до, по, **пѡ**, **прѡ** (слова с приставками **ѡ-**, **ко-**, **до-** и т. д.) **прѡ**чѣко **ѡ** **ѡ**бми **не**лѡжѣныи **Ѡ** **х**ранѣнни (вместе со словами без приставок с начальным **Ѡ**) **ѡ** **ѡ**блюдѣт: **ѡ**кѡ **ѡ**творѣ, **ѡ**ведѣ, **ѡ**ведѣ, **до**недѣ, **поне**дѣ, **пѡ**емлю, **прѡ**хождѣ, **прѡ**чтѣнѡдѣ, **ѡ**рѣ, **ѡ**чрѡкъ, **ѡ**чрѡкъ, **ѡ**ко, **ѡ**рѣ, **ѡ**чѣцъ и **прѡ**ч». Четвёртое правило, добавленное Мразовичем, характеризуется нечёткостью формулировок и употреблением **о** по «остаточному принципу».

Правила использования буквы **ѡ** также соответствуют таковым у Смотрицкого, но отличаются последовательным расположением, тогда как Смотрицкий приводил их в разных местах. Например, данная сентенция у Смотрицкого вполне могла послужить образцом для 1-го правила Мразовича: «**ѡ**мена, **г**ли, **прѡ**чѣтѣ, и **н**рѣчѣа **ѡ** **прѣ**лѡгъ **ѡ** **ѡ**бъ и **ѡ** **ѡ**бжѣныи **ѡ** **х**ранѣ **не**змѣнно: **ѡ**кѡ, **ѡ**дѣвлю, **ѡ**блнчлю, **ѡ**хождѣ». Диграф **ѡ** использовался в качестве предлога и приставки: «**ѡ** **н**рѣтъ **н**имѣ **н**и **же** **ѡ**блнчнѡе, но **ѡ**бъ: **тѣ**мъ **же** **ѡ**бѣ **ѡ**бѣ **ѡ**чнлнмо **ѡ**чѣ».

Но основной функцией о и ѡ на письме в церковнославянском языке, кодифицированном Смотрицким, была орфографическая дифференциация грамматических форм – различение единственного и множественного числа, падежей, а также частей речи:

- 1) И. п. ед. ч. - Р. п. мн. ч. рѡдѣ - рѡдѣ,
- 2) Т. п. ед. ч. м. и ср. р. - Д. п. мн. ч. ѡноу - ѡну,
- 3) И. - В. п. ед. ч. ср. р. прилагательных и наречий блѣго - блѣгу,
- 4) В. п. ед. ч. м. р. - Р. п. ед. ч. м. и ср. р. прилагательных блѣго - блѣгу,
- 5) И. п. ед. ч. м. р. притяжательных прилагательных - Р. п. мн. ч. существительных ѡноу - ѡну.

Это разграничение восходит к периоду второго южнославянского влияния и ориентации на греческие образцы. Например, противопоставление о - ѡ для различения форм единственного и множественного числа ориентировано непосредственно на греческую парадигму, где в именах 3-го склонения в окончании Род. п. ед. ч. -ος стоит о, а в окончании Род. п. множ. ч. -ων стоит ѡ. Реализация этого правила в грамматике русского церковнославянского языка в России представлена в правом столбце, а на сербской почве – в левом столбце следующей таблицы:

Мразович	Смотрицкий
<p>О написѣтсѧ... въ концѣмѡу слѡзѡу имѣнѡу, мѣстоимѣнѡу, ѡ причѣстѡу ѣдинствѣннаго числа. Н. п. тогѡ вѣдѣтѡ ѡ живѡтвѡрѣщаго, тѣмѡ вѡнноу.</p> <p>ѡ написѣтсѧ въ средѣ, написѣ же въ концѣмѡу слѡзѡу речѣнѡу мно- жествѣннаго числа къ различѡу па- дѣжѡу ѣдинствѣннаго числа. Н. п. тоѡ вѡнѡ - тѣхѡ вѡнѡ, тогѡ мѡнѡ - тѣмѡ мѡнѡ.</p>	<p>Тѡжде хранимо ѣсть различѣ мѣждѡ о, ѡ ѡноу ѣдинствѣн- нымѡ, ѡномѡ множествѣннымѡ слѡжѡцѡ: ѡку, тѣмѡ чѣкомѡ - тѣ чѣкомѡ, тѣмѡ вѡнноу - тѣ вѡнѡ: ѡ прѡ.</p>

Как видим, они вполне соответствуют друг другу. Таким же образом разграничиваются прилагательные и наречия: прилагательные в греческом языке оканчиваются на -ος, а производные от них наречия качества – на -ως<sup>1</sup>, что мы и наблюдаем в примере блѣго - блѣгу и 2-ом правиле Мразовича.

Сопоставление приведенных выше орфографических норм и соответствие правил Мразовича нормам Смотрицкого показывает, что для разграничения на письме букв о и ѡ Мразович использовал в ка-

<sup>1</sup> Б. Успенский. История... С. 327–328.

честве образца «Граммати́кѹ» М. Смотрицкого (это подтверждают совпадающие примеры, например *чѣй вѣннѣ*), но применял более современные формулировки в отличие от архаичных сентенций оригинала: например, «о *написѣтѣ*» вместо «о *хрѣнѣ*» или «о *оклюдѣ*». Не исключено и обращение Мразовича к грамматическим пособиям его эпохи. Здесь же стоит отметить, что правила Мразовича конца XVIII – нач. XIX вв. вполне соответствуют современным нормам церковнославянского языка, представленным в «Церковно-славянском словаре» А. Свирѣлина 1916 г. и «Грамматике церковно-славянского языка» А. Гамановича 1964 г.

### Ѧ и Ѧ

В сербском церковнославянском языке буквы *Ѧ* и *Ѧ* имели различное звуковое значение: *Ѧ* обозначала звук [ʼa], а *Ѧ* – [e]. Поэтому и не возникало потребности в их разграничении на письме: *Ѧ* часто заменялась на *Ѧ*, что было характерной чертой сербской редакции.

В русском церковнославянском языке буквы *Ѧ* и *Ѧ* являлись омофоничными, обозначали один звук [ʼa] и рано начали смешиваться, что привело к появлению правил распределения данных букв на письме. Установление орфографических норм дистрибуции *Ѧ* и *Ѧ* является характерной чертой русской редакции. После принятия сербами русского церковнославянского языка с новым фонетическим значением *Ѧ* = [ʼa] возникла потребность в орфографических правилах, издавна существовавших в восточнославянских учебниках, разграничивающих употребление данных букв.

Мразович кодифицировал употребление графем *Ѧ* и *Ѧ* с одинаковым звуковым значением в своём «Рѹкоко́дѣтѣ» следующим образом:

*Ѧ* стоит в начале слова: Ѧкѡ, Ѧвѣ.

*Ѧ* – только в середине и конце слова: ѦмѦ, вѦѦѦ, икорѦѦѦ.

Достаточно сопоставить это типичное русскоцерковнославянское правило с предписанием «Граммати́кѹ» Смотрицкого, чтобы убедиться, откуда заимствовал его Мразович:

#### Мразович

Писменѣ Ѧ и Ѧ ѣдно вѣѣтѣ дрѹ-  
гѣѣ да не премѣнѣютѣ. Ѧ что-  
нѣѣ вѣнѣ вѣ началѣ речѣнѣй. П. п.  
Ѧкѡ, Ѧвѣ.  
Ѧ вѣ сре́дѣ чѣчѣю и концѣ: ѦмѦ,  
вѦѦѦ, икорѦѦѦ.

#### Смотрицкий

Ѧ, и Ѧ, рѣнѣтѣѣѣтѣ: ѡномѣ со  
прѣдн речѣнѣй, ѡвомѣ во сре́дѣ и вѣ  
кѣцѣ поглѣмѣ: Ѧкѡ, ѦвѣѦѦѦ.  
и прѣ.

Здесь можно констатировать, что в распределении букв *Ѧ* и *Ѧ* в зависимости от позиции в слове отразилось «стремление к усложнению

кода церковнославянского письма, правил выбора аллографов или графем»<sup>1</sup>.

В разделе о произношении букв мы определили, что ѡ русской редакции был усвоен сербами в виде [ja] после палатальных согласных в связи с отсутствием их позиционного смягчения в сербской фонетической системе (за исключением л, н). Так как большинство согласных в сербском языке являлось твёрдыми и писавшийся после них в сербском церковнославянском языке ѡ никогда не был сигналом их смягчения при чтении, то сербы, скорее всего, продолжали ошибочно читать ѡ после согласных без промежуточного йота, заменяющего позиционную мягкость, смешивая ѡ теперь уже с л. Это вызвало к жизни ещё одно специальное правило:

«Пінем ѡ ѡ ѡ различковати подокъетъ.

1. Я пишетьсѧ, ѡдѣже чистое тогѡ произношеніе быбѣтъ. Н. п. Градъ, ѡвремъ.

2. Ѡ ѡлн ѡ пишетьсѧ, ѡдѣже слыемое ѡ слышетьсѧ. Н. п. градъ, ѡсно.

В примере градъ нормативное сербское произношение данного слова русского церковнославянского языка – [grjadu].

Здесь же оговаривается и написание л вместо ѡ в поствокальной позиции иноязычных (в основном греческих) слов, также восходящее к нормативной практике неупотребления йотированных букв в греческих словах (т. к. они отсутствовали в греческом алфавите и воспринимались в качестве локальной славянской инновации<sup>2</sup>): «Пінем ѡ Ѡ ѡлн ѡ въ чужеземныхъ реченіяхъ не пріемлетсѧ. Н. п. ѡкъвъ, ѡ не ѡкъвъ, Канцеллрѡ, ѡ не Канцеллрѡ».

Примером орфографической дифференциации лексических омонимов служит разграничение форм ѡзыкъ и ѡзыкъ, восходящее ещё к Константину Костенечскому.

Б. Успенский считает это разграничение более свойственным языку Московской Руси и отмечает изменённое русскими книжниками противопоставление греческого образца: так, слово, начинающееся с ѡ, обозначает «язык» как «орудие глаголанія», а слово с ѡ имеет значения «народ», «диалект», «наречие», тогда как у греков разграничивались значения γλώσσα «часть тела, наречие, речь» с одной стороны и ἔθνος «народ, племя» с другой. В следующем после «Орфографии» списке схожих слов, которые необходимо отличать друг от друга, дан также пример ѡ (в значении «я») и ѡ – «оны».

<sup>1</sup> Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / Сост. Е. А. Кузьмина, М. Л. Ремнёва. М., 2000. С. 8.

<sup>2</sup> Б. Успенский. История... С. 308.

Таким образом, совпадение правил Мразовича с нормами Смотрицкого точно указывает на источник заимствований в учебном пособии этого сербского автора. Нужно указать, что и в современных учебниках церковнославянского языка эти правила существуют в том же виде, в каком были сформулированы ещё в конце XVIII – начале XIX века.

оу – ѣ

Буквы оу – ѣ обозначали в сербском и русском церковнославянском языках звук [u], разграничиваясь на письме с помощью орфографических правил.

На раннем этапе сербской и русской редакций церковнославянского языка буква оу («оник») восходила к греческому диграфу ου и употреблялась для обозначения звука [u], а также на месте ж в связи с утратой назальности носовым «о» и совпадением его с [u] в сербском и русском языках. Значок ѣ появился как лигатурное написание оу в целях экономии места и приобрёл наименование «ик» от второго элемента диграфа оу – ижицы (ѣ), совпавшей в роли гласного по звучанию с оу (вскоре ижица стала читаться как [i]). Буквы оу (ѣ) и ѣ=[u] в этот период смешивались на письме, что привело к появлению правила их разграничения (писать оу – ѣ в начале слога, т. е. в начале слова и после гласных, ѣ – в середине слога). В результате ресавской реформы, когда ижица приобрела другое начертание, возникли новые правила разграничения омофоничных букв оу (ѣ)=[u]=ѣ с архаическим произношением: оу стала писаться в начале слов, ѣ в середине и конце слов, а ѣ постепенно вытеснялась из правописания.

В русском церковнославянском языке после второго южнославянского влияния и общей ориентации на греческие образцы утвердилась орфографическая норма афонской редакции, существовавшая и у сербов: оу пишется в начале слов, ѣ – в середине и конце слов. Однако ѣ с древним значением [u] долгое время сохранялась, о чём свидетельствует алфавит «Грамматикъ» Л. Зизания 1596 г. и букваря Прокоповича, взятый за образец Мразовичем. В «Грамматикѣ» М. Смотрицкого 1619 г. были буквы оу и ѣ, а в издании Ф. Поликарпова 1721 г. – ѣ или ѣ. Поэтому в «Русскобукварѣ» Мразовича 1800 г. присутствует именно буква ѣ в значении [u], которая заменяет в алфавите оу, однако во всех последующих изданиях отмечены уже только оу и ѣ (как и в современных пособиях). Имеется буква ѣ и в правиле:

«Применя ѣ, ѣ и ю точнѣ различити подобаетъ.»

I. ѣ пишется так:

а. Въ началѣ реченій. Н. п. ѣвы, ѣченый.

б. Въ средѣ когда ѣ ѣ начинаемая реченія из дрѣвнѣи сложена сътъ.

Н. п. на ѣченый.

Нѣкий ѹпотребляють таковоє въ средѣже и концѣ бѣди въ коемъ гласи.

2. Ѹ пишеться въ средѣ точію и концѣ реченій, никогдѣже въ началѣ. Н. п. Слѣхъ моемъ.

3. Ю стонѣтъ тѣмъ, и дѣже слыемое ѿ слышнеть. Н. п. юность, творю.

Измѣняется чужестранная реченіа: тѣмъ ко вѣстѣ ю ѿ пишеться. Н. п. ѿда, ѿдѣзъ».

Как видим, ѹ является у Мразовича вариантом оу, который употребляется после приставки в корне, начинающемся с оу. У Смотрицкого ѹ представлена в правилах употребления данных букв:

«оу, и Ѹ: Яще и ко всехъ реченіа слозехъ неілічнѣ полагѣма быти ѿбыкоша. и кдѣишми обѣче пишѣми оу к началѣ реченій, Ѹ же и О средѣ и к концѣ ѹпотребѣма ѿрѣшнѣ: ѿкѡ, ѹмѣдрѣю, ѹтѣшю» (в издании Ф. Поликарпова ѹтѣшю). В другом месте – в «Прогвѣдн стѣхотворной» – Смотрицкий добавляет: «Вѣстѣно бѣди ѹ к началѣ реченіа никако же и к стѣхотвореніи полагѣмо быти», отграничивая ѹ от оу – Ѹ с помощью количественной характеристики: ѹ у него «ѣтѣтѣкомъ крѣко», тогда как оу – Ѹ «ѣтѣтѣкомъ долго».

Таким образом, сопоставление руководства Мразовича с русскими грамматическими пособиями указывает на то, что Мразович перенял ѹ в значении [u] из великорусских учебников – букваря Ф. Прокоповича и «Грамматіки» Смотрицкого в издании Ф. Поликарпова, кодифицировал употребление букв ѹ, оу и Ѹ в соответствии с нормами «Грамматіки» Смотрицкого, а пункт Б добавил на основе собственных наблюдений над церковнославянскими текстами. Однако, в нарушение данного пункта и правила Смотрицкого, Мразович употреблял в содержании своего «Рѣководѣтѣ» ѹ в начале слов, возможно, под влиянием гражданского шрифта: ѹпражнѣнїе, ѹкѡ, ѹмре и т. д.

### Є, е и ѣ

В сербском церковнославянском языке XVIII в. буквы є, е и ѣ разграничивались на письме следующим образом: буква є широкое обозначала [je] и употреблялась только в начале слова и после гласного, буквы е и ѣ обозначали [e] после твердых согласных (характерный эквизм сербскославянского языка), буква ѣ имела значение [ʲe] после мягких согласных л, н, где она писалась наряду с архаичной ѣ. Употребление буквы ѣ было обусловлено «штокавским языковым ощущением»<sup>1</sup>, буквы е и ѣ разграничивались лишь этимологически, поэтому ѣ часто заменялась при письме на е.

<sup>1</sup> М. Пешикан. Правопис српскословенских кнѣга // Пет векова српског штампарства. 1494–1994. Београд, 1994. С. 163.





формулировку в виде орфографического правила из русских грамматик. Правило употребления **ѣ** с новым фонетическим значением [je], отсутствовавшее у Смотрицкого, могло быть заимствовано Мразовичем в других, в том числе и иностранных пособиях, где **ѣ** обычно передавался в латинской транскрипции в виде [ie] или [je]<sup>1</sup>. Введённое Мразовичем правило характеризует наиболее актуальную для сербов позицию после согласного, в которой **ѣ** больше не сливался с **е**, что показывает осознание Мразовичем недостаточности сербскославянской орфографии и его кодификаторские устремления в этом направлении.

### З и Ъ

В сербском церковнославянском языке на письме использовался только **ь**, который мог обозначать гласный [a] или не иметь звукового значения, обычно на конце слова<sup>2</sup>: **въпнѣти** [vapiti], **лѣкътъ** [lakat], **съблазнь** [sablazan].

В русском церковнославянском языке применялись обе буквы – **з** и **ь** на конце слова, только **ь** в середине, но они не обозначали гласных звуков, а являлись показателями твёрдости-мягкости предшествующего согласного<sup>3</sup>: **вольный** [vol'nyj], **мысль** [mysl'], **соблазнъ** [soblazn]. На письме **з** и **ь** часто заменялись во всех позициях ериком и паерком.

Это было кодифицировано в «Грамматѣѣ» Смотрицкого следующим образом: «**ѣ** и **ь** к ѡмомъ тѣмъ конци речѣнѣа ѡупотрѣкѣма бы- вѡуть: **ѣ** ѡѣко, ѡко же варѣше рѣхѡмъ, к ѡдѣелѣнѣе соглѣнѣгѡ речѣнѣе кон- чѣнѣгѡ: **ь** же ко ѡтѡнчѣнѣе: ѡко, согдѣа, чѣстѣнѣ: кѡнѣ, сѡбѣнѣ и проч.» и «**Ѣ**лагѣтѣа ѡѣко **Ѣ**рикомъ и **П**лѣкомъ: ѡкѡ, і мѣромъ кѣ **Б**ѣѣ кѣ дѡ: кѣ мѣстѣ со мѣрѡ ко **Б**ѣѣ ко дѡ: кѣ нѡтѣрѣ чѣка кѣ мѣстѣо вѣдѣтрѣ чѣвка. И плѣркѣ ѡѣко на соглѣнымъ положѣнѣ дѣбѣло ѣ ѡко же варѣше рѣхѡмъ ко нѣвѣщѣнѣнѣи тѣвѡрѣтѣа. Плѣркѣ же тѣбѣко: ѡкѡ, чѣстѣ чѣстѣ: перѣтѣ перѣтѣ кѣ мѣстѣо чѣстѣ чѣстѣ: перѣтѣ перѣтѣ».

Мразович перенял это правило, сформулировав его в следующем виде: «Писменѡ **ѣ** и **ь** при концѣ речѣнѣи до соглѣнѣгѡ писмене ѡупотрѣк- лѡутьсѡ, на средѣ же нѣзлѣшна сѡтъ. Н. п. слѣдѣкѣи ѡ не слѣдѣкѣи, добродѣ- тѣлѣнѣи ѡ не добродѣтѣлѣнѣи», изменив тем самым русскославянскую норму написания **ь** в середине слов после согласных для обозначения их мягкости, т. к. она была неактуальна для сербов. В «Чѣне тѣхнологѣи» Ф. Поликарпова, добавленном к «Грамматѣѣ» Смотрицкого 1721 г., специально приводилось следующее дополнение к указанному правилу: «**М**ѡгѡтъ ли сѣа бѣкѣы полѣгѣтѣа кѣ среднѣ речѣнѣа или кѣ начѣлѣ; **В**з начѣлѣ никѡгда полѣгѡутьсѡ, кѣ среднѣ же **ь** никѡгда мѡжетѣа

<sup>1</sup> Б. Успенский. Книжное произношение... Т. 1. С. 176.

<sup>2</sup> П. Борѣић. Указ. сочинение. С. 206.

<sup>3</sup> Б. Успенский. История... С. 359, 446.

положи́тиѣ, рѣди рѣдѣла рѣчи ѿ рѣчи, ѣкѡ волнѣ, кольнѣ, волно́ю, вѣльною, горѣка, горѣка ѿ прѣѣ», однако Мразович отказался от употребления ь после согласных как не соответствующего сербской орфографической и произносительной традиции.

Употребление з и ь таким образом в русскоцерковнославянском языке было семантизированным (служило для различения слов), в сербском церковнославянском языке оно таким не являлось. Эта функция вполне соответствовала русской редакции церковнославянского языка и объясняла свойственную ему корреляцию согласных по признаку твердости-мягкости, но не играла роли на сербской почве. В 3-ем правиле «ѡрѡграфѣи» у Смотрицкого было запрещено смешивать з и ь во избежание потери смысла: «ни з ѣ мѣсто ь, ни впрѣчи», тогда как у сербов это смешение не отражалось на значении слов. Но Мразович предостерегает в главных правилах от произношения и написания ь в виде гласной а в русскоцерковнославянских словах по сербской традиции: «Ѣдиное пи́ма додѣти подѣлетъ, ѣже въ прѣвилномъ произноше́нїи не слышнѣа, Н. п. ѣмь, ѣ не ѣмь, прецѣнїе, а не прецѣнїе».

С принятием сербами русского церковнославянского языка последовало и употребление з и ь без фонетического значения, только в качестве орфографических значков. Авраам Мразович в своем «Рѣковѡдѣицѣ» кодифицировал нормы употребления з и ь в соответствии с русскими пособиями, но приспособил их к особенностям сербской редакции церковнославянского языка. Так, его правила затрагивают только написание ь и только в позиции конца слова: из 8-и пунктов 7 сообщают о правописании ь, и лишь одно – з, причем последнее без разъяснения, по «остаточному» принципу. Употребление ь на конце слов рассмотрено подробно, с учётом частей речи и грамматических форм: в существительных женского и мужского рода, в родительном падеже множ. ч. женского рода, кратких прилагательных, притяжательных прилагательных, нетематических глаголах, числительных, наречиях. Каждый пункт сопровождается большим количеством примеров, которые, очевидно, рекомендовалось запомнить.

Следует обратить внимание, что все слова-примеры данного правила (кроме трех) имеют на конце в сербском языке твердые согласные: р (14 слов), н (19 слов, кроме ко́нь с мягким њ), л (12 слов). В остальных случаях на конце стоят твердые т (8 случаев), ч (7), д, ж (по 4), з, т (по 2), к (1). Поэтому усвоение их написания с ь могло происходить по другим принципам, чем в «Грамматѣицѣ» Смотрицкого, без учёта твёрдости-мягкости предшествующего согласного.

О написании з на конце слов говорится кратко в последней фразе без объяснения: Во вѣхъ прѣчихъ слышѣхъ пишѣтиѣ з. Н. п. Мѣзъ, до́взъ, чѣтѣзъ, ѿ прѣчъ.

Поэтому, скорее всего, у сербских учащихся, постигающих «славянский» язык, не было признака, по которому бы они отличали «русскославянские» слова с **ь** на конце от слов с **з**. Разграничение слов с **з** и **ь** происходило путем запоминания облика данных слов с разной степенью трудности в зависимости от внешнего сходства с сербскими словами.

Из 77 приведенных А. Мразовичем примеров, которые, очевидно, предлагались ученикам для запоминания, 25 (самое большое число) относятся к 1-ой группе. Ученики могли лишь запомнить и их «русскославянское» написание и **ь** на конце. 20 слов 2-ой группы были самыми «легкими» для запоминания – нужно было лишь писать «сербскославянские» слова и добавлять к ним **ь**. 18 слов 3-ей группы надо было запоминать полностью (как и слова 5-ой): и русскую основу, и **ь** на конце. Семь слов 4-ой группы так же, как и слова 1-ой, запомнить, видимо, было легче, поскольку они представляли по своему морфемному облику слова скорее сербские, чем русские. Для нас они интересны как пример смешанных слов с сербскими и русскими чертами: **владѣѣь**, **ковѣчь**, **колѣчь**, **лѣкотѣь**, **пельѣнь**.

Так как у согласных в сербском языке твердость-мягкость является постоянным признаком и не меняется от позиции в слове, **ь** на конце слов в сербскославянском языке не обозначал мягкости (как и **з** твердости) предшествующего согласного.

Поэтому Мразович, кодифицируя орфографическое употребление **з** и **ь**, следовал М. Смотрицкому лишь в соблюдении общего принципа написания **ь** на конце одних слов и **з** на конце других, но самостоятельно создал конкретизированное правило дистрибуции **ь** в духе сербскославянской традиции, так как главный смысловозначительный признак «**Граммітїки**» М. Смотрицкого (твердость-мягкость согласного на конце слова) не был в сербской языковой среде значимым и не мог служить для разграничения написания **з** и **ь**.

Таким образом, правописание букв **ї** и **и**, **о** и **ω**, **ѣ** и **ѣ**, **ѣ** и **ѣ**, **ѣ** и **ѣ** в пособии Авраама Мразовича в достаточной мере совпадало с нормами, кодифицированными в «**Граммітїцѣ**» Смотрицкого, что говорит о заимствовании сербами орфографических правил разграничения данных букв. В то же время правила для **ы**, **ѣ**, **з** и **ь** вырабатывались А. Мразовичем самостоятельно или заимствовались из других пособий, так как они были даны в «**Граммітїцѣ**» М. Смотрицкого очень кратко и неполно, без конкретизации, которую мы наблюдаем у Мразовича. В связи с этим написание некоторых букв в русскоцерковнославянском языке на сербской почве имело свои отличия, а многие слова произносились и писались совсем не так, как это было изначально кодифицировано «**Граммітїкой**» Смотрицкого.

Итак, рассмотрев звуковое значение и правописание букв в «Рѹководѣтвѣ» А. Мразовича и сопоставив эти данные с аналогичными им в «Грамматѣцѣ» М. Смотрицкого, мы можем сделать следующие выводы:

1. «Рѹководѣтвѣ къ гл҃вѣнѣтѣй грамматѣцѣ» Аврама Мразовича отлично в ряде положений от «Грамматѣи» М. Смотрицкого, т. е. является в достаточной мере самостоятельным произведением.

2. При усвоении церковнославянского языка русской редакцией звуковое значение некоторых букв было принято сербами без изменения: ѣ – е, произношение других подверглось на сербской почве определенным изменениям: ѣ стал читаться после согласных как [je], ѡ – как [ja]. Это обусловлено различиями в фонетической базе сербского и русского языков, своеобразием восприятия и реализации сербами русского произношения.

3. Авторы сербских грамматических пособий, сталкиваясь с отсутствием подробных правил правописания некоторых букв (ѣ, ѡ, ѣ, ѡ) в русских источниках, создавали собственные, с неединообразными формулировками, что привело к различным толкованиям, вариантам и ошибкам в написании и отразилось на грамматике русского церковнославянского языка у сербов.

Таким образом, русский церковнославянский язык на сербской почве не сохранился в прежнем виде, а приобрел новые черты, видоизменился. Можно сказать, что постепенно, в процессе развития его в сербской языковой среде возник сербизированный русскоцерковнославянский язык, или сербский вариант русскоцерковнославянского языка.

А. Г. Машкова

### **СООТНОШЕНИЕ РЕАЛЬНОГО И ФАНТАСТИЧЕСКОГО В НОВЕЛЛЕ Ф. ШВАНТНЕРА «ПИАРГИ» И ПОВЕСТИ Ш.-Ф. РАМЮ «ДЕРБОРАНС»**

В словацкой критике Франтишека Швантнера (1912–1950) нередко называют «словацким Рамю». Думается, в этом определении есть большая доля преувеличения, хотя, несомненно, представитель франкоязычных кантонов Швейцарии Шарль-Фердинан Рамю (1878–1947) оказал определенное влияние на творчество одного из самых ярких представителей словацкого натурализма.

В начале 40-х гг. Ф. Швантнер пишет и публикует в журнале «Словенске погляды» семь новелл, среди которых – «Пиарги» (1942). В том же году писатель издает сборник под названием «Малка», куда вошло упомянутое произведение. Основными источниками вдохновения для него при создании этих новелл послужили воспоминания детства, народные легенды и предания, библейские истории, природа родного края, прежде всего – горы центральной Словакии, олицетворявшие в его сознании не только «малую» родину, но и определенную эмоциональную атмосферу, некое таинство, стимулировавшее игру воображения. Позже Швантнер скажет: «Я не могу оторваться от гор, которые мы получили в наследство от отцов. И если даже мы бежим от них в сторону Братиславы или в противоположном направлении – в Кошицы, ... – все равно мы остаемся лишь *krčagti*»<sup>1</sup>. (*Krčes* – вид кожаной обуви, составляющей часть словацкого национального костюма. Аналогия – русский лапоть, лапотник – А. М.).

Практически полностью отказавшись от изображения событий окружающей действительности, Швантнер ищет ориентиры для своего творчества в собственных внутренних переживаниях, ощущениях. А они, как бы ни старался писатель уйти от общественной проблематики, в какой-то степени определялись спецификой военного времени. Не случайно его отзвуки улавливаются во многих новеллах сборника. Видимо, отчасти именно это и объясняет динамику изменения отношения Швантнера к излюбленному предмету изображения – горам. В архиве писателя среди прочих набросков сохранился отрывок прозы, в которой речь идет о происхождении гор. Там есть такие строки: «Чем дальше, тем больше они (горы – А. М.) захватывали меня своим размахом и высотой. Мне

---

<sup>1</sup> *Kusý I. Spisovateľ Fr. Švantner zblízka. Slovenský rozhlas. 1948. S. 522.*

начало казаться, что в них заключена сила, которая способна растревожить землю и разверзнуть небеса и с которой мы, люди, здесь, внизу, крепко связаны»<sup>1</sup>. То есть в его восприятии мира природы отчетливо слышны тревожные нотки. Природные катаклизмы, смерть, убийство, странное поведение человека – вот основные мотивы новелл сборника «Малка», для поэтики которых характерно ярко выраженное фантастическое начало, атмосфера тайны.

Пытаясь определить истоки творчества Швантнера, некоторые словацкие исследователи, кроме упомянутых выше факторов, называют имена писателей – «регионалистов», в частности, К. Гамсуна, Ш.-Ф. Рамю, Ж. Жионо, Х. Парро дель Риго и др. Да и сам Швантнер не однажды говорил о своем увлечении Рамю, произведения которого активно издавались в 20–30-е гг. в Чехословакии.

Каким образом это увлечение реализовалось в творчестве словацкого писателя, что именно сближает его с Рамю? Прежде всего – это обращение к вечным общечеловеческим темам: жизнь и смерть, добро и зло, любовь, верность, которые, как правило, раскрываются писателями на материале жизни обитателей отдаленных горных деревушек. Рамю по этому поводу заметил, что «в литературе существует несколько общих тем, к которым она постоянно возвращается и их постоянно обновляет»<sup>2</sup>. Сохранив, как и Швантнер, на протяжении всей жизни верность «малой» родине, олицетворением которой для него стало Женевское озеро (не случайно он попал в разряд «регионалистов»), французский писатель одновременно не утратил интереса к ее обитателю – «маленькому» человеку, крестьянину с его естественным стремлением к простому человеческому счастью, приверженностью к патриархальным ценностям. При этом, подобно швантнеровским персонажам, его герои, как он выразился, «не испытывают стеснения социальными условиями и свободно... отдаются своим страстям»<sup>3</sup>.

В зрелых романах Рамю сохраняет верность этим принципам, хотя общечеловеческие, вечные темы, реалистическое видение и отображение мира, обычное повседневное сочетается в них с фантастикой условностью. Порой повествование обретает притчевый характер. Все большее предпочтение отдается «коллективному» герою (так называемые «коллективные» романы – термин, используемый писателями – унитаристами, от французского – всеобщий, единомышленный – *A. M.*).

---

<sup>1</sup> LAMS.99B2 (Литературный архив Матицы словацкой).

<sup>2</sup> *Большаков В.* Предисловие // Ш.-Ф. Рамю. Если солнце не взойдет. Дерборанс. Савойский парень. М., 1985. С. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 3.

Сюжеты этих романов строятся по принципу фантастического допущения, предположения о возможных аномальных явлениях, природных катаклизмах, играющих трагическую роль в жизни людей. Так, в романе «Царство лукавого» (1914) причиной несчастий, обрушившихся на жителей отдаленной горной деревушки, явился сам дьявол в образе деревенского сапожника, который совращает их губительной страстью к наживе. О приближающемся конце света повествует роман «Знамения среди нас». Катастрофическая ситуация, связанная с угрозой исчезновения солнца над глухим горным селением и возникший затем образ «солнца с отрубленной головой» составляет основу сюжета романа «Если солнце не взойдет» (1937).

Именно подобного рода произведения Рамю оказали наиболее сильное воздействие на словацких писателей-натуралистов, в том числе и на Швантнера, который, уже став известным писателем, попытался обозначить разницу между собой и Рамю. Он увидел ее прежде всего в истоках творчества, в специфике среды, сформировавшей талант каждого и питавшей их вдохновение, в религиозных и прочих традициях. В дневниковых записях словацкого писателя мы читаем: «Уже в том большая разница, что его (Рамю – А. М.) вдохновлял, вероятно, сокращенный вариант протестантской Библии, а меня – больше четки, прощальные погребальные песни, песни и молитвы паломников, что, естественно, делает человека более барочным и народным»<sup>1</sup>.

Обратимся к новелле Швантнера «Пиарги» и повести Рамю «Дерборанс» (1934), с которой словацкий писатель, несомненно, был хорошо знаком<sup>2</sup>. Вероятно, тема заинтересовала его. Кроме того, можно предположить, что, не считая Библии, существовало по крайней мере еще два источника<sup>3</sup>, подтолкнувших Швантнера к переосмыслению сюжета, связанного с природной катастрофой.

В частности, в 1926–1927 гг. в словацком журнале «Розвой» было опубликовано произведение Антона Гудцовского «Провалившаяся деревня» с аналогичным сюжетом. При этом Гудцовский подчеркивал, что образцом для него послужила народная повесть. В подтверждение этому он использовал соответствующую форму: «В изложении Антона Гудцовского...» Свое произведение автор завершает словами: «То место, где провалилась проклятая деревня, до сих пор именуется Поми-

---

<sup>1</sup> LAMS (Литературный архив Матицы словацкой).

<sup>2</sup> В чешском переводе произведение было опубликовано в 1937 г. В Словакии оно увидело свет в 1940 г. под названием «Гора ужаса».

<sup>3</sup> См.: *Patera L. O vzťahu slovenskej lyrizovanej prozy k francuzskému naturizmu. Slovenská literatúra. XI. 1964. Č. 3.*

новцом (от словацкого *pominut' sa* – умереть – *A. M.*). Одинокó возвышается там небольшой старый костел, а его окрестности говорят о том, что в этой повести есть доля правды»<sup>1</sup>. Другим источником могли быть слухи, ходившие в то время среди словаков, об аналогичной истории, случившейся где-то в горах, которые, вероятно, были известны и Швантнеру. Иначе говоря, словацкий писатель был уже подготовлен к восприятию повести Рамю. Услышанное и прочитанное резонировало – прежде всего в эмоциональном плане – с произведением французского писателя.

В свою очередь, на создание повести «Дерборанс» Рамю, вероятно, подтолкнуло происшествие, описанное в швейцарской газетной хронике. Подчеркивая достоверность изложенной истории, писатель в качестве эпиграфа к произведению использовал отрывок из «Географического справочника», где говорилось: «...Один пропавший пастух, которого считали погибшим, провел в хижине, засыпанной землей, несколько месяцев, питаясь хлебом и сыром...»<sup>2</sup>

Таким образом, основу сюжетов произведений Рамю и Швантнера составляют на первый взгляд реальные события, связанные с природными катаклизмами.

В повести «Дерборанс» рассказывается о пастухах, пасших стадо в цветущей долине Дерборанс и погибших в результате горного обвала. В их числе – Антуан, у которого в деревне осталась жена, готовящаяся стать матерью. Его тоже все считают погибшим. Однако, спустя два месяца после катастрофы, Антуан появляется в деревне, а затем, одержимый страстью спасти близкого ему человека, родственника жены – Серафена, который, как ему кажется, еще жив, вместе с Терезой отправляется к месту гибели пастухов. В заключительной главе книги мы читаем:

«Это история о пастухе, засыпанном камнями во время обвала, который вновь возвращается к этим камням, как будто не может больше жить без них.

Это история о пастухе, который исчез в горах на два месяца, потом появился и опять исчез; но теперь вместе с ним может исчезнуть и его жена». И далее: «Она наверняка нашла нужные слова, и ее тайна помогла ей; жизнь, которую она носила в себе, помогла ей спасти другую жизнь – и вот она уводит его из этой мертвой пустыни»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Ibid. p. 258.

<sup>2</sup> Рамю Ш.-Ф. Дерборанс. С. 134.

<sup>3</sup> Ibid. p. 232–233.



В новелле Швантнера «Пиарги» речь идет о трагической судьбе небольшого селения, расположенного в живописной горной долине Пиарги. Все жители, населяющие ее, за исключением молодой супружеской пары – Йоганки и Клемента – в течение одной ночи были погребены под снежной лавиной, сошедшей с гор. То есть в отличие от Рамю, где в условиях катастрофы оказывается один из супругов, у Швантнера трагедию переживают двое. Однако в обоих произведениях любовь и верность подвергаются испытанию экстремальной ситуацией и в итоге помогают героям выжить, возвращают их к жизни. Таким образом, и у Рамю, и у Швантнера речь идет о вневременных ценностях, обращение к которым рождает символический уровень повествования.

С самого начала произведений оба автора стремятся придать описываемым событиям внешне достоверный характер. С этой целью Рамю, например, использует в качестве эпиграфа выдержку из географического справочника. Швантнер начинает свой рассказ с непосредственного обращения к читателю, приглашая его с помощью географической карты совершить путешествие по местам, ведущим к Пиарги – прекрасной долине, где, как выясняется позже, произошел сход снежной лавины. При этом автор точно указывает названия рек, гор, лугов, горных долин, расположенных на пути к Пиарги. Рамю обращается с аналогичной просьбой к читателю дважды: первый раз (глава 2, часть I), когда катастрофа только что произошла и никто из жителей близлежащих деревень о ней еще не знает; второй раз – в самом конце повести. В первом случае описание звучит как гимн красоте Дерборанса и одновременно – как песнь прощания с ним, ибо время от времени повествование прерывается напоминанием о том, что этой красоты больше не существует: отныне Дерборанс – всего лишь «царство тени».

«Так было, когда Дерборанс был еще обитаем, то есть до того, как обвалилась гора. Но теперь она уже обвалилась»<sup>1</sup>.

В заключительной главе произведения Рамю оценивает случившееся как бы с дистанции времени. Сообщив о том, что вот уже двести лет Дерборанс практически мертв, он призывает читателя навсегда проститься с ним: «Дер-бо-ранс. Это слово звучит у вас в ушах, навеяв мягкую грусть, когда вы склоняетесь над обрывом, где ничего нет – пустота. И вы видите, что там только пустота»<sup>2</sup>.

В новелле «Пиарги» мы читаем: «Сегодня вы напрасно искали бы селение Пиарги. Есть только долина, еще сохранившая это название, ров-

---

<sup>1</sup> Ibid. p. 144.

<sup>2</sup> Ibid. С. 233.

ная долина, словно труба,.. ибо селения Пиарги больше не существует... на его месте царит забвение и пустота»<sup>1</sup>.

В отличие от конкретных пространственных координат действия, соответствующих реальному плану изображаемого, время описываемых в произведениях событий выражено весьма неопределенно, что свидетельствует о присутствии в них иного плана – фантастического, условного. Однако Рамю, больше тяготея к достоверности, указывает день и месяц катастрофы, не называя при этом года. Швантнер прибегает исключительно к биологическому и мифологическому времени (смена времен суток, года, упоминание о масленице и др.). Кроме того, если сюжет повести «Дерборанс» строится на основе линейного времени, в котором исходной точкой служит катастрофа, а дальнейшие события разворачиваются на основе причинно-следственных связей, то есть в хронологическом порядке, то в новелле «Приарги» используется фрагментарный принцип построения сюжета; при этом временные планы перемежаются.

Писатели предлагают две версии происшедших катастроф: результат действия природных сил или вмешательство сил сверхъестественных, потусторонних. Обе версии реализуются в сюжетных планах произведений, определяя их структуру, соотношение реального и условного, а также лексические и синтаксические особенности языка. Если Швантнер в основном приписывает случившееся сверхъестественным силам, отдавая при этом предпочтение условному потоку, то Рамю объясняет его природными аномалиями, рассказ о которых формирует реальный план изображения. С этим также связано и преобладание повествования от автора в структуре текста повести «Дерборанс». Фантастический же план возникает в ней лишь тогда, когда события даются сквозь призму восприятия их простым людом, жителями деревень, пастухами, крестьянами. Именно из их уст узнаем мы о мистических силах, которые они по аналогии с названием гребня горы именуют «Дьявольскими Проказами». Именно в их сознании всплывают легенды о Дьяволе и «Духах земли».

Рассуждая об играх Дьявола, один из героев, Серафен, говорит: «Никто не помнит, когда это началось. Кажется, так было всегда... Старики у нас рассказывали об этом, когда я был мальчишкой. А они сами слышали об этом в детстве от других стариков...»<sup>2</sup>.

В дальнейшем мотив Дьявола и «Дьявольских игр» время от времени «всплывает» в повествовании, не нарушая реального хода событий, а лишь напоминая о возможности существования иной версии катастрофы.

---

<sup>1</sup> Švantner F. Piargi // Švantner F. Novely. Bratislava. 1976. S. 148.

<sup>2</sup> Рамю Ш.-Ф. Дерборанс. С. 139.

Во второй части повести, где речь идет о спасении Антуана и его возвращении в деревню, фантастическое начало реализуется в форме легенды о «Духах земли», во власти которых якобы оказался герой. В соответствии с этой легендой его появление жители объясняют намерением поработить души живых. И как бы в противовес этим страшным потусторонним силам, несущим людям смерть, в произведении возникает мотив солнца – символа жизни, который олицетворяет собой победу над «Духами земли», окончательное возвращение Антуана в мир людей.

Несколько иная картина представлена в новелле Швантнера, в которой преобладает условный план изображаемых событий. Природная версия случившейся катастрофы, как и у Рамю, здесь связана прежде всего с авторским повествованием, которое, однако, в отличие от произведения французского писателя, едва обозначено, а порой и вовсе сливается с речью героев – в первую очередь молодой пары Пиларчиков: Йоганки и ее мужа Клемента – единственных, кто останется в живых после схода снежной лавины. И даже когда голос автора наиболее активен, то и тогда в нем отчетливо слышна точка зрения персонажей, что способствует двойственному восприятию трагедии. В итоге происходит сближение плана реального (его носителем является автор) и плана фантастического, связанного с героями, их взглядами и отношением к катастрофе. Подобную структуру текста можно объяснить антропоморфизмом – важной составляющей творческой концепции словацких натуралистов, в том числе и Швантнера. Как отмечает словацкий исследователь О. Чепан, задача антропоморфизма, характерного для натурализма, – «мотивация взаимодействия реального и фантастического, создание коридора, который бы обеспечил их взаимное проникновение и в конечном итоге – органическое слияние»<sup>1</sup>. Таким образом, одно из отличий новеллы Швантнера от повести Рамю заключается не только в количественном соотношении реального и фантастического, но и в самом характере их взаимодействия.

Описывая атмосферу своих произведений, Швантнер писал в Дневнике: «У меня такое впечатление, что мы стоим на огромной строительной площадке. Под нами работают насосы, по желобам стекает мутная вода, вверху грохочет мотор подъемника. А у нас все немного иначе. Этот стремительный потоп, что повсюду сносит препятствия на своем пути, сюда еще не добрался. Время здесь остановилось и утратило человеческие признаки, а глаза смотрящих и в бодрствовании затуманиваются сном минувших эпох»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Чепан О. Kontury naturizmu. Bratislava. 1977. S. 119–120.

<sup>2</sup> LAMS (Литературный архив Матицы словацкой).

Отказавшись от основных принципов реализма, для которого характерно взаимодействие человека со средой, природой, традициями, Швантнер, по сути, избирает «моническую» концепцию (человек = природа). При этом оба ее составляющих представлены как бы в своем первоначальном виде: «естественный» человек оказывается во власти «архаического» бытия, природных сил.

Как и подобает «естественному» человеку, герои «Пиарги» – люди с ярко выраженной интуицией, обостренным чувством природы. Не случайно, еще задолго до катастрофы, по недоступным для обыкновенного человека признакам они ощущают приближение беды.

Действие новеллы развивается скачкообразно. Реальное и фантастическое перемежается, хотя эти переходы порой едва заметны. По мере того, как роль фантастического возрастает, усиливается напряженность окружающей атмосферы, возрастает эмоциональный накал. Читателя не покидает ощущение того, что он соприкоснулся с миром, живущим по иным законам, миром, в котором действуют мистические силы, влияющие на судьбы людей и определяющие ход событий; силы, находящиеся за пределами реального мира, обычного человеческого сознания. Этому способствует все более явное сопряжение мотива стихийного бедствия с библейским мифом о природных катаклизмах как следствии человеческой греховности. Библейский смысл описываемых событий становится очевиден после того, как автор вводит в текст сюжет о рождении Антихриста, конце света и Ангеле – Спасителе, изложенный в «ОТКРОВЕНИИ Святого Иоанна Богослова», и как бы материализованный в новелле. Так, пророческая история из Священного Писания получает фантастическую трактовку в рассказе о греховной дьявольской оргии веселящихся в избе жительницы Пиарги – безбожной Магдуши, а также в описании ожидания Леной ребенка, по слухам, зачатого с волком.

Фантастическое и реальное, по сути, сливаются в единый поток. Божий суд вершится над грешными жителями Пиарги. «Уходит в вечность» Магдуша. Умирает Лена, произведя на свет мертвого ребенка, покрытого шерстью и напоминающего козла – некое подобие Антихриста. Однако мертворожденный «не успел испустить на Божий свет свою власть, – пишет автор, – которая должна была все погубить, ну а силы, вырвавшиеся в ту ночь из-под земли, поглотили лишь несчастных жителей Пиарги, а затем, по велению Божьему, остановились»<sup>1</sup>. Слияние реального и фантастического закрепляется в описании схода снежной лавины, напоминающем пророческую картину грозящего грешникам землетрясения: «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое земле-

---

<sup>1</sup> Švantner Fr. Piargi. S. 160.

трясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Такое великое!»<sup>1</sup>.

Новелла завершается описанием последних минут жизни Йоганки и Клемента и их внезапного спасения. Однако в промежутке между этими событиями автор воссоздает пограничное состояние человека, находящегося между жизнью и смертью, человека, готовящегося отойти в мир иной. В своих записках Швантнер писал, что когда человек вступает «в жизнь вечную, он переживает самое великое событие в своей жизни, переполнение жизнью»<sup>2</sup>. Описание приближающегося конца дается в виде мистических картин, видений, галлюцинаций, которым непросто дать однозначную трактовку. Вместе с тем, именно здесь сконцентрированы философские раздумья писателя по поводу человеческой греховности и неотвратимости наказания. Апогеем этого мотива, проходящего через все произведение и являющегося переосмыслением библейского сюжета, становится образ Спасителя, принесшего героям книги избавление.

Стремясь постичь суть Бытия, Швантнер неоднократно задается вопросом: «О, Матерь Божья, где это мы заблудились? Или в самом деле мы преступили границу и совершили тот роковой шаг? Давайте вспомним, когда это было?»<sup>3</sup>. Следуя библейскому мифу, писатель видит в происшедшей катастрофе знамение рока: он предупреждает всех, кто погряз в грехе, «преступил границу».

Однако зло, греховность, по Швантнеру, не могут одолеть добро, святость. Не случайно он оставляет в живых молодую любящую пару Пиларчиков, которых не коснулась греховность. В Библии мы читаем: «есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны». И далее: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом Моим и пред Ангелами Его»<sup>4</sup>.

Символическая картина явления Спасителя, имеет двоякий смысл. Впервые он появляется в момент, когда люди, утопающие в грехе, еще не способны принять его помощь, осознать ее смысл и значение. «Он стоял в белом напротив нас и хотел заключить нас в объятия, но мы разминутись и потеряли друг друга. Ну что ж, так это было. Мы потеряли жиз-

---

<sup>1</sup> Библия. Новый Завет. ОТКРОВЕНИЕ Святого Иоанна Богослова. Гл. 16, строфа 18.

<sup>2</sup> *Švantner Fr. Piargi*. S. 164.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> ОТКРОВЕНИЕ Святого Иоанна Богослова. Гл. 3, строфы 4–5.

ни, но мы обрели сознание»<sup>1</sup>. И только беда заставляет их обратить свой взор к Всевышнему: «Ага, подождите! Тут кто-то идет по лестнице. Приоткроем немного, чтобы нас уже ничто не удивило, и подождем его. Он весь в снегу, словно где-то бродил в сугробах. Тяжело вошел в избу, ища нас глазами. У него светлые глаза, чистые, чистейшие, будто колодезь среди белых скал, а уста беспокойные. Ой, ведь эти уста нам знакомы. Мы еще ощущаем их жажду на собственных губах. Из них сочится улыбка, которая, словно луч, согревает и летит к нам. Ох, мы не можем ей противостоять. Она обволакивает наши щеки и опускается на веки. Кровь вскипает в нас. Ох, как хорошо нам с ним, как легко...»<sup>2</sup>. То есть в заключительной части новеллы реальный план событий Швантнер окончательно переводит в план условный. Опираясь на мышление и представления «естественного» человека, автор находит объяснение явлениям действительности в глубинах его сознания, в народных легендах, поверьях, библейских мифах.

Таким образом, схожесть сюжетов, сюжетных ходов, ситуаций, некоторых художественных приемов еще не свидетельствует о том, что Швантнер во всем следовал за Рамю. Как отмечает исследователь творчества французского писателя В. Большаков, Рамю «смог избежать романтизации природного состояния человека, понять несостоятельность «натуризма», противопоставления чистоты природы и искренности человека, избежать условно-натуристского изображения сельского быта»<sup>3</sup>. И хотя это утверждение критика верно лишь отчасти, ясно другое: в отличие от Рамю концепция натуразма вполне отвечала философским и эстетическим исканиям словацкого писателя.

---

<sup>1</sup> *Švantner Fr. Piargi*. S. 164.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Большаков В.* Предисловие // Рамю Ш.-Ф. Дерборанс. С. 9.

*С. Н. Мещеряков*

### **СЕРБСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

Сербский исторический роман – высшее достижение национальной литературы XX века, принесшее заслуженную славу И. Андричу и М. Црнянскому, М. Селимовичу и Д. Чосичу, Б. Петровичу и С. Селеничу. К историческому роману обращается в последние десятилетия своей жизни М. Лалич, исторический роман фактически завершает творческую деятельность Э. Коша. Само международное признание сербской литературы во многом обусловлено успехом именно исторического романа.

Вместе с тем сербский исторический роман как эстетическая ценность существует немногим более семидесяти лет: в 1929 г. выходит первая книга «Переселений» М. Црнянского, хотя национальный роман уже в первые десятилетия XIX в., т. е. на заре своего существования, обращается к исторической тематике и пользуется немалой популярностью у читателей. Барочно-сентименталистские романы М. Видаковича «Одинокий юноша»(1810), «Велемир и Босилька»(1811), «Любомир в Элизиуме» (I–III, 1814, 1817, 1823), «Милая сцена из жизни веселого двора Иво Загорицы» (1833) уводят нас в мир сказочного сербского средневековья и живут в сознании по крайней мере части образованных сербов почти до конца XIX века: первые три романа переиздаются в течение семидесяти лет.

К псевдоисторическому роману обращается в начале своего творческого пути и крупнейший сербский комедиограф Йован Стерия Попович (1806–1856). В 1828 г. он пишет «Бой на Косово, или Милан Топлица и Зораида», а в 1830 г. – «Деян и Дамьянка, или Падение Боснийского королевства». Впрочем, уже в 1832 г. И. Стерия Попович создает сатирический «Роман без романа», где осмеивает сентименталистские и фантастические произведения в духе М. Видаковича. Трезвый, народный взгляд на окружающий мир торжествует над «поэтикой» вымысла и преувеличений.

Верность изображения действительности, ясность, точность психологического портрета в гораздо большей мере присущи мемуарам и научной исторической литературе того времени. Уже в XVIII в. было написано одно из лучших произведений мемуарного жанра – «Сообщение о событиях из жизни Симеона Степановича Пишчевича, генерал-майора и кавалера ордена св. Георгия». В своих воспоминаниях С. Пишчевич описывает первое тридцатилетие своей жизни (1731–1762) и уделяет основное внимание переселению сербов в Россию в середине XVIII в. Мемуары Пишчевича впервые были опубликованы в России в 1884 г., через сто лет после их написания, а в Югославии они

в 1884 г., через сто лет после их написания, а в Югославии они стали известны читателям лишь в 60-е гг. XX века. И все же роль этого произведения в развитии сербского исторического романа довольно велика: оно стало фактической основой для знаменитой книги М. Црнянского «Переселения».

К Первому сербскому восстанию (1804–1813) как наиболее важному событию в сербской истории после битвы на Косово (1389), где сербы потерпели решающее поражение от турок, обращается в своих известных «Мемуарах» крупный государственный деятель протоиерей Матей Ненадович, о «сербской революции» (термин Л. Ранке) много и обстоятельно пишет В. Ст. Караджич. В 1820–1830-е гг. появляются его труды «Житие гайдука Велько Петровича», «Сербский Плутарх», «Первый год войны с дахиями», «Второй год войны с дахиями». В. Караджич создает яркий, запоминающийся портрет князя Милоша Обреновича, возглавившего Второе сербское восстание, издает на немецком языке монографию о Черногории и черногорцах, публикует в конце своей жизни описание деятельности Правительствующего Совета сербского, высшего органа власти во времена Первого сербского восстания. К истории Черногории и Второго сербского восстания обращается также Сима Милутинович Сарайлия.

Вполне возможно, что торжество собственно исторической литературы, отличающейся безусловными художественными достоинствами, над беллетристикой с исторической тематикой повлияло на выбор И. Андричем жанра исторического романа-хроники. И именно исторический роман-хроника «Мост на Дрине» (1945) сыграл важнейшую роль в присуждении И. Андричу Нобелевской премии.

Однако в целом опыт собственно исторической литературы оставался неучтенным на протяжении столетия. Механическое воспроизведение истории и безусловное подчинение историческому факту не могли привести сербских писателей ни в XIX в., ни в первые десятилетия XX в. к каким-либо творческим достижениям. К сухому пересказу событий XV в. сводился роман Я. Игњатовича «Георгий Бранкович» (1859), в традиционно-описательной манере воспроизводилось убийство Карагеоргия Милошем Обреновичем в произведении П. Тодоровича «Смерть Карагеоргия» (1892–1893). В романе В. Джорджевича «Царь Душан» (1919–1920), писавшемся с большими перерывами на протяжении четырёх десятилетий, главный герой мог в одной фразе сухо перечислить несколько дат современных ему событий, а сам автор в тексте романа ссылался на исторические источники, которые помогали ему определить ту или иную дату.

Обращение к другому типу исторического романа, продолжавшего традиции Видаковича и названного известным сербским литературо-



ведом Й. Деретичем «романтической повестью», также не привело к художественным открытиям, хотя и нашло достаточно благосклонный отклик у читающей публики того времени, так как романтические и патриотические настроения писателей компенсировали в глазах современников отсутствие таланта и мастерства. Романы Я. Игњатовича «Манзор и Джелила» (1860), «Кровь за род» (1862), исторические рассказы Ч. Миятовича «Икония, мать визиря» (1891), «Райко из Расины» (1892), «романтическая повесть» Д. Илича «Хаджи Джера» (1898) и другие подобные произведения были слишком далеки от отражения подлинной реальности, чтобы закрепиться в истории литературы.

Счастливая судьба выпала лишь на долю лучшего сербского исторического романа XIX в. «Гайдука Станко» Янко Веселиновича (1896), включенного впоследствии в школьную программу. Однако и здесь повествование отличалось наивностью, о чем свидетельствовали уже названия глав: «Злодей», «Клевета», «Гром среди ясного неба», «Страшная клятва», «Отчаянная борьба» и т. д. Помимо того, романтическая история об оклеветанном молодом человеке, ушедшем в гайдуки, не слишком сочеталась с романтизированной историей Первого сербского восстания. По справедливому замечанию Й. Деретича, сербский роман в XIX в. не смог усвоить вальтерскоттовские традиции, слить судьбу героя с историческими событиями<sup>1</sup>. Фактическое рождение сербского исторического романа переносилось в XX век.

Новое столетие, впрочем, тоже казалось нерасположенным к исторической прозе. В то время, когда появляются романы И. Чипико, М. Ускоковича, В. Миличевича, когда роман Б. Станковича «Дурная кровь» (1909) ярко свидетельствует о рождении новой литературы, опирающейся на глубокий психологизм, символику и миф, историческая проза замирает в ожидании. Казалось, что модернистско-авангардистские течения, активнее всего проявившиеся в поэзии рубежа веков и в первые послевоенные годы, могут лишь препятствовать появлению исторического романа, крупной жанровой формы с традиционной ориентацией, и только возрождение реализма на рубеже 20–30-х гг. должно было привести к определенным творческим достижениям в этой области.

Однако непосредственное возвращение к традиции предполагало либо фактографическое описание исторических событий, либо следование романтическому стереотипу и подражание Я. Веселиновичу, что вряд ли могло привести к плодотворным итогам. Ярким свидетельством исчерпанности «романтической повести» в ее прежнем виде стали романы С. Живадиновича «Карагеоргий» (1930), «Гайдук Велько»

---

<sup>1</sup> *Деретић Ј.* Историја српске књижевности. Београд, 1983. С. 369.

(1932) и «Вуйица Вуличевич» (1933), воспринимавшиеся автором и читателями как трилогия о Карагеоргии. Романтическое начало в полной мере проявляется здесь как в однозначности и полярности персонажей, так и в обращении к исключительным событиям и ситуациям. Например, в романе «Карагеоргий» сталкиваются любовь и ревность, месть и предательство, служение Богу и пособничество дьяволу. Здесь пулей спасают от мучительной смерти, здесь мать жениха одним ударом топора отрубает голову матери невесты, а дочь убитой благословляет руку убийцы. Здесь женщины требуют от мужчин скорее отправляться на войну и на смерть, здесь трое героев сражаются против целой армии. Особо, по замыслу автора, должен выделяться Карагеоргий. Не случайно молодой красавец, храбрец и гайдук Младен, глядя на Карагеоргия в окружении наиболее уважаемых сербов, приходит к мысли, что «все присутствующие, и он в том числе, составляли толпу, в то время как Карагеоргий был чем-то особенным, возвышающимся над ними»<sup>1</sup>.

На протяжении всего произведения писатель неуклонно следует традиции народных эпических песен, подражает их языку и стремится передать их дух. Ряд ситуаций в романе напоминает о Кралевиче Марко, о Матери Юговичей, о Вуке Бранковиче и других персонажах устного народного творчества, причем даже иллюстрации к роману выполнены в фольклорно-романтическом стиле. Однако, несмотря на некоторую занимательность сюжета, остается впечатление определенной искусственности повествования, лишившегося непосредственной наивности предшествующей литературы и не предложившей ничего нового (единичные примеры обращения к приёму сна и «внутреннему диалогу» крайне неубедительны). Упрощенный фольклорно-романтический подход к истории сковывал творческие устремления автора.

Неуспех «романтической повести» мог быть объяснен недостатком таланта прозаиков, обращавшихся к этой жанровой форме, о чем свидетельствовали, например, девять исторических романов А. Мусанича, публиковавшихся в журнале «Сквозь огонь и трупы» с 1932 по 1936 гг. Однако даже один из наиболее выдающихся сербских писателей, классик национальной литературы XX в. Милош Црнянский (1893–1977) не достигает на этом поприще значительных успехов. Его роман «Капля испанской крови» (1932), повествующий о пребывании испанской танцовщицы Лолы Монтез при дворе баварского короля Людовика I, несмотря на ряд безусловных достоинств, несколько уступает написанным ранее «Лирике Итаки», «Запискам о Чарноевиче» и упоминавшимся «Переселениям».

---

<sup>1</sup> *Живадиновић С. Карађорђе*. Београд, 1930. С. 73.

Очевидно, что М. Црнянский избегает романтических наивностей и стереотипов. Он не стремится к абсолютной «неожиданности» и «непредсказуемости» сюжетных ходов, избегает упрощенного психологического рисунка. Красота и горячая испанская кровь Лолы Монтез вполне естественно вызывают восхищение и страстные чувства у многих мужчин Мюнхена, и в первую очередь у самого Людовика, что, в свою очередь, ведет к протесту церкви, бунту горожан, направляемых рукой католического архиепископа, и вынужденному отъезду героини.

Поведение персонажей мотивировано не только их чувствами, но и воззрениями. Так, стареющий баварский король, страстный любитель античной поэзии и поклонник безупречной, классической красоты, видит в Лоле не только безумно соблазнительную женщину, но и неподвластное времени воплощение совершенства и поклоняется ей, «как раб», стремящийся в преддверии смерти хоть на миг приблизиться к вечности. Как отмечал С. Корач, «Црнянский пишет с точки зрения индивида, осужденного временем, но одаренного богатством чувств и силой духа, необходимых для постижения красоты и ее ценности»<sup>1</sup>.

Однако утверждение красоты в качестве единственной ценности этого мира и единственной опоры человека в нем вступает в формальное противоречие с восприятием прекрасного как начала демонического и разрушительного. В душе Лолы царит не Аполлон, а Дионис, она всей душой предана чувственным удовольствиям и называет себя «посланицей сатаны» (у Црнянского слово «сатана» с прописной буквы). По словам С. Корача, «в романе Црнянского нет ни одной картины, которая напоминала бы нам об идее спасения»<sup>2</sup>.

Воплощение «демонического эстетизма» (термин П. Гайденко), Дон-Жуан в женском облике, Лола, несмотря на все усилия автора, вряд ли может быть признана «идеалом». По мнению П. Гайденко, доминирующая в романтизме идея эстетизма как выражения абсолютной гармонии конечного и бесконечного, признание красоты высшим благом и высшей истиной, а наслаждение красотой – важнейшим жизненным принципом вели романтиков к жизненному краху (судьба Гельдерлина, Гофмана, Шелли), к культуре томления и меланхолии, определяемой С. Киркегором как «истерия духа»<sup>3</sup>. Строгое следование М. Црнянского романтическим представлениям о прекрасном поставило перед писателем непростые задачи.

Исчерпанность на определенном этапе традиций «романтической повести» отнюдь не свидетельствовала в пользу романа фактографическо-

---

<sup>1</sup> Корач С. Српски роман између два рата. 1918–1941. Београд, 1982. С. 248.

<sup>2</sup> Корач С. Указ. соч. С. 249.

<sup>3</sup> Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997. С. 117.

го, хотя в середине 30-х годов огромную популярность приобретают исторические романы С. Яковлевича «Девятьсот четырнадцатый» (1934), «Под крестом» (1935) и «Арка свободы» (1936), повествующие о Первой мировой войне и названные критикой историческим романом-репортажем или мемуарно-автобиографической хроникой<sup>1</sup>. Впрочем, читатели и весь народ, не заботясь о жанровых дефинициях, сразу же окрестили произведения Яковлевича «Сербской трилогией», и под этим названием они были опубликованы как единое целое в 1937 году.

«Сербская трилогия» была литературным дебютом С. Яковлевича. Биолог по образованию, человек, не лишенный писательского дара, но не претендующий на художественные открытия, рядовой участник Первой мировой войны, он повел свой рассказ от лица обычного унтер-офицера, привлекая сердца простых людей незамысловатостью повествования, близостью жизненной правде, точностью описаний. Его произведение отождествлялось с самой действительностью, и не случайно впоследствии писатель встречался с многочисленными участниками сражений, получал десятки писем, чьи авторы пытались скорректировать некоторые факты и дополнить описанные картины своими впечатлениями.

Судьба «Сербской трилогии» в определенной мере повторила судьбу лучших романов М. Видаковича: несмотря на отсутствие заметных художественных достоинств и в целом неблагоприятный прием у критики эти произведения на полвека пережили свое время. Еще в середине 1970-х гг. книга С. Яковлевича издавалась значительным тиражом, и лишь появление исторического романа-эпопеи Д. Чосича «Время смерти» (I–IV, 1972–1979), шедевра национальной литературы, на совершенно ином уровне рисуя картину Первой мировой войны, затмило в глазах читателя произведение С. Яковлевича.

Уступает «Времени смерти» и роман Д. Матича и А. Вучо «Глухая пора» (1940), повествующий о последних годах правления Александра Обреновича (1900–1903). Традиционное воспроизведение «скандальной хроники» королевского двора, жизни Александра Обреновича и его жены Драги Машин, прославившейся любовными похождениями, дополняется развернутой картиной сербского общества того времени, представляющей различные социальные слои: буржуазию, интеллигенцию, армию. Однако широта охвата действительности не означает в данном случае передачи духа и колорита эпохи, связь человека с историей прослеживается слабо. При чтении «Глухой поры» не возникает ощущения временной дистанции между повествователем и описываемыми событиями. Произведение Матича и Вучо вполне может рассмат-

---

<sup>1</sup> *Коран С.* Указ. соч. С. 376.

риваться как панорамный социально-психологический роман о современности, осложненный, впрочем, повышенным вниманием к биологическому началу в человеке. По словам С. Корача, «психология персонажей... никоим образом не определяется эпохой»<sup>1</sup>, их мыслями, устремлениями и поступками часто правит Эрос, они изначально склонны к злу и насилию. Молодая невинная девушка без сопротивления отдается пожилому, непривлекательному незнакомцу и впоследствии не испытывает никаких угрызений совести, замужних женщин пьянят лишь тела их любовников, мужчина, вернувшийся с каторги за убийство жены и ребенка, впоследствии убивает старуху и бросает ее труп свиньям.

Внутренний мир героев не сводится, безусловно, к совокупности различных инстинктов: персонажам романа присущи и более высокие устремления, им знакомы моральные страдания и представления о долге и чести. Так, один из главных героев поручик Витомир Крчевинац после самоубийства брошенной им любовницы полагает своим долгом вступить в брак с матерью пятерых детей, а впоследствии отправиться на службу в наиболее опасные края, где он всего нужнее родине. И даже гибель Теклы Каравучич, покинутой Крчевинцем, объясняется, в первую очередь, ее страхом родить больного, обреченного на смерть ребенка. Чувства и переживания этой героини раскрыты довольно глубоко, что представляется одной из немногих творческих удач авторов романа.

Вполне закономерный творческий неуспех писателей, обратившихся к псевдоисторическому или фактографическому роману, предполагал поиск принципиально новых путей, которые и были открыты в сербской литературе М. Црнянским и И. Андричем.

В 1929 г. в свет вышел роман М. Црнянского «Переселения», повествующий о жизни сербов на территории Австрийской монархии в 40-х гг. XVIII в. и их участие в войне за Австрийское наследство 1740–1748 гг. В произведении описывается поход и сражения с французами сербского Славяно-Придунайского полка под командованием майора Вука Исаковича с весны 1744 по лето 1745 года. Подробно изображен маршрут полка, упоминаются крупные военачальники того времени: Карл Лотогингский, генерал-фельдмаршал Беренклау, Евгений Савойский. Црнянский успешно использует исторические свидетельства, в частности, «Мемуары» Симеона Пишчевича, раскрывает исторически обусловленную противоречивость отношений сербов и австрийцев, «европейцев» и «варваров», католиков и православных. Верно обрисованы быт и атмосфера того времени, показана зависимость сознания героев от фольклорных верований. По справедливому мнению М. Матицкого, само

---

<sup>1</sup> Корач С. Указ. соч. С. 376.

описание похода напоминает эпическую песню сербских граничаров, полувоинов-полукрестьян, населявших южные пограничные области Австрийской монархии<sup>1</sup>. Другая сюжетная линия романа, связанная с изображением мирной жизни и любовной страсти брата Вука торговца Аранжела Исаковича, напоминает, по словам Матицкого, другие фольклорные жанры: сказку, легенду. Речь героев выдержана в духе времени: Вук Исакович говорит на языке, насыщенном «славянизмами».

Однако сам писатель не считал свой роман историческим, видя в последнем традиционную, устаревшую форму, в то время как «Переселения» представляли собой символическую поэму о судьбе человечества, счастливое сочетание философских раздумий и проникновенного лиризма. Уже сами названия первой и последней глав «Бескрайний голубой круг. И в нём звезда» свидетельствовали об устремлённости автора и его героев (в первую очередь Вука Исаковича) к идеалу, к небу, к возвышенному, прекрасному, бесконечному. При этом небо иногда как бы соприкасалось с землёй: в очах госпожи Дафины, жены Вука Исаковича, впоследствии соблазнённой своим деверем Аранжелом, жила настоящая небесная синева, пробудившая в приземлённом торговце искру божественного огня. Однако в целом Земля противопоставлена Небу. Земля – это начало сугубо материальное, это болота и чавкающая под ногами грязь – следствие непрерывных дождей, которые в данной ситуации символизируют отнюдь не божественное благословение и очищение, а погружённость человека в тяготы его обыденного существования.

Символичны сами образы главных героев. Вук Исакович, огромный, косматый, толстый, похожий то на медведя, то на бочонок, существо, казалось бы, вполне материальное, живёт лишь мечтой о переселении в чудесную, волшебную страну Россию, воплощение простора и свободы. В то же время Аранжел Исакович, маленький, худой, болезненного вида и невзрачный, символизирует связь с землёй, с материальным началом. Судьба же скончавшейся госпожи Дафины, соблазнённой, но так и не завоёванной Аранжелом, напоминает судьбу Дафны, превратившейся в тростник в руках влюблённого Аполлона.

Символичность образов и судеб главных героев придают размышлениям персонажей о собственной жизни и о мироустройстве философский характер. Крушение мечты каждого из братьев, символизирующих противоположное начало и потому представляющих всё человечество,

---

<sup>1</sup> Матицки М. Граничарска епика у «Сеобама» М. Црњанског // М. Црњански. Зборник радова. Београд, 1972. С. 203.

означает безысходность земного существования. Вуку Исаковичу, противопоставляющему бренности людского существования величие природы, тем не менее, предстоит задуматься об истинности и реальности окружающего мира, который иногда видится герою «бездонной пустотой».

Необычное предположение персонажа полностью разделяется автором: и в начале и в конце романа повествователь сообщает, что Исакович едет на коне «сквозь пустоту», причём фраза повторяется дословно. По мнению С. Корача, появление «пустоты» объясняется отсутствием Бога: «Если Бога нет, весь мир – пустота – и горы, и поля, и крыши домов, и лунный свет, и созвездия, и светящееся небо – всё это не может понять Вук Исакович, а все он должен примириться с тем, что мир остался пуст без Бога. Этот чрезвычайно важное философское положение романа «Переселения»<sup>1</sup>.

С подобной трактовкой философских воззрений М. Црнянского можно согласиться, однако, следует отметить, что представление о мире как о «пустоте» гораздо лучше согласуется с буддийским учением. Сам М. Црнянский увлекался Востоком, в 20-е гг. он издаёт антологии китайской и древнеяпонской поэзии, и даже в самом названии романа, трактуемом символически, ощущается влияние иной цивилизации, признающей пустоту в качестве всепорождающей и всепоглощающей основы. В «учении о пустоте» (шуньяваде) Нагарджуна, исходя из закона зависимого возникновения, доказывал, что всякое существование чем-то обусловлено, а потому ничто не обладает подлинной реальностью и окружающий человека мир пуст.

Сближает М. Црнянского с искусством буддизма и устремлённость к воплощению идеи бесконечного («бескрайнего голубого круга»), и мысль о безысходности человеческого существования, и отрицание смерти перед лицом вечных переселений (последнее утверждение, правда, прозвучало лишь в финале «Второй книги переселений», опубликованной в 1962 г.). В духе европейской культурной традиции XX века сербский писатель стремился к постижению мира в его мистическом единстве<sup>2</sup>.

Пустота мира свидетельствует о его призрачности. Буддизм учит, что всё происходящее в эмпирическом мире не более как иллюзия, однако мысль об иллюзорности человеческого существования («жизнь есть сон») является одной из основополагающих в искусстве барокко. В

---

<sup>1</sup> Корач С. Указ. соч. С. 191.

<sup>2</sup> В конце 1910-х – начале 1920-х гг. М. Црнянский утверждает сверхрациональную идею всеединства («суматраизм»), предполагающую, например, связь между улыбкой европейца и цветом морской воды у берегов далекого острова Суматра.

соответствии с ней Вук Исакович живёт в каком-то странном, полусонном состоянии, что постоянно подчёркивается автором. Так, герой Црњанского, «сонный и онемевший», «как некто, кто видел страшный сон, смотрел в ужасе на своих солдат», «которые ему являлись во сне». Герой передвигается «беззаботно и рассеянно, как в полусне», «сонный и отяжелевший, он едет, опустив голову»<sup>1</sup>. Чрезвычайно важно, что в начале романа герой пробуждается ото сна, а в конце произведения вновь погружается в сновидения, то есть сон окутывает всё существование Вука Исаковича.

Мотив тени и двойника, основанный на принципе отражения и столь же важный в искусстве барокко, также проявляется в романе Црњанского. Главному герою произведения казалось во время битвы, что «как будто существуют два Вука Исаковича: один, который едет на коне, кричит, машет саблей (...) и другой, который спокойно, как тень шагает рядом с ним и смотрит и молчит»<sup>2</sup>. Здесь, равно как и в течение всего повествования, находит своё воплощение «важнейшая оппозиция искусства барокко: скрытое – явное»<sup>3</sup>, когда Вук Исакович – тайный мечтатель противопоставлен Вуку Исаковичу – чрезвычайно представительному, «корпулентному» командиру полка.

Принцип антитезы ясно проявляется при сопоставлении классического, статичного и неклассического, динамичного восприятия действительности. Второй тип мироощущения роднит буддизм и барокко с модернистским искусством XX века, также, кстати, признающем тщетность земного существования<sup>4</sup>. Серьёзное внимание изучению барокко уделяют в 20-е гг. XX века экспрессионисты, а Црњанский, как известно, в начале 20-х годов был одним из наиболее известных представителей этого направления в Сербии.

Принцип незавершённости находит в романе Црњанского и некоторое формальное воплощение. Между героями нет внешних или внутренних связей (как неоднократно отмечает повествователь, ничто не подсказывает Вуку Исаковичу об измене его жены с Аранжелом), действие не развито и диалог отсутствует. Однако роману присуще внутреннее единство. По справедливому замечанию Й. Деретича, «повторение и варьирование известных тем, расположений и картин сближают “Переселения” с музыкой»<sup>5</sup>. Совпадают названия первой и последней глав, по-

---

<sup>1</sup> Црњански М. Сеобе. Београд, 1966. С. 344, 347, 354.

<sup>2</sup> Црњански М. Указ. соч. С. 252.

<sup>3</sup> Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 98.

<sup>4</sup> Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. М., 1985. С. 156.

<sup>5</sup> Деретич Ј. Указ. соч. С. 512.



вторяются ключевые фразы, выявляется сюжетная завершенность произведения (отправление и возвращение полка Вука Исаковича, пробуждение и погружение в сон главного героя). И, наконец, в полной мере проявляется единство мироощущения героев и автора, придающее роману необходимую целостность.

При этом субъективность повествования, его близость музыкальному произведению, изображение внутреннего мира персонажей в единстве с картинами природы, романтическая устремленность героев к небу, к беспредельным и далёким просторам и неземной любви, богатство и многообразие метафор, мелодичность текста, и – главное – огромный талант Црнянского способствовали созданию «недостигаемого образца лирического романа»<sup>1</sup>, где поэтическое начало неотделимо от философских размышлений и исторических картин.

Стремление к синтезу противоположных начал проявляется у М. Црнянского и на уровне синтаксиса: сложное предложение, приближающееся по объёму к периоду, насыщенное многочисленными дополнениями и отступлениями от основной темы, часто соседствует с относительно короткой фразой, впрочем, тоже весьма своеобразной, насыщенной дополнительными, не оправданными грамматически, запятыми. Так, название третьей главы гласит: «День и ночь текла широкая, застоявшаяся река. И в ней, её тень», а слова о «бескрайнем, голубом круге» продолжает фраза: «И в нём, звезда».

Нарушение Црнянским привычных норм синтаксиса (впрочем, не столь уж частое) позволяло добиться остранённости при восприятии текста, насыщения его новым смыслом и дополнительной эмоциональной окраской и в определённой мере было связано с поэтикой экспрессионизма (в немецкой экспрессионистической поэзии от устоявшихся традиций в области стилистики, версификации и синтаксиса отказываются Г. Тракль и Э. Ласкер-Шюлер, Г. Бенн и Я. Ван Годдис, Ф. Верфель и И. Р. Бехер). Неповторимость таланта Црнянского отнюдь не исключала писателя из русла развития европейской литературы.

Роман М. Црнянского свидетельствовал о возможности принципиально новых путей развития этого жанра в сербской литературе. Вместе с тем, «Переселения» лишь с серьёзными оговорками могли быть отнесены к исторической прозе. Настоящее рождение собственно исторического романа как безусловной эстетической ценности связано с именем И. Андрича и выходом в свет в 1945 г. «Травницкой хроники» и «Моста на Дрине». Впоследствии непреходящую художественную ценность этих романов убедительно подтвердили десятки их переизданий, огром-

---

<sup>1</sup> Деретић Ј. Указ. соч. С. 512.

ное множество монографических исследований и статей, им посвященных, и, наконец, международное признание писателя.

В романе «Мост на Дрине», имевшем в первых изданиях подзаголовок «Вышеградская хроника», действие разворачивается на протяжении почти 400 лет с 1516 по 1914 год. Перед читателем проходит целая галерея различных представителей общества. Несмотря на некоторую ограниченность пространства (действие разворачивается в пределах небольшого боснийского городка Вышеграда), на страницах произведения находят свое место отзвуки всех крупных исторических событий того времени: изгнание турок из Венгрии, восстание Карагеоргия, возрождение сербского государства и сербско-турецкие войны во время Восточного кризиса. В дальнейшем история все более активно вторгается в жизнь вышеградцев: австрийская оккупация, а впоследствии и аннексия Боснии и Герцеговины, приобщение к «чудесам» западной цивилизации, начало Первой мировой войны и взрыв главной достопримечательности города – вышеградского моста – убедительно свидетельствуют о слиянии судеб города и страны, города и мира.

В романе «Травницкая хроника», имеющем подзаголовок «Консульские времена», описывается лишь семилетие деятельности французского и австрийского консульств (с 1807 по 1814 г.) в главном городе Боснии. Однако и здесь Андрич дает широкую, обобщающую картину действительности. В Травнике сталкиваются представители западной и восточной цивилизаций, действуют французские и австрийские чиновники, представляющие могущественные европейские государства, сменяются турецкие визири. Судьбы героев находятся в полной зависимости от крупных исторических событий: военных успехов французов, австрийцев, русских, дворцовых переворотов в Стамбуле, и в силу этого история властно вторгается на страницы произведения.

Историческое повествование в романах Андрича опирается на доскональное знание писателем своего предмета. Историк по образованию, защитивший в 1921 г. докторскую диссертацию о духовной культуре Боснии под властью турок, И. Андрич в своих романах строго следует историческим фактам. При этом социально-психологический анализ в произведениях писателя служит основой для широких философских обобщений, рассмотрения вопросов смысла жизни, добра и зла, закономерностей исторического развития.

Стремлением к философскому постижению действительности объясняется и интерес художника в романе «Мост на Дрине» к богатству устного народного творчества. Сам Андрич неоднократно давал чрезвычайно высокую оценку народным легендам и преданиям, что, впрочем, не мешало ему, аналитику и психологу, раскрывать тайны мифа, выявлять причины, его породившие.

Оба романа содержат в своем заглавии или подзаголовке слова «хроника», и каждый из них в той или иной мере подчиняется законам этого жанра. Роман-хроника обладает рядом черт, характерных для жанра нравоописательной или национально-героической повести. Повесть такого рода может быть аморфна, спокойна, нетороплива. По словам В. В. Кожина, события в такой повести «нередко просто присоединяются друг к другу, большую и самостоятельную роль играют внефабульные элементы и т. д. Роман тяготеет к освоению действия, повесть – бытия; она более эпична... Для повести характерна более активная роль автора, повествователя, рассказчика... В повести основная тяжесть переносится, по сути дела, на статические элементы произведения – положения, душевные состояния, пейзажи и т. п. Сами действенные моменты приобретают в повести, так сказать, скульптурный характер, как бы застывают в точке высшего напряжения, единого и бо сквозного действия нет, а эпизоды нередко следуют друг за другом по принципу хроники»<sup>1</sup>.

Все эти черты присущи обоим романам И. Андрича. И в «Мосте на Дрине», и в «Травницкой хронике» нет единства действия, повествование развивается спокойно, иногда даже несколько замедленно. Многочисленные обширные описания предметного мира, картины природы, передача душевного состояния героев, их портреты, характеристики, предистории играют весьма важную роль в этих романах.

Чрезвычайно существенна в произведениях И. Андрича и позиция автора-повествователя. Голос повествователя постоянно звучит со страниц романов, то самостоятельно, то сливаясь с голосами героев; он ведет читателя по ходу развития событий, выступает связующим началом в произведении. По мнению Н. Б. Яковлевой, роль повествователя в этих романах настолько важна, что «вопрос об авторской позиции Андрича и различное ее понимание становятся источником несовпадающих и даже взаимоисключающих суждений о его творчестве»<sup>2</sup>.

Близость обоих произведений жанру повести не исключает и некоторых различий между ними в этом плане. Очевидно, что «Травницкая хроника» по структуре и композиции, по своей жанровой форме ближе роману, чем «Мост на Дрине». «Травницкая хроника» в большей мере тяготеет к единству действия: она охватывает относительно небольшой временной срок, в ней через все повествование проходят одни и те же герои (Давиль, Дафна), причем некоторые из них (Давиль) пользуются самым пристальным вниманием автора, что является характер-

---

<sup>1</sup> Кожин В. В. Голос автора и голоса персонажей // Проблемы художественной формы социалистического реализма. М., 1971. Т. 2. С. 224–225.

<sup>2</sup> Яковлева Н. Б. Современный роман Югославии. М., 1980. С. 33.

ным для романа. О стремлении писателя к известной завершенности действия свидетельствует и наличие в романе пролога и эпилога.

В «Мосте на Дрине» самостоятельность и завершенность отдельных глав такова, что позволяет рассматривать это произведение как роман в новеллах, а единственным связующим звеном помимо голоса повествователя здесь является лишь образ моста, весьма условно причисляемого к героям произведения. Отсутствие единства действия и героев, пользующихся исключительным вниманием автора, свидетельствует о большей близости этого романа к жанру романа-хроники.

Вместе с тем «действенные моменты» в «Травницкой хронике» «как бы застывают в точке высшего напряжения», а в «Мосте на Дрине» они находят сюжетное завершение. Принцип антитезы, доминирующий в «Травницкой хронике», не ведет к драматическому столкновению героев с обществом, противоречия не находят явного выражения, скрадываются и затухают. Наиболее показательны в этом плане «романы» жены австрийского консула, требующей от своих поклонников исключительно платонической любви и в ужасе прерывающей все связи при первом шаге мужчины к поцелую.

С другой стороны, вначале неприметные противоречия между героями и обществом в романе «Мост на Дрине» со временем приобретают все больший размах. Протестуя против тирании общественных устоев, бросается с моста выданная замуж за нелюбимого красавица Фата, вступает в конфликт с обществом и умирает при взрыве моста мелкий торговец Алиходжа, сложные личные отношения связывают молодую учительницу Зорку с влюбленными в нее Стиковичем и Гласинчаниным. Романическое жанровое содержание находит в «Мосте на Дрине» более отчетливое проявление, чем в «Травницкой хронике».

Напряженность отношений героев с окружающим миром в вышеградской хронике И. Андрича во многом уравновешивается умиротворением, связанным с образом моста, прекрасного произведения искусства, чуда красоты, воплощенного идеала. Мост для Андрича, по словам самого писателя, – символ единения людей, простертое над пропастью белое крыло ангела. Мост символизирует неподвластность человеческого творения времени. Наконец, мост – сердце Вышеграда, яркое свидетельство неповторимости города и особого характера его жителей. Писатель создает исключительный по своему значению обобщенный символический образ, не только обращаясь к мифу, но и творя свой собственный миф.

Подобный взгляд на произведение искусства роднит И. Андрича, знатока немецкой культуры, с иенскими романтиками, утверждавшими и идеальный характер художественного творения, и красоту как выс-

шую ценность, и устремленность к символическому видению мира, и обращение к мифу, и мифотворчество. Сам взрыв моста в 1914 г. может свидетельствовать не только о катастрофе, разразившейся над человечеством, но и о «завершенности» этого произведения искусства во времени, о его временных границах. Однако с точки зрения романтиков само выявление границ означает их осознание, а следовательно, и преодоление. По словам Новалиса, «смерть – это романтизированный принцип нашей жизни. Смерть – это жизнь после смерти. Жизнь усиливается под средством смерти»<sup>1</sup>. Интересно, что и у Андрича Алиходжа в момент взрыва размышляет о строительстве новых мостов.

Роднит Андрича с романтиками и устремленность к бесконечности. Как отмечал сам писатель, он стремился постичь «бесконечную действительность во всех ее проявлениях»<sup>2</sup>, а с точки зрения Новалиса, «истинный поэт всеведущ; он действительно вселенная в малом преломлении»<sup>3</sup>.

Наконец романтикам, как отмечает П. Гайдено, присуще истолкование высшей реальности как игры<sup>4</sup>, что не чуждо и Андричу, заставляющему своих героев включаться в призрачную, ночную игру с таинственным незнакомцем, оказывающимся, скорее всего, бесом, или разгуливать, пританцовывая, по узким перилам моста на головокружительной высоте<sup>5</sup>.

Определенное сходство И. Андрича с романтизмом, безусловно, не отменяет реалистической основы его крупнейшего романа, отличающегося и строгим аналитическим взглядом на действительность, и выявлением сути социальных процессов, и продуманной типизацией героев. Синтезируя достижения национальной и европейской традиции, Андрич проложил магистральные пути развития не только для национального исторического романа, но и всей сербской литературы.

---

<sup>1</sup> Зарубежная литература XIX века. Романтизм. М., 1990. С. 72.

<sup>2</sup> Андрич И. Собр. соч. М., 1984. Т. 2. С. 287.

<sup>3</sup> Зарубежная литература XIX века. Романтизм. С. 50.

<sup>4</sup> Гайдено П. П. Указ. соч. С. 121.

<sup>5</sup> См. Кириллова О. Л. Между мифом и игрой. О поэтике Андрича. М., 1992.

### **ТВОРЧЕСТВО МИХАЛА ХОРОМАНЬСКОГО 1930-х ГОДОВ**

К 30-м годам XX века польская проза, и прежде всего роман, опираясь на новую философскую базу, отходит от устоявшихся шаблонов и норм. Для нее характерно создание новой поэтики, формирование нового художественного языка, совершенно иные подходы к изображению героя. Иначе говоря, в 30-е годы оформилась литература, имеющая в своей основе новаторский, поисковый характер и находящаяся в оппозиции к устоявшейся традиции, что сближает ее с авангардным искусством. Особое место в польской беллетристике данного периода занимает психологическая проблематика, тесно связанная с переменами происходившими в прозе XX столетия. Прозаиков привлекают возможности, предоставленные литературе научными открытиями в области социальной психологии и философии (прагматизм, бергсонизм, бихевиоризм, неокантианство и др.). Серьезное воздействие на изменения характера прозы оказала такая научная дисциплина, как психоанализ, который позволял реконструировать психологический облик индивидуума из отдельных обрывков переживаний. Техника свободных ассоциаций открыла возможности для более точной передачи времени и опыта, несмотря на их фрагментарность (разорванность). Следует отметить, что польские писатели не только предпринимают попытку всестороннего изображения жизни человека, его духовной сущности, сложных мотиваций поведения, но и показывают изолированные психические явления, лишённые причинно-следственных связей. В книгах А. Рудницкого, Т. Брезы, С. Отвиновского и др. в центре авторского внимания оказывался не герой, а явление, определенный тип переживаний (одиночество, ненависть, зависть, ревность и т. п.), исследуемые с научной скрупулезностью. В 30-е годы главным представителем такого типа психологического романа считался Михал Хороманьский.

М. Хороманьский родился 22 июня 1904 г. в Елизаветграде. Молодые годы будущего писателя были связаны с Украиной. Во время обучения в российских университетах он изучал педагогику, интенсивно занимался психологией. По словам М. Хороманьского, свою трудовую деятельность он начал в семнадцать лет. «Я старался удержаться на поверхности, – вспоминал автор «Ревности и медицины». – Это выработало во мне неприязнь к бездельникам и определенного рода пораженческой литературе, у которой, к сожалению, есть свои представители среди современного поколения польских писателей. Я был репетитором,

учителем рисования в красноармейском клубе; следующий этап моей трудовой деятельности – это больница; когда закончил работу в больнице, мне предложили заняться журналистикой»<sup>1</sup>.

Возвратившись в 1924 г. в Польшу, Хороманьский интенсивно изучает польский язык (до этого момента на родном языке не было написано ни строчки). Свою литературную деятельность он начинает с поэзии. М. Хороманьский переводит на русский язык сборник стихов К. Вежиньского «Лавр олимпийский» (1929) и 90 стихотворений для подготавливаемой С. Кулаковским антологии «Современные польские поэты» (1929). В России им были написаны более 1000 стихотворений и первый прозаический опус «Повесть о музыке», который впоследствии писатель сам перевёл на польский язык<sup>2</sup>.

Писательский талант М. Хороманьского раскрылся в 1930-е годы: в это время он опубликовал романы «Белые братья», «Ревность и медицина», «Скандал в Весёлых Болотцах», а также сборник новелл «Двусмысленные рассказы». Годы войны и оккупации писатель провёл вне Польши. Уже после захвата немцами Варшавы Хороманьский переехал в Италию, а оттуда во Францию, Бразилию и, наконец, Канаду. Годы эмиграции (1939–1957) обогатили автора «Белых братьев» особым художественным видением, что оказало влияние на последующее творчество этого прозаика. После возвращения из эмиграционных скитаний М. Хороманьский не смог вернуться к былой писательской форме, несмотря на то, что после войны он опубликовал свыше 10 романов, много повестей и новелл («Ведение во всякие герметические науки» (1958), «Варианты» (1964), «По лестнице вверх, по лестнице вниз» (1967), «Макумба, или Говорящее дерево» (1968), «Певец тропических островов» (1969) и др.). Писатель вел уединенный образ жизни, популярности и успеха специально не добивался. По свидетельству Г. Ворцелля, сам Хороманьский был фигурой не менее интригующей, нежели герои его последних романов<sup>3</sup>.

Первым произведением, написанным Хороманьским на польском языке, были «Белые братья» (1931). В основу этой небольшой книги легли впечатления о бурных событиях, вынесенные писателем из его пребывания в России. Хотя действие романа и относится ко времени революции, она не стала ни своеобразным предлогом для выявления политических взглядов автора, ни темой для осмысления хода исторического процесса. Реалии тревожного времени мало интересовали Хо-

---

<sup>1</sup> *Gazeta Polska*, 1932, 21 lutego.

<sup>2</sup> Фрагмент этого произведения опубликовал журнал «Пшекруй» (*Przekrój*, 1976, № 1954).

<sup>3</sup> *Worcell Henryk. Wpisani w Giewont. Wspomnienia*. Wrocław, 1974.

романского, революция в России дана только как фон для случившихся с героями событий.

Действие в «Белых братьях» ограничивается одной сюжетной линией. Центральный персонаж произведения, некто Пётр Брайтис, по видимому, сторонник белого движения в революции, *вынужден* уехать из родного города в Харьков. В день отъезда его преследуют неприятности: затянувшееся прощание и истерика матери привели к тому, что он опаздывает на курьерский поезд и *вынужден* отправиться в дорогу на санях в компании заместителя председателя местной ЧК Белича и купца Грааса. Кульминационным моментом становится ситуация, когда, попав в жуткую метель и потеряв дорогу, Брайтис отказывается от подвинувшейся возможности спастись бегством от подозревающего его в контрреволюционной деятельности Белича, желает спасти попутчиков, а сам погибает.

В дебютном романе, как, впрочем, и в последующих, Хороманьского интересует анализ скрытых мотивов поведения человека. Он позволяет читателю вынести свои суждения о герое лишь на основе описания его внешних реакций и поведения. Что касается внутреннего мира персонажей, истоков их характеров (к примеру, Брайтиса и Белича) то они не прояснены: автор не предоставляет возможности судить о формировании их идейных взглядов и позиций, нам трудно оценить их индивидуальные черты. Лишь скудные замечания позволяют сделать вывод о том, что перед нами эгоистические натуры, однако подробные доказательства этого отсутствуют. Например, в самом начале романа Хороманьский в самых общих словах дает характеристику одному из основных персонажей: «Имея намеченную цель, он не останавливался ни перед чем. Люди были удобным тротуаром, по которому он шел. Ему никогда в голову не приходило считаться с чистотой этого тротуара»<sup>1</sup>.

Жизненные перипетии, испытания, выпавшие на долю героев «Белых братьев», никак не изменили их натуры и нравственные ориентиры: Пётр Брайтис так и останется себялюбивым человеком, Роман Белич не преодолеет характерную для него импульсивность и подозрительность, а купец Граас – тягу к выгодной сделке и обману. В облике действующих лиц романа много загадочного, иррационального. Для читателя остается неясным, чем же занимается Брайтис, что толкает друг к другу его и Белича, как объяснить непонятное «нежное» расположение Грааса к Брайтису и многое другое. Автор не даёт подсказки, тайна становится одним из характерных признаков поэтики писателя.

По свидетельству большинства критиков, центральной проблемой «Белых братьев» становятся размышления писателя о природе по-

---

<sup>1</sup> *Choromański M. Biali bracia. Poznań, 1990. S. 25.*



ступков, приносящих благо, пользу, раздумья над тем, где проходит невидимая грань между добром и злом. На примере ситуаций, в которые попадают его герои, Хороманьский показывает, что добро – одна из таинственных сил, что готовность помочь ближнему, проявление добрых чувств противоречит здравому рассудку, убеждениям, склонностям, а подчас приводит и к гибели (как, например, Брайтиса). По мысли автора «Белых братьев», человек не может постоянно творить добро, оно существует лишь короткое время. После непродолжительного порыва делать добро герои Хороманьского снова возвращаются к привычному образу мышления, к обыденной жизни (об этом свидетельствуют дальнейшие судьбы чекиста Белича и купца Грааса). В романе со всей определенностью обнаруживается скептицизм автора по отношению к добру и неверие в его решающее влияние на жизнь героев. «Кто знает, есть ли добро? – пишет Хороманьский в конце книги. – Во всяком случае если даже и существует, то оно большое и трудное искусство, особенно для мудрого человека»<sup>1</sup>.

Всеобщую популярность М. Хороманьский завоевал благодаря роману «Ревность и медицина» (1933), который был свидетельством появления совершенно нового стиля в польской прозе, стиля, позволившего отразить душевное напряжение действующих лиц, смену настроений, состояние неуверенности и перманентной угрозы, исходившей извне. Новая книга писателя стала своего рода бестселлером. Она не поддавалась однозначному толкованию, ее трудно было литературоведчески квалифицировать. Мнения критики разделились: у романа были и свои сторонники, и непримиримые противники. Но самое главное – большинство критиков видели в «Ревности и медицине» связующее звено, соединяющее старую модель художественного изображения действительности с поисками новых, авангардных приёмов при передаче жизненных явлений.

В основе нового романа Хороманьского – взаимоотношения трёх персонажей, которые образуют классический любовный треугольник: ревнивый муж, неверная жена и ее любовник. Сюжет «Ревности и медицины» вроде бы прост и банален: стареющий предприниматель Видмар подозревает свою молодую красавицу-жену Ребеку в супружеской измене с доктором Тамтеном. Видмар, мучимый ревностью, получает анонимный пакет, в котором находит дневник некой Зофьи Дубилянки, больной женщины, затаившей злобу на весь мир, которая не упустила случая перечислить в своих записках всех любовников Ребеки и рассказать о ее любовных приключениях во время отсутствия мужа.

---

<sup>1</sup> *Choromański M.* Op. cit. S. 121.

Видмар нанимает портного Голда, в доме которого хирург Тамтен снимает однокомнатную квартиру для своих встреч с Ребекой, чтобы тот следил за ней. Когда же портной убеждается в правильности подозрений Видмара, он информирует его об этом, а тот поручает нанять брата Голда, Исаака, чтобы последний при случае избил врача. Перечисленные события даны писателем в ретроспекции.

Основное действие романа представлено всего в нескольких сценах. Хороманский описывает не очень удачный для доктора Тамтена день: хирургические операции проходят не столь успешно, как хотелось бы, к тому же одна из пациенток умирает на операционном столе, а вдобавок, где бы ни появлялся врач, всюду он наткнулся то на подозрительно-го Видмара, то на убогого Голда.

Вечером того же дня Ребека встречается с Тамтеном и обещает ему, что расскажет о своих чувствах мужу и предложит расторгнуть брак. Этот разговор с любимой женщиной несколько успокаивает хирурга. Встречу любовников подсматривает перепуганный Голд. Он спешит к Видмару поскорее покончить с неприятным заданием и представить доказательства измены Ребеки, а также получить причитающееся ему вознаграждение. А в это время в городе бушует буря. Несчастный портной случайно дотрагивается до оборванных ветром электрических проводов и застывает с вытянутыми вверх руками, смертельно пораженный током. Ребека возвращается к ожидающему в страшном напряжении мужу и уверяет его в своей верности. Такова фабула произведения.

Полемическое острие романа Хороманского направлено против женщины и ее власти над мужчинами. Проблема взаимоотношений мужчины и женщины всегда находилась в центре внимания писателя. В этом вопросе он продолжает традиции, берущие начало в эпохе модернизма. Именно тогда в литературе был создан образ красивой, вероломной женщины (*femme fatale*), которая руководствовалась лишь сексуальными инстинктами, а не разумом и логикой. Такая женщина полностью «поработала» мужчину, доводила его до полного физического и эмоционального истощения и гибели. О разрушительной роли представительниц слабого пола, об отсутствии понимания между супругами говорилось в новеллах Хороманского из сборника «Двусмысленные рассказы». В «Ревности и медицине» данная тема получила свое продолжение. Свои размышления о женщине, ее силе и той роли, которую она играет в жизни мужчины и общества, автор доверил приятелю доктора Тамтена – Вильгельму фон Фуксу: «Проблема супружества становится все более тревожной. Роль женщины в наше время уже так велика, что просто опасна и ненормальна. (...) Мужчина ни за что не поверит тому, что женщина сделает с ним всё, что только захочет. (...) Ее

влияние унижает, если не уничтожает. (...) Женщина безжалостна. Она стремится удовлетворить свои потребности с таким упорством, на какое не хватило бы сил у обычного мужчины. Она старается удовлетворить свой инстинкт властвовать над ним. Нет ни одной женщины, которая была бы побеждена»<sup>1</sup>.

Главная героиня романа полностью соответствует данному описанию. Оба героя (Видмар и Тамтен) искренне любят Ребеку, оба из-за неё страдают и не могут понять ее поведения. Она же обманывает ослепленных страстью мужчин, которые даже ложь интерпретируют в ее пользу.

Женщина у Хороманьского всегда загадочна, замкнута в себе, иррациональна. Окружающим ее мужчинам она кажется подчас нереальным существом, наделенным силой патологического, болезнетворного воздействия. Вот как, например, дается описание героини в одном из эпизодов романа: «Ее мышление и психическая аура в пространстве и времени были лишены места. Можно было смотреть сквозь неё как через стекло или как в пустоту. Её существование было действительно проблематично, и хирург временами сомневался, не является ли она призраком. Такая нереальность и, так сказать, кошмарность больше всего раздражали, хирург презирал себя как мужчину за то, что столько времени уделяет глупому женскому приведению. (...) Хотя казалось, что диван пуст, обыкновенная дыра в сидении, и что там никто не сидит, в то же время чудилось и даже, без всякого сомнения, виделось, что там находится какое-то бесформенное существо, а, скорее, абстрактная сумма человеческих черт. Это было своего рода чудовище. Оно состояло из удивительного сочетания взглядов, усмешек, движений плечами, женских ног и грудей, живота, а прежде всего чувственных вожделений и запахов. (...) На диване сидел дух, время от времени материализующийся прямо на глазах...»<sup>2</sup>

Холодная, бездушная Ребека выполняет в романе роль своеобразного катализатора, который пробуждает в душах представителей «сильного» пола дремлющие разрушительные инстинкты и страсти.

Объединение уже в самом названии романа двух различных, никак, казалось бы, не соотносящихся друг с другом проблем (ревности и медицины) не случайно. С одной стороны, психологические проблемы любовного аффекта, с другой – учение о здоровье и болезни человека, об искусстве врачевания. Писатель не преследовал цель показать, как функционируют проблемы, связанные с чувством ревности, в медицинской среде. Его желанием было ввести читателя в экзотический и мало исследованный литературой мир. Ревность здесь не является традицион-

---

<sup>1</sup> *Choromański M. Zazdrość i medycyna. Poznań, 1979. S. 89.*

<sup>2</sup> *Ibid. S. 59.*

ным сюжетным мотивом, объединяющим отдельные эпизоды фабулы. В романе Хороманьского указанные сферы органически срослись и составляют интегральное целое. Автор доказывает, что любовь и ревность по сути своей представляют клинический случай, что ревность несоизмеримо сильнее любви, которая является лишь состоянием самообмана.

Для Хороманьского вопросы эротики, страсти, все, сопряженные с ней состояния, подобно заболеванию, связаны с патологическими явлениями (Хирург Тамтен «по собственному диагнозу был болен, тяжело и, возможно, неизлечимо болен – ибо такая любовь, несомненно, была болезнью»<sup>1</sup>. В другом эпизоде он говорит о любви как о «чрезвычайно патологическом деле»<sup>2</sup>). Писатель тонко анализирует течение этой тяжелой «болезни» и фиксирует со скрупулезной точностью ее протекание, отдельные фазы и симптомы. Можно с полной уверенностью констатировать близкое родство произведения с медицинским анамнезом.

Медицинская среда, медицинский антураж становятся не столько фоном разворачивающихся событий, сколько определяют своеобразную точку зрения автора. Подобно врачу, Хороманьский при исследовании психологических состояний героев сохраняет холодность сознания, трезвость оценки явлений, не останавливается перед физическим или духовным уродством, с которым сопряжена человеческая жизнь. Диагноз, поставленный писателем, сродни медицинскому.

Роман Хороманьского соотносится с популярными в междувоенном двадцатилетии жанровыми формами: психологическим романом и романом о жизни определенной среды (*powieść środowiskowa*). Вместе с тем, это произведение существенно отличается от указанных типов романа. Писатель отказывается от внутренних монологов героев, не спешит использовать модную в 20–30-х годах прошлого века технику «потока сознания», более того – он лишает своих героев психологической мотивации, не дает комментариев, не пытается объяснить читателю тот или иной поступок персонажа. Не углубляясь во внутренний мир героев, не извлекая на поверхность движения души путем обнажения, он рассматривает их как бы со стороны. Психические явления трактуются Хороманьским не как процесс, а как изолированные феномены. Его привлекает только одно – анализ такого чувства, как ревность и ощущения, сопутствующие ему, а не люди – носители этого чувства. В этом произведении Хороманьского, точно так же, как и в «Белых братьях», мы не узнаем, как формировалась психика главных персонажей. Автор лишает их даже биографии. Это люди без прошлого, они

---

<sup>1</sup> Ibid. S. 26.

<sup>2</sup> Ibid. S. 200. О любви как о болезни говорят не только главные герои романа, но и второстепенные персонажи, например, доктор Богущкий (Ibid. S. 191).

живут сегодняшним днем. Например, рассказ о знакомстве Видмара с Ребекой, зафиксированный его бывшей любовницей, и объяснение Ребеки, каким образом она изменила мужу, нужны писателю лишь для того, чтобы подчеркнуть основной конфликт между супругами на фоне всепоглощающей ревности.

Героев Хороманьского можно, наверное, назвать однобокими. Каждый из них является носителем какой-то одной черты, он изображен с одной стороны (Видмар показан только как человек, обуреваемый ревностью, для доктора Тамтена характерно ослепление страстью к Ребеке, Ребека предстает как символ темной биологической силы и т. п.). На одномерность персонажей «Ревности и медицины» обратил внимание Я. Славинский: «Герои (...) напоминают фигуры барельефа, пластически оформленные только с одной стороны»<sup>1</sup>.

Всё вышесказанное порождает вопрос: является ли «Ревность и медицина» психологическим романом? Польская критика по-разному отвечала на него. Одни утверждали, что такие произведения, как роман Хороманьского, помимо «преувеличенного монологизирования и избыточного «интеллектуального» анализа или философских медитаций могут привлекать интересным сюжетом», и, избегая стандартных приемов исследования внутреннего мира человека, их авторы стараются «вникнуть в пространство души, остающееся за оберегаемым ее загадки прикрытием»<sup>2</sup>. Другие критики отказываются признать Хороманьского мастером психологической прозы<sup>3</sup>. Думается, близок к истине М. Домбровский, который отмечал, что создатель «Ревности и медицины» трактовал психологизм как «некую группу литературных приемов, без амбиции детального проникновения в тайники души героев»<sup>4</sup>. Хороманьский стремился пародировать различные интерпретации загадок психологии.

Атмосфера таинственности и необычности, герметичный характер событий, запутанность и двусмысленность фабулы, которая не получает развития, в результате чего произведение не имеет логического конца и обрывается в момент, когда мы ожидаем дальнейшего развития действия, – всё это позволяет утверждать, что автор вступает в некую игру с читателем. Он пародирует различные модели романа, стили, устоявшиеся литературные мотивы, традиции. Из элементов различных поэтик, из готовых сюжетных шаблонов писатель создает свою собственную, ни на что непохожую оригинальную эстетическую систему. «Рев-

---

<sup>1</sup> *Stawiński J.* «Zazdrość i medycyna» po wielu latach // *Twórczość*, 1957, № 12.

<sup>2</sup> *Konkowski A.* Michał Choromański. Warszawa, 1980. S. 129.

<sup>3</sup> *Wyślouch S.* Proza Michała Choromańskiego. Wrocław, 1977. S. 40.

<sup>4</sup> *Dąbrowski M.* Polska awangarda prozatorska. Warszawa, 1995. S. 151.

ность и медицина» – хорошо продуманное произведение, в котором использованы композиционные и стилистические приемы разных типов романа. Здесь мы встретим схемы реалистического и экспрессионистского романа, психологического и детективного, а также фабульные штампы мелодраматических произведений.

С реалистическим романом «Ревность и медицину» роднит та часть произведения, где описывается клиника и хирургическая операция доктора Тамтена. Эта сцена написана в лучших традициях реалистической прозы, автор точно и верно, с мельчайшими подробностями передает ход операции<sup>1</sup>. Читателю всё происходящее в операционной, по идее, должно было помочь открыть истину: что же скрывалось за болезнью Ребеки. Но этого не происходит. Реалистический подход к явлениям жизни, по мысли Хороманьского, не всегда помогает постичь происходящее, нельзя всё исследовать до конца, невозможно полностью реконструировать прошлое человека.

Подлинный реализм и психологическая изощренность у Хороманьского тесно связаны с настроением, рожденным чистой фантазией. Использование поэтики экспрессионизма позволили прозаику создать определеннный климат, настроение необычности. Атмосферу загадочности предопределяет и бушующий в городе вихрь, разметающий всё на своем пути, заставляющий жителей закрыть учреждения и школы, и страдающий от сердечной боли и терзаемый ревностью Видмар, а также странная фигура портного Абрама Голда, которая больше напоминает омерзительного старика, чем тридцативосьмилетнего мужчину. Эта предгрозовая атмосфера, ужасный ветер ассоциируются в произведении с деструктивными темными силами. Подобно писателям-экспрессионистам, Хороманьский проецирует эмоциональное состояние человека на явления природы.

Обращение к поэтике детективного романа позволило Хороманьскому придать повествованию определенное напряжение. Он любит вводить читателя в заблуждение запутанной, хотя и ведущей в никуда, интригой. Однако в отличие от произведений детективного жанра, где в ходе собирания и анализа некоторых свидетельств и улик всегда предоставляется возможность доказать наличие преступления и выявить преступника, у Хороманьского этого нет. В «Ревности и медицине»

---

<sup>1</sup> Показательно, что суровый, беспощадный критик произведений Хороманьского И. Фик, резко отрицательно относившийся к роману «Ревность и медицина», вынужден был признать мастерство писателя в описании хирургической операции (см. *Fik I. Dwadzieścia lat literatury polskiej (1918–1938) // Fik I. Wybór pism krytycznych. Oprac. i wstęp A. Chruszczyński. Warszawa, 1961. S. 515).*

законы детективного романа реализуются не до конца. Узнав из дневника Зофьи Дубилянки об измене жены, Видмар предпринимает все возможные для него «следственные» действия, и, когда он ожидает, что в его руки наконец попадут неопровержимые доводы неверности Ребеки, автор неожиданно обрывает повествование. Основной свидетель в этом деле, Абрам Голд, направляясь к дому Видмара с разоблачительными доказательствами, случайно хватается за провода поваленной шквальным ветром мачты электрического освещения и погибает. Муж не получает подтверждения своим подозрениям, он остается в неведении, тайна нераскрытой. Как мы видим, писатель в «Ревности и медицине» разрушает один из основных принципов детективного романа – разоблачение преступника.

Необычна и композиционная структура произведения. В нем отсутствует плавное поступательное развитие сюжета, характерное для поэтики реалистической прозы XIX века и беллетристики эпохи модернизма. Автор изображает события не в хронологическом порядке, а так, как они проявляются в сознании героев: в начале дается развязка (на последних страницах книги писатель вновь вернется к этим событиям), а затем представлена широкая ретроспективная часть, включающая в себя сцены, имеющие немотивированный характер, смысл которых проясняется только в конце романа<sup>1</sup>. Писатель всё время настроен на эпатирование читательских ожиданий: его излюбленным приёмом является нарушение логической причинно-следственной связи явлений (Хороманьский сначала демонстрирует результат, а уже потом говорит о фактах, которые его предопределили).

В «Ревности и медицине» автор экспериментирует не только с сюжетом, но и романным временем. Время действия произведения спрессовано до шести дней. Хороманьский по своему усмотрению «сужает» или «растягивает» время. Он может в небольшом временном промежутке сконцентрировать большое количество событий (как, например, в начале произведения, где описывается вечер злополучного дня, когда ревнивый Видмар ожидает у себя дома Голда, когда из-за аварии на электростанции гаснет в городе свет, когда бедный незадачливый портной запутывается в электрических проводах и умирает, а доктор Тамтен в это время оперирует женщину и т. д.). Вместе с тем в тексте мы можем найти описание эпизода, растянутого на многие часы (сцена хирургической операции). Писатель часто прибегает к приёму многовариантности повествования, который позволяет отходить от привычной хронологии. Суть его заключается в том, что информацию об одних и тех же фактах в различных версиях автор вкладывает в уста разных пер-

---

<sup>1</sup> В «Ревности и медицине» автор прибегнул к кольцевой композиции.

сонажей, и те как бы проясняют ситуацию. Таким образом в романе «Ревность и медицина» образуется сложная система ретроспектив, ослабляющая развитие действия; ход времени «замедляется». Перестановка временной последовательности событий служит созданию напряженности, таинственности, усиливает впечатление.

В предвоенное десятилетие М. Хороманьский создал еще ряд произведений, но ни одно из них не имело шумного успеха и не вызвало столь разноречивых откликов, как «Ревность и медицина»<sup>1</sup>. Как никакой другой писатель межвоенного двадцатилетия, он со знанием дела показал самые мрачные уголки души своих героев, проявив при этом немалую психологическую наблюдательность и повествовательную изобретательность. М. Хороманьский останется в истории польской беллетристики как человек, создавший особую модель литературы, являющуюся конгломератом различных литературных приёмов и поэтик, спаянных в единое целое, как создатель неповторимого динамичного стиля и языка.

---

<sup>1</sup> См.: сборник новелл «Двусмысленные рассказы» (1934), романы «Скандал в Веселых Болотцах» (1934) и «Больница Красного Креста» (1937), опубликованные отдельными изданиями уже в послевоенные годы.



**ПОЭМА «ВЕРОНИКА» МАКСИМА БОГДАНОВИЧА В КОНТЕКСТЕ  
РУССКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ**

Максим Богданович (1891–1917) – великий белорусский поэт, один из основоположников литературы на современном белорусском языке. Он прожил короткую жизнь, успев издать всего один поэтический сборник («Венок», 1913)<sup>1</sup>, ставший выдающимся достижением белорусской литературы начала XX века. Перу М. Богдановича принадлежит еще целый ряд опубликованных в периодике и оставшихся в рукописи стихотворений, рассказы, переводы, литературная критика и публицистика. Поэт активно сотрудничал в белорусской газете «Наша нива»<sup>2</sup>, где в 1907 г. было опубликовано его первое произведение. М. Богданович внес бесценный вклад в развитие выразительных возможностей родного языка и, наряду с другими национальными писателями Янкой Купалой и Якубом Колосом, способствовал тому, что белорусская литература стала явлением европейским.

Творчество М. Богдановича опирается на богатейшую традицию белорусской народной поэзии<sup>3</sup> и одновременно на художественный

---

<sup>1</sup> *Багдановіч М.* Вянок. Кніжка выбраных вершаў. Вільня, 1913.

<sup>2</sup> В начале XX в. начинает развиваться белорусская периодика. Первой легальной газетой на белорусском языке является «Наша доля» (1906), которая была органом «Белорусской социалистической громады» и издавалась в Вильно. Была запрещена и большинство номеров конфисковано. «Наша нива» (1906–1915) – еженедельная общественно-политическая и литературно-художественная газета на белорусском языке (печаталась кириллицей и латиницей) тоже издавалась в Вильно. Стала органом, вокруг которого объединились сторонники создания белорусского государства. Газета выступала за введение в богослужение и преподавание в школах белорусского языка, поддерживала изучение и собирание белорусской народной культуры. В газете широко печатались Я. Купала, Я. Колос, М. Богданович, Тетка, З. Бедуля, Т. Гартный и мн. др. Газета сыграла важную роль в становлении белорусской литературы. Время ее издания обозначается в работах по истории белорусской литературы и культуры как «нашенивский период».

<sup>3</sup> Максим Богданович хорошо знал и тонко чувствовал своеобразие народной поэзии. Это тем более поразительно, если учесть обстоятельства его жизни, большую часть которой он провел далеко от родины и имел ограниченные возможности слушать «живое слово» белоруссов. Поэт родился в Минске, но большую часть своей жизни прожил в России в Н. Новгороде и Ярославле, куда в 1896 г. после смерти матери от туберкулеза переехала семья. Его отец Адам Егорович Богданович (по профессии учитель) был известен как собиратель белорусского

опыт европейской и русской литературы. Это убедительно демонстрирует сборник «Венок», в котором представлены стихи разных лет и который назван критикой «духовной биографией» поэта<sup>1</sup>. Циклы «В зачарованном царстве» и «Звуки Отечества» написаны под впечатлением от белорусских народных верований и песенного творчества. Цикл «Старая Беларусь» отразил глубокое знание поэтом национальной истории и культуры. Самым известным его стихотворением являются «Слуцкие ткачихи». Другие же циклы и разрозненные стихотворения свидетельствуют об интересе М. Богдановича к русской и европейской литературе.

Освоение художественного опыта европейской, в том числе и русской, литературы М. Богданович считал исключительно важной задачей, необходимым условием успешного развития национальной словесности. В ставшей в наше время хрестоматийной статье «Забытый путь» он подчеркнул: «Мы совершили бы серьезную ошибку, если бы не усвоили ту науку, которую нам дает мировая (прежде всего европейская) поэзия. Было бы более чем легкомысленно ничего не взять из того, что сотни народов в течение тысячелетия складывали в сокровищницу мировой культуры»<sup>2</sup>.

Сам М. Богданович знал несколько иностранных языков, древние языки и обладал поистине энциклопедическими знаниями в области европейской литературы. Достаточно обратить внимание на имена авторов, поэзию которых он перевел на белорусский язык. Это Овидий и Гораций, Ф. Шиллер и Г. Гейне, П. Верлен и Э. Верхарн и др. Среди основоположников белорусской литературы именно М. Богданович наиболее активно занимался переводческой деятельностью и заслужил славу выдающегося переводчика.

Широту его поэтического кругозора демонстрируют также эпиграфы, в качестве которых используются строки из произведений разных литературных эпох и народов (кроме русских поэтов это Данте, почти забытый ныне французский поэт – «парнассец» Сюлли-Прюдом и др.). Это были его «собеседники», с которыми М. Богданович вел поэтичес-

---

фольклора, этнограф и знаток белорусского языка. Белорусский язык и белорусскую культуру будущий поэт изучал вдали от родины с помощью в отца и собраний им библиотеки. М. Богданович посетил Белоруссию летом 1911 г., тогда же был в Вильно и лично познакомился с членами редколлегии «Нашей нивы». Затем после окончания юридического лица осенью 1916 г. из Ярославля приехал на работу в Минск. В январе 1917 г. в связи с обострением туберкулеза вынужден был уехать в Ялту на лечение, где и умер.

<sup>1</sup> Лойка А. Паэт нараджаецца не аднойчы // Багдановіч М. Поўны зб. тв. у 3 т. Мінск, 1992. Т. I. С. 18.

<sup>2</sup> Багдановіч Максім. Забыты шлях // Выбраныя творы. Мінск, 1996. С. 349. Перевод мой – А. Шешкен.

кий, ассоциативный диалог. Следует упомянуть и его литературно-критические статьи, посвященные многим выдающимся поэтам и писателям.

Опыт европейского стиха М. Богданович перенес на национальную почву, чрезвычайно обогатив поэтические возможности белорусской литературы. Ни у кого из современников поэта мы не находим столь разнообразной жанровой палитры, богатства строфики и стихотворных размеров. Он творил в таких классических жанрах европейской поэзии, как сонет, триолет, изысканный рондель, терцина, рондо, сочинял стихотворения в прозе. Встречаются александрийский стих и пентаметры. Поэзия белорусского автора отличается богатством ритмики и рифмы, чему тоже немало способствовала его обширная переводческая деятельность.

Желание обогатить белорусскую литературу опытом европейского стихосложения, «испытать» возможности родного языка ее традиционными формами возникло у М. Богдановича не случайно<sup>1</sup>. Этому немало способствовала атмосфера эпохи. Русская литература, на которой был воспитан молодой поэт<sup>2</sup>, на рубеже XIX–XX вв. уделяла самое пристальное внимание культуре стиха, обогащению выразительных возможностей лирики, осваивала и «приспосабливала» к современности многие как популярные, так и почти забытые жанры европейской поэзии<sup>3</sup>. М. Богданович увлекался творчеством поэтов-символистов В. Брюсова и А. Блока, любил русскую классическую лирику, поэзию А. Фета и Ф. Тютчева.

С другой стороны, освоение художественного опыта русской литературы, ее возрастающее влияние на развитие искусства слова у белорусов во второй половине XIX в.<sup>4</sup>, неизменно вело основоположников национальной словесности, в том числе и М. Богдановича, не только к творческим открытиям А. Пушкина и М. Лермонтова, но и давало пример «переваривания» богатства европейской культуры.

Лирика М. Богдановича дает возможность увидеть, как сложно развивался в белорусской литературе процесс освоения европейских лите-

---

<sup>1</sup> Творческое становление поэта проходило в среде, глубоко увлеченной литературой. Отец поэта Адам Егорович Богданович был женат вторым браком на Александре Волжиной (умерла от первых родов) – сестре Екатерины Пешковой, супруги Максима Горького.

<sup>2</sup> Так, белорусский исследователь пишет, что М. Богданович был «воспитан на русской классике». См.: *Навуменка І. Я. Максім Багдановіч // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: У 4 т. Т. 1. Мінск, 1999. С. 285.*

<sup>3</sup> См.: *Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х – 1925-го годов в комментариях. М., 1993.*

<sup>4</sup> *Лойка А. А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд. У 2 ч. Ч. 1. С. 27. Мінск, 1989.*

ратурных традиций, как тесно европейское переплетается с русским, если вообще оправданно это разделять, а уже тем более противопоставлять.

Связь с традициями русской и мировой литературы обнаруживается в одном из самых известных произведений М. Богдановича – поэме «Вероника». Поэма «Вероника» входит в цикл «Мадонны» и была опубликована в сборнике «Венок». Эпилог к ней, наряду с циклом «Любовь и смерть» и еще рядом стихотворений, по неизвестным причинам были изъяты из сборника и в современных изданиях произведений поэта они печатаются под рубрикой: «Произведения, предназначенные для “Венка”». Эпилог к поэме получил известность как отдельное стихотворение, которое в наше время было положено на музыку<sup>1</sup>. Тем не менее, и основной текст, и эпилог могут и должны рассматриваться как художественное целое.

Поэма «Вероника» рассказывает о полных счастья и радости днях детства и юности, о зарождении первой любви, о тонких душевных переживаниях, о пробудившейся тяге к творчеству. Любовь эта, хотя и безответная, стала для героя самым дорогим сокровищем его жизни, ценность которого с годами только возрастает. Поэма во многом автобиографична, она посвящена самой большой привязанности М. Богдановича – Анне Кокуевой, родной сестре его гимназического друга, которая была музой поэта, и которой посвящен один из шедевров белорусской любовной лирики – стихотворение «Романс» («Зорка Вянера ўзыйшла над зямлею...»)<sup>2</sup>. Правда, поэт хочет скрыть тайну сердца, а, возможно, и уйти от «прямой» автобиографичности, и в эпиграфе говорит, что героиня – плод его воображения, и дает ей вымышленные имя («пусть девочку зовут Вероника») и фамилию (Забела). Имя и фамилия героини, действительно, как бы «уносят» читателя далеко от Волги, где развивался юношеский роман поэта, в Белоруссию в имение «паноў Забэлаў».

Белорусская критика заметила, что поэма М. Богдановича отличается «многомерным пушкинским мировосприятием», способностью принимать жизнь во всем ее многообразии<sup>3</sup>. Современный поэт и исследователь белорусской литературы Нил Гилевич высказывался о важности для автора «Вероники» художественного опыта А. Пушкина<sup>4</sup>.

М. Богданович на протяжении всей своей жизни испытывал глубокий интерес к русскому поэту, переводил его стихи, писал о нем литера-

---

<sup>1</sup> Песня «Ізноў пабачыў я сялібы...» на музыку І. Лучанка исполнялась популярным в 60–80-е гг. XX в. ансамблем «Песняры» и стала известна далеко за пределами Белоруссии.

<sup>2</sup> Это стихотворение тоже положено на музыку и более известно под названием «Зорка Вянера».

<sup>3</sup> Науменко И. Указ. соч. С. 297.

<sup>4</sup> См.: Гилевич Н. Страцім-лебедзь беларускай паэзіі // Багдановіч М. *Op.cit.* С. 16.

турно-критические заметки, опирался на его художественные открытия. В поэме «Вероника» можно выделить целый ряд черт, которые подтверждают это, хотя ни ее сюжет, ни система персонажей не имеют ничего общего ни с каким конкретным произведением русского писателя в отдельности. Анализируемая поэма обнаруживает ассоциативную связь и с романом в стихах «Евгений Онегин», и с философской и любовной лирикой А. Пушкина.

Обратимся к жанру. М. Богданович, как и его русский предшественник, широко экспериментировал с литературными жанрами, расширяя их возможности и «раздвигая» границы. В связи с этим он придавал особое значение жанровому обозначению своих стихов и всегда стремился к точности. «Вероника» названа не просто поэмой, а «стихотворным рассказом» либо «рассказом в стихах» («вершаванае апавяданне»). Произведение, с одной стороны, обладает теми же особенностями, что и рассказ: невелико по объему, имеет несложный сюжет, повествование ведется от первого лица – рассказывается «история». Однако действительность здесь воспроизводится средствами не только эпическими, но и лирическими. Этому способствуют стихотворная форма и особый образ повествователя, который, по сути дела, превращается в лирического героя. Одинаково, если не более важны как события, так и прямые, открытые выражения чувств и переживаний рассказчика. Обыкновенная житейская история о пробудившейся в сердце юноши любви к подруге детских игр становится исповедью с повышенной эмоциональностью звучания.

Определение «рассказ в стихах» не только точно с точки зрения жанра, оно имеет для читателя, воспитанного на русской литературной традиции, свой ассоциативный ряд. Это «подсказка», призванная отослать читателя к А. Пушкину, назвавшему главное свое произведение роман «Евгений Онегин» «романом в стихах». Очевидно, «дьявольская разница» существует и между просто рассказом и рассказом в стихах, и М. Богданович указывает на это.

Итак, М. Богданович, подобно Данте, «вызывает тень» знаменитого поэта. Все возможные сомнения рассеивает строка из первой строфы: «Схачу свой *вольны* верш пачаць», которая уже прямо адресует к роману свободной формы А. Пушкина («И даль *свободного* романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не ясно различал»)<sup>1</sup>. Следуя избранному принципу свободного в композиционном отношении повествования, М. Богданович как бы обрывает свой рассказ, не досказывает сюжет до конца, иронически обещая читателю закончить его, когда отыщутся «следы Пегаса». Обещание остается невыполненным. Далее следует эпилог, в котором герой спустя много лет оказывается вновь в старом саду, и только вырезанное на коре дерева дорогое имя напоминает

---

<sup>1</sup> Пушкин А. Евгений Онегин. // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. Т. 5. С. 163.

ет о прошлом. Если вспомнить внезапное расставание А. Пушкина со своим героем на самом интересном месте, «в минуту злую для него», то можно высказать предположение, что открытость финала и в «Веронике» преднамеренна, а «Эпилог» выведен за рамки сборника и существует отдельно вовсе не случайно.

Героиня поэмы М. Богдановича, хотя и имеет вполне реальный прототип, персонаж вполне «литературный», т. е. ее образ создается с учетом литературной традиции, в том числе пушкинской. В ее облике есть черты, напоминающие «мечтательницу нежную» Татьяну<sup>1</sup>, которая предстала в воображении А. Пушкина с «печальной думою в очах, с французской книжкою в руках». В поэме М. Богдановича героиня, подобно Татьяне, спасается от одиночества в любимых книгах и тонко чувствует красоту природы:

...з маленства палюбіла  
Хавацца ў сад стары яна,  
Дзе веяла дыханне сна....  
.....  
І забывала Вераніка  
Між зёлак з кніжкай аба ўсём<sup>2</sup>.

Дело, разумеется не в том, что обе героини наделены такими «исключительными» качествами, а в том, *как* об этом сказано, в интонации, особенностях строфики и стихотворного размера.

Душа любимой героини белорусского поэта «ў паўнаце красы ўстае»<sup>3</sup>, оставляя глубокий след в его памяти, становясь его «милым идеалом». М. Богданович – поэт идеальной, возвышенной любви. Его идеалу женщины и женской красоты полнее всего соответствовал образ Мадонны<sup>4</sup>. Материнское начало проступает в его юных героинях, превращая их в возвышенно-прекрасные создания: «У тэй, што с постаццю дзяўчыны / Зліліся мацеры чэрты. / О, як прыхожы-дзіўны ты, / Двайной красы аблік ядыны».

Образ Мадонны в поэзии белорусского автора возник под влиянием великого мастера эпохи Возрождения Рафаэля (имя художника упоминается в тексте поэмы). Рано лишившийся матери М. Богданович в дет-

---

<sup>1</sup> Сходство Вероники с Татьяной Лариной заметила и белорусская критика. См.: Науменко И. Указ соч. С. 296.

<sup>2</sup> Багдановіч М. Ор. cit. С. 97.

<sup>3</sup> Там же. С. 98.

<sup>4</sup> Этой теме посвящено много работ. См. напр.: Зборнік дакладаў. Мінск, 2001; содержащий материалы международной конференции “І прад високаю красою” (1999). Конференция была проведена литературным музеем Максима Богдановича (Минск) и посвящена 130-летию со дня рождения матери поэта Марии Афанасьевны Богданович (в девичестве Мякота).

стве любил смотреть на репродукцию картины итальянского мастера, которую его отцу подарил Максим Горький<sup>1</sup>.

Образ возлюбленной неизменно наделяется эпитетами «чистый», «возвышенный», он рождает «вдохновенье» как у Пушкина, так и у Богдановича. Тут можно вспомнить и пушкинскую «Мадонну», но говорить следует не только и не столько о сходстве, сколько о различии в трактовке этого образа-символа у поэтов. Отметим лишь, что образец «чистейшей прелести» у А. Пушкина – жена и мать семейства.

Попутно отметим все же одно поистине мистическое совпадение. Женщины, внушившие любовь двум великим писателям, имеют одни и те же инициалы. Цикл «Мадонны» М. Богданович посвятил «А. Р. К» (Анне Рафаиловне Кокуевой). Один из лучших образцов любовной лирики А. Пушкина адресован «гению чистой красоты» «А. К.» (Анне Керн).

Возвышенное и будничное переплетается в «рассказе в стихах»: с описанием таинственного и романтического старого сада, где любит уединяться Вероника, соседствует другое видение этого пейзажа – осеннего, ненастного, с чернеющими гнездами ворон. Пожалуй, лишь М. Богданович после А. Пушкина не нарушает поэтичности описания картины природы использованием «непоэтической лексики», словами типа «забор», который к тому же «дырявый», «вороны» и пр. Не создает дисгармонии и ирония, которая органично вплетается в поэтическое повествование о ранней юности: «А іншы ўжо шчыпаў вусы / І лічыў іх гарой красы». Эти особенности стиля поэмы, очевидно, и вызвали у белорусских исследователей ассоциацию с пушкинским гармоничным восприятием жизни.

Эпилог к поэме «Вероника» у М. Богдановича начинается словами, вызывающими в памяти ассоциацию уже не только с романом в стихах. Хотя в последних строках романа А. Пушкин рассуждает о быстротечности жизни, о неизбежных потерях на ее пути, этот мотив наиболее глубоко выражен в известной философской элегии «Вновь я посетил...» (1835). И первые строки из эпилога к «Веронике» адресуют именно к ней:

Ізноў пабачыў я сялібы,  
Дзе леты першыя прайшлі.

Возвращение лирического героя в дорогие сердцу места сопровождается болезненными наблюдениями над следами разрушения, запустения и забвения («сцены мохам параслі»; «Ўсё глуха, дзіка, / Ўсё травой зарасло») и ведет к неутешительным мыслям о быстротечности жизни: «Няма таго, што раньш было».

Однако ни А. Пушкин, ни М. Богданович не приходят к выводу о тщетности всего земного и бессмысленности человеческой жизни. Оба были на редкость жизнеутверждающими поэтами и жизнерадостными людьми. Это особенно поражает в М. Богдановиче, который знал о своей

---

<sup>1</sup> Эта репродукция сохранилась и содержится в музее Максима Богдановича. См.: Зборник... С. 7.

неизлечимой болезни. Философское размышление А. Пушкина: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил, не допив до дна бокала полного вина»<sup>1</sup> – смертельно больной двадцатипятилетний М. Богданович «подхватывает» и делает основным мотивом одного из предсмертных своих стихотворений:

Пралятайце вы, дні,  
Залатымі агнямі.  
Скончу век малады,–  
Аблятайце цвятамі.

Какие твердость духа и жизнелюбие!

Оба автора прославляют в своих стихах вечное движение и обновление жизни. Пушкин предстает стихийным материалистом-диалектиком: «много / Переменилось в жизни для меня, / И сам, покорный общему закону, / Переменился я»<sup>2</sup>. Он вдохновенно приветствует «племя младое, незнакомое». М. Богданович прославляет любовь как вечную непреходящую ценность, наполняющую существование человека глубоким и истинным смыслом: дерево, на коре которого вырезано имя возлюбленной – «манумент жывы». Разрушительной силе времени способна противостоять только сила любви:

Чым болі сходзіць дзен, начэй,  
Тым імя мілае вышэй.

Стихотворения А. Пушкина и М. Богдановича раскрывают радостное, светлое восприятие мира, утверждают радость бытия, что позволяет отнести их к анакреонтической традиции европейской литературы.

Анакреонтические мотивы были широко распространены в русской литературе XVIII – начала XIX в. в поэзии М. Ломоносова, Г. Державина, К. Батюшкова. В раннем творчестве А. Пушкина выделяется целый период, отмеченный глубоким интересом к древнегреческому поэту. Лучшим образцом русской анакреонтики считается его «Вакхическая песня». До конца своих дней А. Пушкин воспевал любовь как наивысшую ценность бытия.

Глубокий интерес к Анакреонту проявлял и М. Богданович. Не исключено, что любовь к поэзии этого древнегреческого автора возникла у белорусского поэта через посредничество пушкинской лирики, так как к концу XIX века А. Пушкин уже воспринимался как символ национальной русской культуры, и его творчество знали, любили, наконец изучали в школе. В то же время программа дореволюционной гимназии предполагала достаточно основательное знакомство с античностью, древними языками и литературой. М. Богданович хорошо знал древние языки. Знание латинского он углубил и расширил, получая юридическое образование. Ему принадлежит перевод на белорусский язык «Памят-

---

<sup>1</sup> Пушкин А. Указ соч. Т. 5. С. 166.

<sup>2</sup> Там же. Т. 3. С. 313.



ника» Горация, интерес к которому, по-видимому, тоже инспирирован русским поэтом. Продолжая традицию Горация и Пушкина, в предсмертном стихотворении М. Богданович пишет:

Ў краіне светлай, дзе я ўміраю,  
У белым доме ля сіняй бухты,  
Я не самотны, я кнігу маю  
З друкарні пана Марціна Кухты.

Этой «книгой» является первый и единственный сборник стихов поэта. Присутствие в стихотворении мотива «Памятника», мысли, что он оставил свой след на земле и «весь не умрет», тонко почувствовал и отразил в переводе на русский язык А. Барахович: «Не так мне горько, я оставляю / «Венок» печатни Максима Кухты»<sup>1</sup>.

Такие стихотворения, как «Маладыя гады...», «Набягае яно...» и др., свидетельствуют о важности воздействия философского и поэтического опыта древнегреческого поэта на белорусского автора. Свое отношение к поэзии Анакреонта М. Богданович выразил и в отдельном стихотворении:

Бледны, хілы, ўсё ж люблю я  
Твой і мудры і кіпучы верш, Анакрэон!  
Ён у жылах кроў хвалюе,  
Ў ім жыццё струю плешча, вее хмелем ён.  
Верш такі – як дар прыроды,  
Винаграднае, густое, цёмнае віно:  
Дні ідуць, праходзяць годы, –  
Але ўсё крапчэй, хмяльнее робіцца яно<sup>2</sup>.

Не совсем случайно, очевидно, и то, что стихи, написанные белорусским поэтом в русле анакреонтической традиции, не имеют названий и называются по первой строчке. Напомним, что у древнегреческих авторов еще не было принято давать названия своим стихам.

Поэзия Анакреонта, как известно, была очень популярна в древней Греции и в античном мире в целом и вызвала множество подражаний. Не чужд этой традиции и один из малоизвестных древнеримских поэтов Флор, прославляющий солнце и вино за то, что они разгоняют

---

<sup>1</sup> С докладом о переводах предсмертного стиха М. Богдановича А. Барахович выступил на конференции, посвященной 110-летию со дня рождения поэта, в Минске в ноябре 2001 г. См. также: *Богданович М. А. Лирика*. Перевод с белорусского автора и А. Бараховича. Н. Новгород, 2001. С. 81. Аркадий Барахович – член Российского союза профессиональных литераторов, поэт, переводчик с белорусского поэзии М. Богдановича, Я. Купалы, Я. Колоса, М. Танка и др.

<sup>2</sup> *Багдановіч М. Ор. cit.* С. 81.

«сумрак ночи» и «сумрак души»<sup>1</sup>. Мы обратили внимание на следующее его четверостишие, помещенное в цикле под общим названием «О том, какова жизнь»:

Грушу с яблоней в саду я деревцами посадил,  
На коре наметил имя той, которую любил.  
Ни конца нет, ни покоя с той поры для страстных мук:  
Сад все гуще, страсть все жгучей, ветви тянутся из букв<sup>2</sup>.

При всем неоспоримом сходстве с мотивом эпилога к «Веронике» М. Богдановича мы все же удержимся от соблазна предположить, что белорусский поэт заимствовал этот мотив у древнего автора. Хотя некоторая зацепка есть. Известно, что на русский язык именно это стихотворение перевел В. Брюсов, который работал над книгой «Золотой Рим: очерки жизни и литературы IV в. по Р. Х.», оставшейся недописанной<sup>3</sup>. М. Богданович хорошо знал поэтическое творчество В. Брюсова и был знаком с ним лично.

Слишком много, однако, возникает вопросов, на которые трудно найти ответы. Неоспорим только факт глубокого знания М. Богдановичем античной литературы и латинского языка. Да и обычай писать на коре деревьев имя возлюбленной стар как мир и продолжает жить. Только гению дано силой поэтического слова банальность превратить в символ великого чувства.

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что белорусский поэт органично вписывается в традиции не только русской, но и европейской литературы.

---

<sup>1</sup> Флор входит в число малоизвестных позднелатинских авторов. Его несколько стихотворений были помещены в «Латинской антологии» и в ее составе дошли до наших дней. «Флор – ритор из свиты Адриана, римского императора II века», – пишет М. Гаспаров. См.: Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 16.

<sup>2</sup> Там же. С. 473.

<sup>3</sup> См. *Гаспаров М.* Поэзия риторического века // Там же. С. 5.

**ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ  
ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР В РОССИИ  
(В. И. ГРИГОРОВИЧ – А. Н. ПЫПИН)**

Устойчивый интерес к изучению, а затем и университетскому преподаванию в России литератур южных и западных славян возник в первой половине XIX в. как неотъемлемая часть пробуждавшегося в русском обществе интереса к славянству в целом. Последний был вызван рядом внутренних и внешних факторов: симпатией к национально-освободительной борьбе славянских народов; внешнеполитическими столкновениями России с Турцией и монархией Габсбургов; осознанием роли древнеславянского (церковнославянского) языка и книжности в истории русской культуры. Но основное влияние на формирование славистики как науки в нашей стране и за рубежом оказал начавшийся во второй половине XVIII в. процесс консолидации славянских наций и упрочения культурных связей между отдельными славянскими народами<sup>1</sup>.

В 1811 г. в Московском университете была учреждена кафедра славянской словесности, «под чем подразумевалось введение должности профессора церковнославянского языка. Занявший кафедру “невольный славист” (по выражению А. А. Кочубинского) Матвей Гаврилович Гаврилов (1759–1829), преподававший одновременно теорию и историю изящных искусств, обучал “правилам славянского языка, излагал его свойства, состояние и ход в разных его периодах и сообщал студентам отборнейшие места на славянском языке” (т. е. церковнославянском)»<sup>2</sup>.

Постепенно интерес к церковнославянскому языку-«прародителю» сменился вниманием к живым языкам, истории и этнографии славянских народов. Согласно введенному в 1835 г. уставу университетов, в составе 1-го отделения философских факультетов учреждалась кафедра истории и литературы славянских наречий<sup>3</sup>. Первыми профессорами-славистами (с очень разным, в силу объективных причин, уровнем профес-

---

<sup>1</sup> Подробнее см.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 1988.

<sup>2</sup> Филологический факультет Московского университета: Очерки истории. Часть I. М., 2000. С. 183.

<sup>3</sup> Ранее (в 1816 г.) решение о введении преподавания славянских языков в Виленском и Варшавском университетах было принято польским правительством. Для подготовки к преподаванию за границу были посланы М. Бобровский и А. Кухарский, но в силу политических причин и личных обстоятельств по возвращении они не смогли приступить к преподаванию славянской филологии. (См. об этом: Ягич И. В. История славянской филологии. СПб, 1910. С. 227–232).

сиональной подготовки<sup>1)</sup> стали: в Московском университете – **Михаил Трофимович Каченовский** (в 1835–1842 гг.) и **Осип Максимович Бодянский** (в 1842–1868 гг.); в Харьковском (в 1837–1847 гг.) и Петербургском (в 1847–1880 гг.) университетах – **Измаил Иванович Срезневский** (сменивший преподававшего в 1843–1846 гг. в Петербурге **Петра Ивановича Прейса**); в Казанском (в 1838–1864 гг.) и Новороссийском (в 1865–1876 гг.) университетах – **Виктор Иванович Григорович**.

Содержание и круг читаемых по кафедре курсов при ее создании не были строго определены, поскольку границы славистики как науки еще только складывались. «Диалектология, география, политическая история, история литератур, древности, даже история изящных искусств, – отмечал И. В. Ягич, – все это входило в славянскую филологию»<sup>2</sup>.

Тем более не ясны были объемы различных славистических курсов и принципы их преподавания. «...Начиналось университетское изложение, – писал И. И. Срезневский, – науки новой не только для России, но и вообще, науки, по которой нельзя было университетскому преподавателю отвечать на неизбежный в то время вопрос “каких руководств придерживается он в изложении предмета”... Не было оспариваемо только то, что преподаватели должны помочь своими слушателям в изучении главных славянских наречий и ознакомить их с достоянием западнославянских литератур; но как, в какой степени, это оставалось на решении доброй воли преподавателей. Вместе с тем самими преподавателями находимо было нужным дать место и истории славян, и этнографическому обзору славянского племени, и славянским древностям, и грамматике древнего церковнославянского языка и т. д. Министерство народного просвещения не посылало от себя преподавателям никаких наставлений...»<sup>3</sup> Лишь в 1847 г. министерство утвердило программу преподавания славянской филологии, но и после этого препода-

---

<sup>1</sup> Так, основные научные интересы М. Т. Каченовского лежали в сфере истории, археологии и риторики; В. И. Григорович был по образованию философом, И. И. Срезневский – специалистом в области юриспруденции, политической экономики и статистики. П. И. Прейс и О. М. Бодянский первоначально занимались изучением русского фольклора и древнерусской литературы. Всем этим ученым пришлось фактически самостоятельно решать, как именно становиться славяноведами и вести преподавание славистических дисциплин.

<sup>2</sup> Ягич И. В. Указ. соч. С. 315.

<sup>3</sup> Срезневский И. И. На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. СПб, 1878. С. 36.

ватели чаще всего действовали «совершенно самостоятельно как относительно частностей содержания, так и относительно убеждений»<sup>1</sup>.

В итоге набор первоначально преподаваемых на кафедре дисциплин формировался под влиянием научной специализации преподавателя и его симпатий к тем или иным славянским народам. Так, например, «...Бодянский постоянно посвящал часть своих изложений объяснительному изложению образцов наречий сербского, чешского и польского... В круг его преподавания входили, кроме славянского народоописания по книжке П. Шафарика... разные части истории литературы сербской, чешской и польской, части политической истории славян, части общесравнительной грамматики славянских наречий»<sup>2</sup>. «Едва ли не центральное место в лекциях Каченовского отводилось общей характеристике славянских языков... Из отдельных языков значительное внимание уделялось церковнославянскому... Из литератур зарубежных славян Каченовский характеризовал почти исключительно чешскую и польскую»<sup>3</sup>.

Наиболее сбалансированным по содержанию был, по-видимому, славистический цикл П. И. Прейса, который в Петербургском университете «в течение трех лет читал параллельно четыре курса: вступительный – по древнейшей истории славян; курс истории, литературы и языка южных славян; курс чешской и словацкой истории и литературы; курс польского языка и литературы, включающий также сведения о культуре лужичан и полабских славян. Кроме того, преподавал сравнительную грамматику славянских языков»<sup>4</sup>. «Этот стройный, многообъемлющий и вместе самостоятельный распорядок чтений, – подчеркивал И. И. Срезневский, – должен остаться памятником в истории славянской филологии»<sup>5</sup>.

Объективность в изложении материала в первые годы преподавания славянской филологии нередко подменяли эмоции; в постулируемых отдельными преподавателями концепциях развития славянских народов ощущались их личные впечатления от путешествий по славянским странам и контактов с зарубежными славистами. «Очевидно играла большую роль романтика, чем научная сторона предмета», – отмечал

---

<sup>1</sup> Срезневский И. И. Указ. соч. С. 21.

<sup>2</sup> Срезневский И. И. Указ. соч. С. 37.

<sup>3</sup> Венедиктов Г. К. К начальной истории славистической кафедры в Московском университете // Советское славяноведение. 1983. № 1. С. 97.

<sup>4</sup> Славяноведение в дореволюционной России: Библиографический словарь. М., 1979. С. 284.

<sup>5</sup> Срезневский И. И. Указ. соч. С. 10.

И. В. Ягич<sup>1</sup>. Это, впрочем, производило яркое впечатление на студентов, способствуя росту новых поколений славистов. Сохранились, например, воспоминания А. Н. Пыпина о В. И. Григоровиче:

«В то короткое время, когда я его слушал, он успел... произвести на меня большое впечатление. Это было нечто совершенно новое, оригинальное и привлекательное... Начиная говорить нам о славянстве, он даже как будто предполагал, что мы уже достаточно знаем всех этих болгар, сербов, поляков, чехов, верхних и нижних лужичан, словаков, хорутан... Мне вспоминается, что меня на первых порах поражало в лекциях Григоровича, каким образом мы до сих пор не имели понятия о стольких народах, нам родственных, и, по словам профессора, столь примечательных... Оставила сильное нравственное впечатление сама личность профессора, с его преданностью науке, с его энтузиазмом, – некоторая наивность которого, в свою очередь, подкупала нас, – с его любящим... отношением к родственным племенам, ожидавшим своего народного развития, – отношением, которое профессор, как бы нимало не сомневаясь, уже предполагал в своих слушателях»<sup>2</sup>.

Упомянув о лекциях И. И. Срезневского, А. Н. Пыпин также подчеркивает искреннюю увлеченность ученого своим предметом и романтическую трактовку им истории славян: «Срезневский вложил в эти (славянские – Е. К.) изучения всю свою энергию и поэтические влечения. Он... из своих странствий... вынес высокое представление о характере и содержании “народности”... Жизнь народная почти представлялась ему выше жизни цивилизованной, поэзия народная... выше искусственной, книжной и личной, другими словами, цивилизация, для своего действительного усовершенствования, должна изучить и воспринять те достоинства, какими обладает патриархальная жизнь народа. Это был учено-народный романтизм, в роде Гримма или Рия»<sup>3</sup>.

Из сказанного ясно, что место и объем курсов славянских литератур в читаемых в первой половине XIX столетия в российских университетах славистических циклах были весьма неопределенными. Да и само понятие «литература» имело гораздо более широкий смысл, нежели ныне. Преподаватели характеризовали в лекциях совокупность разнообразных типов текстов – религиозных, юридических, художественных, научных, рассматривали грамматику и словари, анализировали произведения устного народного творчества. Последним нередко придавалось особое значение как непосредственному выражению национального самосознания. Достаточно вспомнить, например, магистер-

---

<sup>1</sup> Ягич И. В. Указ. соч. С. 311.

<sup>2</sup> Пыпин А. Н. Мои заметки. Саратов, 1996. С. 85–87.

<sup>3</sup> Там же.

скую диссертацию О. М. Бодянского «О народной поэзии славянских племен» (1837) или доклад П. И. Прейса на ежегодных чтениях в Петербургском университете «О эпической народной поэзии сербов» (1845).

При столь широкой первоначальной трактовке понятия «литература» изложение материала в соответствующих курсах неизбежно носило фрагментарный характер. Отсутствовала единая концепция литературного процесса как для отдельных народов, так и для славянства в целом. Не хватало обобщающих научных работ и систематизирующих факты учебных изданий. Все это затрудняло усвоение предмета. Характеризуя славистический компонент университетской программы, А. Н. Пыпин отмечал: «...чувствовался... большой пробел в общих, цельных, руководящих книгах. Хорошо, если профессор обратит внимание на такое положение дела и даст пропедевтический курс; но обыкновенно этого не делается, и «молодой ученый», приступая к занятиям... оказывается на первых порах в своем предмете, как в дремучем лесу...»<sup>1</sup>

Одной из первых попыток устранения произвольности и фрагментарности в преподавании славянских литератур стали труды В. И. Григоровича (1815–1876). В 1840-х гг. в «Ученых записках» Казанского университета им были опубликованы «Краткое обозрение славянских литератур» (1841, кн. 1) и «Опыт изложения литературы славян в ее главнейших эпохах» (1843, часть 1: эпохи 1 и 2), за которую автору в 1842 г. была присуждена ученая степень магистра. Гораздо позже, в 1880 г., под названием «Обзор славянских литератур» вышел из печати курс лекций В. И. Григоровича, прочитанный им в конце 1860-х гг. в Одессе<sup>2</sup>.

Во вступлении к лекциям автор излагает собственную концепцию обучения славистов: «В первом курсе мы познакомились с славянскими народами со стороны их языка... Взявши за нормальную единицу язык церковнославянский, мы пытались искать в нем «тип» славянских наречий... Мы видели, что славянские наречия действительно более или менее приближаются к этому типу и носят его в себе... Целью второго курса наших занятий было специальное изучение церковнославянского языка... чтобы доказать его индогерманское происхождение... В третьем курсе... мы отыскивали местность, занятую славянами, и характерные черты их быта... Теперь в 4-м курсе нам предстоит познакомиться с литературой сла-

---

<sup>1</sup> Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 88.

<sup>2</sup> Обзор славянских литератур: Лекции В. И. Григоровича, читанные им студентам IV курса Новороссийского университета в 1868–1869 академическом году. Записаны слушателем его А. Смирновым. Воронеж, в Типографии Губернского Правления, 1880.

вян и тем довершить наши познания в области нашей специальности (курсив везде авторский – *Е. К.*)<sup>1</sup>».

Итак, для В. И. Григоровича изучение славянских литератур было высшей, завершающей стадией обучения славистов, формирующей у них обобщающий взгляд на славянство и частные методики его изучения.

В том же курсе лекций Григорович сформулировал два возможных принципа изложения материала в учебных пособиях и курсах истории славянских литератур: «Группировать наш предмет, – отмечал он, – можно или по народам, или принимая в соображение общий ход развития литературы славянских народов. В последнем случае можно изучать литературу по эпохам и столетиям; в первом же можно говорить о литературе южных славян (болгар, сербов, хорутан) и о литературе западных (чехов, поляков, лужичан)»<sup>2</sup>.

В основу своей магистерской работы – сочинения о «литературе славян в ее главнейших эпохах» В. И. Григорович положил второй принцип, точнее, попытался совместить оба принципа при ведущей роли хронологического подхода. В развитии славянских литератур он выделил «шесть периодов или отделов: 1) от IX в., то есть от введения христианства и распространения славянского богослужения, до половины XI столетия, когда славяне разделились на славян западного и восточного вероисповедания; 2) от половины XI до начала XV, то есть до появления Гуса у западных славян и первых споров католицизма с православием... 3) от начала XV до 1620 г. у западных славян, то есть до возобладания иезуитизма, и 1634 г., то есть до основания Киевской Академии, с которой началась у восточных славян схоластическая ученость, имеющая влияние не только на русских, но и на сербов – время религиозной борьбы; 4) с 1634 г. до половины XVIII столетия, то есть до появления Ломоносова, Конарского, Крамериуса, Обрадовича и других – время застоя у западных славян и какой-то тупой привязанности к букве у нас; 5) от появления великих двигателей славянского слова до появления романтизма – век всеобщего пробуждения умов; 6) наш век – век национального сознания»<sup>3</sup>. Заметим, что многое в данной периодизации сохранило значение до сих пор.

В каждом из периодов рассмотрение славянских литератур у В. И. Григоровича ведется по регионам (западный и южный). В регио-

---

<sup>1</sup> Обзор славянских литератур... С. 3–4.

<sup>2</sup> Обзор славянских литератур... С. 5. Правда, географические рамки рассматриваемого региона оставались у В. И. Григоровича подвижными: как будет показано ниже, в изложении нередко включались также факты истории и литературы восточных славян.

<sup>3</sup> Обзор славянских литератур... С. 8.



нах дается характеристика произведений отдельных литератур по жанрам. Большое место занимают исторические обзоры. Так, например, глава о второй эпохе содержит очерк истории славян в XI–XIV вв. (излагаемый в духе их борьбы за этническую чистоту и культурную самобытность с немцами и греками); затем общую характеристику литературы этого периода с акцентом на формирование национальных языков и выделением специфики западного и южного регионов; наконец, рассмотрение для каждой страны наиболее значимых произведений, подразделяемых на «религиозную», «деловую», историческую литературу (включая «жизнеописания героев и святых» и «путешествия») и «поэзию», куда входят: стихотворные тексты, прославляющие христианство в противовес «Востоку», то есть мусульманам – у восточных славян, поэзия рыцарская (у западных славян), а также бытовая, сатирическая, дидактическая и «индивидуальная» (любовная).

Структуру книги и периодизацию истории славянских литератур определяет философская концепция В. И. Григоровича. В ее основе – идея облагораживающего влияния христианства на культуру славянских народов. По Григоровичу, до принятия христианства славяне не были способны заявить о себе миру и оставались лишь игрушкой исторических судеб. «Христианизм для славян в их местности был истинным очищением, внутренним воспитанием, школою, из которой они должны были выступить с предопределением действовать во всемирной истории»<sup>1</sup>. Соответственно, изложение ведется автором по этапам развития в славянских культурах христианской идеи вплоть до «примирения ее с действительностью» и «первых моментов народности славянской литературы».

Сочинения В. И. Григоровича отличает горячая симпатия к славянству и славянам, стремление поставить их в один ряд с другими обитателями Европы, сожаление о медленных темпах развития славянских народов в прошлом. «Род славянский так же древен в Европе, как и германский... но история славян мало ознаменовалась всемирностью»<sup>2</sup> – так начинает свою книгу автор. Лишь к середине XIX в., по мнению ученого, вполне выявилась историческая миссия славянства: «...Нам удалось отыскать в религиозных, политических, семейных и других воззрениях славян их оригинальность и самостоятельность, хотя и задержанные в своем развитии, но все же время от времени дававшие и особенно ныне дающие себя почувствовать»<sup>3</sup>. Искренняя вера в самобытность и величие

---

<sup>1</sup> Опыт изложения литературы славян в ее главнейших эпохах Виктора Григоровича. Часть I. 1 и 2 эпохи. Казань, печатано в университетской типографии, 1843.

<sup>2</sup> Опыт изложения литературы славян... С. 3.

<sup>3</sup> Обзор славянских литератур... С. 3.

славянских культур заставила В. И. Григоровича позднее критически отнестись к концепции развития славянских литератур, предложенной А. Н. Пыпиным и В. Д. Спасовичем. «Труд капитальный и самостоятельный, – писал он об их монографии “История славянских литератур”, – если вычеркнуть предвзятые идеи, из которых выходят они на поприще осмеяния не понятого ими славянского патриотизма. Пыпин, зажмуривши глаза, не хочет видеть в славянской культуре не только никакого движения, но и никакой оригинальности, самостоятельности в характере»<sup>1</sup>.

Труды В. И. Григоровича демонстрируют специфику восприятия славянства и задач славяноведения в первой половине XIX в. Славяне в эту эпоху даже в академической науке часто мыслятся как единый народ или «племя», обладающее «общей» литературой (пусть и написанной на нескольких «наречиях»). Показательны названия курсов лекций И. И. Срезневского: «История и литература славянских наречий», «Новая история славянской литературы» (везде единственное число!). Главные закономерности «единого пространства славянской литературы» и пытался вскрыть Григорович.

В иную эпоху развития отечественного славяноведения создавались фундаментальные исследования о славянских литературах А. Н. Пыпина (при участии В. Д. Спасовича)<sup>2</sup>. Середина и вторая половина XIX в. ознаменовались усилением общественно-политического интереса к славянской проблематике. Славянский мир, по словам А. Н. Пыпина, все больше входил в русскую общественную и научную мысль, увлекая идеей объединения славян представителей различных направлений. М. М. Погодин «составлял целые планы славянского единства. Н. И. Костомаров, один из создателей Кирилло-Мефодиевского общества, мечтал о славянском братстве и “будущей федерации славянских племен”... В московско-славянофильском кружке возникла “идеалисти-

---

<sup>1</sup> Обзор славянских литератур... С. 5.

<sup>2</sup> Обзор истории славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. СПб: В типографии О. И. Бакста, 1865; История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Изд. 2-е. Т. 1–2. СПб: Типография М. М. Стасюлевича, 1879–1881. В дальнейшем мы будем характеризовать преимущественно второе издание, отличающееся от первого большим объемом, включением литературного материала второй половины 1860–1870-х гг. и отсутствием обзора истории русской литературы, которому А. Н. Пыпин посвятил отдельный труд.

ческая теория об особенностях греко-славянского мира в судьбах цивилизации и необходимости для нас славянского общения»<sup>1</sup>.

В 1858 г. в Москве создан Славянский комитет, задачей которого стала культурно-просветительская деятельность и помощь югославянским народам. Подобные комитеты появились затем в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе<sup>2</sup>. Одновременно с празднованием в 1862 г. в Новгороде тысячелетия русской государственности (призвания на Русь варяжских князей) предлагалось столь же пышно отметить тысячелетие создания славянской письменности в день памяти первоучителей Кирилла и Мефодия. Российские славянофилы принимали участие в состоявшемся в Праге в 1863 г. торжественном собрании в честь тысячелетней годовщины прибытия славянских апостолов в Моравию. Наконец, открывшаяся в Москве в 1867 г. Всероссийская этнографическая выставка послужила поводом для проведения первого в нашей стране славянского съезда. Его лейтмотивом была идея «лидирующего положения России в семье славянских народов – права младшего брата, ставшего сильным и могущественным, опекать старших, лишенных своей государственности... Съезд воспринимался его организаторами... как первый шаг к воссоединению славянских племен»<sup>3</sup>.

В ходе дискуссий в западной прессе о целях внешней политики немецких государств и Российской империи на славянских землях одновременно с понятием «пангерманизм» формируется концепция «панславизма» как крайнего политического заострения идеологии славянофильства<sup>4</sup>. «...Европейская печать стала приписывать России панславистские замыслы и интриги, – отмечал А. Н. Пыпин, – и едва ли именно не под влиянием европейских толков явилось ожидание, что “славянские ручьи сольются в русском море”»<sup>5</sup>.

В подобных условиях специалистам-славяноведам нередко приходилось высказываться по общественно-политическим вопросам, и даже изложение истории славянских литератур приобретало отчетливую полемическую окраску.

---

<sup>1</sup> Подробнее об этом см.: А. Н. Пыпин о славянской идее в истории российского славяноведения // Проблемы славяноведения: Сборник научных статей и материалов. Вып. 3. Брянск, БГУ, 2001. С. 415–420.

<sup>2</sup> Подробнее см.: *Никитин С. А.* Славянские комитеты в России в 1858–1876 годах. М., 1960.

<sup>3</sup> *Майорова О.* Славянский съезд 1867 г.: Метафорика торжества // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 94.

<sup>4</sup> См.: Славяноведение в дореволюционной России. С 5.

<sup>5</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. 34.

Симптоматично, что фундаментальные литературоведческие исследования – «Обзор истории славянских литератур» (СПб, 1865) и «История славянских литератур» (2-е переработанное издание, Т. 1–2, СПб, 1879–1881), целью которых стало дать их «общий обзор... для читателей неспециалистов и вместе с тем руководство, указание основных фактов и пособий изучения, для желающих познакомиться с предметом ближе»<sup>1</sup>, были созданы не преподавателями или кабинетными учеными, а скорее общественными деятелями, журналистами и публицистами. **Владимир Данилович Спасович** (1829–1906) более известен современникам как адвокат<sup>2</sup>, историк культуры, основатель польских периодических изданий «Атенеум» в Варшаве (1876) и «Край» в Петербурге (1882). В обоих трудах им написаны разделы о польской литературе в соответствии с общей концепцией А. Н. Пыпина<sup>3</sup>.

Оба автора, правда, в молодости готовили себя к университетскому преподаванию. **Александр Николаевич Пыпин** (1833–1904), ученик В. И. Григоровича и И. И. Срезневского, в годы студенчества в Казани и Петербурге интересовался главным образом историей древней и новой русской литературы, защитив в 1857 г. диссертацию «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских». «В свое время я за-

---

<sup>1</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. VII. В первом издании А. Н. Пыпин более подробно мотивировал необходимость появления обзорного труда по истории славянских литератур на русском языке: «Первым поводом к составлению настоящей книги было желание дополнить русское издание «Всеобщей истории литературы» И. Шерра – пока единственной книги этого рода на русском языке – изложением истории славянских литератур, слишком недостаточно поданной немецким писателем. После первого цельного, впрочем почти только библиографического, обзора славянских литератур Шафарика (1826) и после опытов Тальви (1837, 1850) и г. Григоровича (1841, 1843) – опытов и в свое время не вполне удовлетворительных – до сих пор не было книги, которая бы выполняла подобную задачу для нашего времени» (Обзор истории славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. С. I.).

<sup>2</sup> «Я был по профессии юрист, – пишет В. Д. Спасович в предисловии ко второму тому «Истории славянских литератур», – никогда не изучал специально филологии, занимался литературой в свободные минуты» (История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 2. С. XII).

<sup>3</sup> «Я принялся за работу в полной уверенности, что мы сойдемся и что наше сотрудничество будет залогом того, что, несмотря ни на что, помимо страданий, развалин и свежих ран те основания отношений (имеются в виду отношения России и Польши после 1863 г. – *Е. К.*), о которых мы мечтали, восторжествуют и прерванное сближение восстановится» (История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 2. С. XIII).

нимался славянскими предметами, вероятно, не меньше других своих товарищей-современников, – вспоминал он, – но я не сделался славистом, т. е. не сделал славянских предметов своей специальностью. Точно так же я не сделался славянофилом...»<sup>1</sup>.

Предполагалось, что А. Н. Пыпин займет в Петербургском университете вновь созданную кафедру всеобщей (западноевропейской) литературы. С этой целью он был в 1858–1859 гг. командирован за границу и посетил Германию, Францию, Англию, Швейцарию и Италию. Дважды А. Н. Пыпин побывал в Праге, где познакомился со многими деятелями Чешского национального возрождения. По возвращении он стал экстраординарным профессором, но в 1861 г. вместе с группой коллег вышел в отставку в знак протеста против политики правительства по отношению к университетам и с этого времени занимался исключительно литературной и научной деятельностью. А. Н. Пыпин сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Современник» и «Вестник Европы», создал около 1200 работ по истории русской и зарубежной литературы, общественной мысли, этнографии, археографии и фольклору. При этом в течение всей жизни уделял внимание литературе, фольклору и этнографии зарубежных славян.

Концепцию трудов А. Н. Пыпина определили культурно-исторический подход, трактовка литературы как отражения «умственной» и общественной деятельности народа. Специфику и особенности развития славянских литератур, их вклад в мировую культуру он напрямую связывал с историческими судьбами славянских народов. По мнению Пыпина, «славянские литературы с точки зрения всеобщей истории цивилизации не имеют такого важного значения, какое принадлежит главнейшим литературам Западной Европы. Еще до недавнего времени славяне были почти совершенно удалены от того движения общечеловеческого развития, деятелями которого были западные народы... Славянское племя позднее других европейских народов вступило на историческое поприще и едва выходило из патриархального быта, когда галльские и германские племена уже завязали связи с преданиями античной цивилизации и христианством... Далее, прежде чем славянские племена успели сплотиться в крепкие государства, большая доля их... подпали страшным азиатским нашествиям, другие... пали в борьбе с германцами и мадьярами»<sup>2</sup>.

В соответствии с общей концепцией названия глав в «Истории славянских литератур» говорят о народах, а не литературах: «Болгары»,

---

<sup>1</sup> Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 200.

<sup>2</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. 3.

«Югославяне» и т. п. Внутри больших разделов проведено разграничение народов одного «племени» или «частных» литератур «ветвей» одного «языка». Так, к «югославянам» относятся «сербо-хорваты» и «хорутане»; к «чешскому племени» – чехи и словаки; литература «русского племени» распадается на «южнорусскую» (украинскую и белорусскую), литературу галицких русинов и т. д.

В обеих книгах А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича заострен публицистический аспект. Трижды, в предисловии, в разделе «Историческая судьба славянского племени. Вопрос о национальном единстве» и в завершающей главе «Возрождение» (в первом издании она носит еще более красноречивое название «Возрождение и панславизм») А. Н. Пыпин обращается к проблеме доисторической общности славян, дает характеристику российского славянофильства, излагает собственные взгляды на «славянскую взаимность».

Первое издание начинается с констатации, что «известная часть нашей литературы... проповедует... панславистское слияние разделенных народов в одну национальную массу и принимается благотворительно “славянским братьям”, не спрашиваясь их самих». «Мы желали бы, – продолжает Пыпин, – чтобы факты, которые читатель найдет в этой книге, дали ему понятие о том, каково должно быть... наше разумное отношение к “братьям”»<sup>1</sup>.

Соглашаясь, что «в новейшее время для славянских народов наступил новый оригинальный период их развития, когда в разделенных до толе племенах... обнаружилось стремление к единству... к обособлению целой славянской национальности»<sup>2</sup>, автор все же полагает, что общность славян в древности и сознание ими своего исторического родства в значительной мере преувеличены его современниками. «Уже в очень древнюю эпоху славянство было разбито на столько отдельных народностей, рассеяно было на таком огромном пространстве, перепутано и поставлено в политические связи с такими разнообразными чужими племенами, что уже для того времени трудно говорить о славянском единстве... Славянские народы оказались в различных положениях: часто они не подозревали взаимно своего существования; связи их имели характер случайный и ограничивались ближайшим соседством, и во всяком случае лишены... какой-либо общей национальной идеи»<sup>3</sup>.

Возврат к изначальной «славянской общности», даже если признать ее существование, по Пыпину, едва ли возможен. «Славянские патристические теоретики соглашались, что внешняя судьба народностей была

---

<sup>1</sup> Обзор истории славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. С. I.

<sup>2</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. 3.

<sup>3</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. 21–23.

различна... но утверждали постоянно, что единство имело и имеет... достаточно оснований в общности языка, народных преданий, обычаев и общественных понятий и что, развившись в настоящее время, оно будет торжеством славянского племени». Однако, возражает автор, «филологическое родство языков говорит о прежнем единстве, но не составляет достаточного средства объединения в такую эпоху, когда в практическом употреблении эти языки уже непонятны один другому, когда народы разошлись и в прошлой истории и в современном политическом быте»<sup>1</sup>.

«Как пойдет некогда славянское развитие, – подводит итоги Пыпин, – это вопрос будущего, но загадывать о том, что оно даст миру новую невиданную цивилизацию – есть поэтическая мечта, которая до сих пор была только вредна, потому что питала только самообольщение в людях, и без того им слишком зараженных»<sup>2</sup>.

Нетрудно сделать из этого вывод о том, что история, культура и, в частности, литература славян должна изучаться самостоятельно для каждого из народов. И действительно, после введения, содержащего общие этнографические и статистические сведения о славянах и их языках, изложение ведется по отдельным литературам, а в рамках каждой – по эпохам, причем исторический контекст доминирует над литературным. Приведем, например, внутреннюю рубрикацию третьего раздела главы 3, озаглавленного «Галицкие русины»: «Исторические замечания. – Древняя связь Галицкой Руси с Киевской. – Отдельная история с XIII века. – Присоединение к Польше в 1387 году. – Участие в народном движении Южной Руси в XVI–XVII веках. – Упадок. – Присоединение к Австрии. – Новейшее возрождение. – Маркиан Шашкевич и его кружок. – 1848 год. – Влияние украинской литературы. – Галицкие партии «старорусская» и «народная». – Современные писатели. – Национальное возрождение в Руси Угорской. – Народная поэзия». Относительно «литературно» выглядит лишь рубрикация раздела «Чехи» и главы «Польское племя». Перечислим лишь общие заголовки, выделенные разрядкой. Для чешской литературы: «Древний период. Предания православной славянской письменности... – Гуситское движение и «золотой век» чешской литературы. – Период падения. – Возрождение литературы и народности»; для польской: «Древний период до половины XVI века (реформации). – Золотой или классический век литературы (1548–1606). – Период иезуитский макаронический (1606–1764). – Период короля Понятовского (1764–1796) и времена пораздельные до по-

---

<sup>1</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. 23–24.

<sup>2</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 1. С. 34.

явления польского романтизма (1796–1822). – Период Мицкевича (1822–1863)».

Соответственно, оценка литературных произведений дается преимущественно с точки зрения отражения ими национальной специфики и их влияния на судьбу народа и всего славянства. Так, например, ведущая роль отводится (помимо русской) чешской литературе, которая «имеет значение не только в среде собственных славянских отношений, но и более широкий интерес общеисторический, как самый народ чешский оказал сильное и блестящее вмешательство в судьбы западно-европейского просвещения». Чешская литература, полагает автор, «любопытна как отражение истории племени, поставленного в непосредственную связь и борьбу с германством»<sup>1</sup>.

Поэтому Пыпин подробно характеризует творчество «патриотов» – чешских поэтов и драматургов эпохи Национального возрождения. А о крупнейшем поэте-романтике К. Г. Махе сказано лишь, что он «стоит особняком», что «у него были задатки для крупной деятельности» и «начал он в обычном народнолюбивом стиле», но «был натура мечтательная... постоянно преданная рефлексии... им овладевал разлад между идеалом и действительностью, природой и человеческим обществом...», и это настроение «выразилось в его главном произведении “Май”, который недружелюбно встречен был критикой педантической...» Справедливости ради, впрочем, автор добавляет: «Это отрицательное направление было... как говорят, только преходящим, и Маха был накануне возвращения к более реальной поэтической деятельности, когда его настигла безвременная смерть»<sup>2</sup>.

Созданные в традициях культурно-исторической школы в полемике с концепцией славянофилов<sup>3</sup>, труды А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича закрепили в отечественном литературоведении преоб-

---

<sup>1</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 2. С. 783.

<sup>2</sup> История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 2. С. 962.

<sup>3</sup> «В литературах славянских настоящее издание вызвало много сочувствий, которые надо отнести к моему взгляду на значение славянского возрождения, – отмечал А. Н. Пыпин, – но в отзывах русской славянофильской критики разных оттенков даже признание важности моей работы высказывалось в тоне более или менее враждебном... Мои понятия о предмете очень не сошлись ни с чистым славянофильством, ни с его популярными (и особенно фальшивыми) повторениями, и книга моя вызвала разные нападения с этой стороны... Меня обвиняли... во враждебности к “народным началам” славянским и русским, в желании выставить ярче то, что делит племена, вместо того, чтобы утверждать их единство» (История славянских литератур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича. Т. 2. С. VII, XI).



ладающую тенденцию освещения истории славянских литератур по отдельным странам с учетом прежде всего национальной специфики.

Прослеживая дальнейшую судьбу курсов истории славянских литератур в университетах России, можно говорить о сохранении в славистике до начала 1920-х гг. принципов преподавания XIX в. с главенством лингвистического аспекта. Литературоведческих трудов, эквивалентных работам А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича, в этот период создано не было<sup>1</sup>.

Несмотря на проведенный в 1920-е гг. в МГУ интересный эксперимент с «циклом южных и западных славян»<sup>2</sup> и сообщение отдельных сведений о славянах в общих курсах, читавшихся в 1930-х гг. в МИФЛИ и ЛИФЛИ, можно констатировать практическое отсутствие университетского преподавания славянских литератур в довоенный период. Столь же sporadическим было и их академическое изучение в Институте славяноведения АН СССР в Ленинграде, Кабинете славяноведения Библиотеки Академии Наук, Институте литературы, искусства и языка Комкадемии и других менее специализированных организациях<sup>3</sup>.

Ситуация изменилась лишь в 1940-е гг. с открытием Института славяноведения АН СССР в Москве и воссозданием кафедр славянской филологии в университетах. Кафедры были сформированы как коллективы преподавателей различных филологических дисциплин славистического цикла. Деятельность кафедр отныне ориентировалась на практическое освоение студентами живых славянских языков при основательном изучении соответствующих литератур.

В послевоенные годы Институтом славяноведения АН СССР (ныне Институт славяноведения РАН) при участии университетских специалистов велись систематические исследования истории славянских литератур, увенчавшиеся фундаментальными изданиями 1990-х гг. («Исто-

---

<sup>1</sup> Это не значит, конечно, что исследование славянских литератур не велось. Статьи и заметки о славянских писателях принадлежат перу профессора Московского университета Р. Ф. Брандта. Записи его лекций были изданы под названием «Обзор славянских литератур: Краткая история литературы болгарской, сербской, словенской и чешской» (1913, 2-е изд., 1915). Аналогичные учебные пособия публиковал приват-доцент, затем профессор Киевского университета А. И. Степович: «Очерк истории чешской литературы» (1886), «Очерки из истории славянских литератур» (1893), «Очерки истории сербохорватской литературы» (1899).

<sup>2</sup> Филологический факультет Московского университета: Очерки истории. Часть I. С. 196–198.

<sup>3</sup> Подробнее см.: Аксенова Е. П. Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000. С. 116–130.

рия литератур западных и южных славян». Т. 1–3. М., 1997–2001; «История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны». Т. 1–2. М., 1995–2001). В них сохраняется принцип раздельного описания литератур, что обусловлено прежде всего исторической судьбой славянских народов в XX столетии: обретением ими государственной независимости, самостоятельностью внутренней и внешней политики в постсоветский период.

Структурно эти издания близки трудам А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича: после обобщающих разделов (об общей специфике развития славянских литератур в сопоставлении с европейскими и о славянском фольклоре в первом издании; о Восточной Европе как литературном регионе во втором) изложение ведется по отдельным литературам. Имеются, правда, два существенных отличия: во-первых, наиболее общее членение (на части и тома) осуществляется по хронологическому принципу (выделены крупные исторические эпохи); во-вторых, логику расположения материала определяют закономерности литературного процесса (разумеется, при достаточном учете исторического и общественного контекста творчества писателей). Принимая во внимание эти факторы, композицию обоих изданий следует признать в высшей степени продуманной и четкой.

Однако положительное значение сохраняет, на наш взгляд, и опыт обзорного обобщающего изложения истории славянских литератур в традициях В. И. Григоровича. Подобная сравнительная характеристика наиболее ярких произведений литератур славянских стран по отдельным историческим периодам, художественным течениям и жанрам уместна там, где речь идет об ознакомительных курсах для непрофессиональной аудитории, основная задача которых – создать у слушателей представление о богатстве и многообразии славянских литератур при их внутреннем родстве между собою.

*Н. Н. Старикова*

**СЛОВЕНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
(ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СЛАВИСТИКИ)**

Изучение литературы Словении в России насчитывает уже более ста лет, и этапы становления российского словенистического литературоведения в целом совпадают с эволюцией всей отечественной славистики. Исследование специфики литературного процесса одного славянского народа – составляющая всего комплекса славистического литературоведения, которое, в свою очередь, есть одно из важнейших направлений славяноведения в целом. В данных заметках речь пойдет как о последних пятидесяти годах, вместивших в себя и советский и постсоветский этапы функционирования литературоведческой словенистики, так и об истории российской славистики в целом, без знакомства с которой невозможно адекватное представление о развитии рассматриваемой отрасли знаний.

История научного славяноведения в России восходит к 1725 г., когда была создана Академия наук. Уже к концу первой трети XIX в. академическое славяноведение становится самостоятельной областью науки. На смену интеграционным процессам приходит тенденция к дифференциации научных дисциплин славистического комплекса. Начинается интенсивное развитие славянского литературоведения (прежде всего в рамках сравнительно-исторического направления и культурно-исторической школы). Российские филологи занимаются историей славянских литератур и творчеством отдельных писателей. Выдающимся сводным трудом стала «История славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича (СПб., 1879–1881. Т. 1–2), в которой впервые в ряду других была рассмотрена и словенская литература. В дальнейшем одним из главных популяризаторов и исследователей словенской литературы в России становится академик Ф. Е. Корш (1843–1915), познакомивший российскую общественность с творчеством крупнейшего поэта первой половины XIX в. Ф. Прешерна<sup>1</sup>.

В 1890-е гг. после реорганизации Академии наук Отделение русского языка и словесности (ОРЯС) превратилось в координационный центр российской славистики. Отделение издавало «Известия ОРЯС» и «Сборник ОРЯС», на страницах которых публиковались славистические исследования и материалы не только российских, но и зарубежных

---

<sup>1</sup> См. об этом подробнее: *Н. Старикова*. Поэзия Прешерна в русских переводах и литературной критике. // Славянский альманах 1999. М., 2000.

учёных. То есть уже в самом начале века славяноведение предполагало стать международным. Инициативу по подготовке международного конгресса славистов взял на себя именно ОРЯС. В апреле 1903 г. в Петербурге состоялся предварительный съезд русских филологов-славистов и историков-славистов. Обсудив ряд важнейших вопросов, среди которых были организация международного съезда славистов, создание славянской энциклопедии, подготовка словаря церковнославянского языка, межславянский книжный обмен, славянская библиография, издание древних церковнославянских памятников и др., участники предложили учредить в университетах специальные кафедры истории славянских народов и разделить кафедры славянской филологии – на кафедры славянского языкознания и кафедры славянских литератур.

После окончания съезда русских славистов ОРЯС приступило к подготовке международного съезда славистов, но русско-японская война и революция 1905–1907 гг. в России помешали его проведению. В 1910 г. в ОРЯС возник проект Союза славянских академий, и были проведены необходимые подготовительные работы, однако первая мировая война перечеркнула эти планы.

Вскоре после Октябрьской революции начался процесс включения академической науки в сферу партийно-государственного влияния. Реорганизация научной работы происходила с учётом внедрения в неё марксизма как «единственно верной» методологической основы всех отраслей знания. Однако в первое послереволюционное десятилетие Академия ещё сохраняла относительную самостоятельность в организационном отношении и в вопросах научного творчества, ещё работали специалисты «старого закала», в идеологическом и методологическом плане далёкие от марксизма. Затем эмиграция и репрессии второй половины 1920-х – середины 1930-х гг. привели к значительным изменениям в кадровом составе. Процессы «встраивания» науки в новую систему захватили и славистику, положение которой оказалось очень уязвимым. Она подвергалась критике как «отжившая», «буржуазная» наука, которая отождествлялась с панславистской идеологией.

Первая попытка создания в рамках советской Академии наук учреждения, исследующего славянский мир, его историю и культуру, опираясь на совокупность исторических, лингвистических и литературоведческих дисциплин, была предпринята в 1931 г. в Ленинграде. Организованный там Институт славяноведения должен был с позиций новой идеологии начать комплексное изучение исторического прошлого и современного состояния языков и литератур как зарубежного, так и «отечественного» (живущего на территории СССР) славянства. Кроме того, в круг исследований входили и неславянские народы, являющиеся соседями славян. То есть в основу был положен региональный принцип подхода

к объекту изучения. Наряду с филологическими работами, значительное место в планах Института занимали исторические исследования, особенно касавшиеся современности. Несмотря на конъюнктурный подход к разработке определённой проблематики, происходило некоторое расширение тематических и хронологических границ исследований. За время существования Института вышли в свет два тома «Трудов» (Л., 1932–34), начала налаживаться работа, но тут грянуло «дело славистов», повлёкшее за собой репрессии учёных, славяноведение было объявлено «реакционной наукой», а Институт в 1934 г. закрыт. На какое-то время славянские исследования были полностью прекращены. В атмосфере вульгарно-социологических представлений об общественных науках в стране установилось недоверчивое отношение к самому упоминанию о родстве славян, о славянском вопросе, к изучению славянских древностей и памятников письменности, связанных с религией и церковью.

Научные разработки истории славянских литератур теоретически должны были перейти в ведение двух академических институтов: Института русской литературы (Ленинград) и Института мировой литературы (Москва), но на деле не были реализованы.

Некоторый перелом в отношении к славяноведческой науке наметился на рубеже 1930–40-х гг. и был обусловлен прежде всего внешнеполитическими факторами. В связи с корректировкой во внутренней и внешней политике СССР изменилось отношение к славянской идее. Реальная угроза фашистской агрессии против Восточной Европы привела к тому, что на смену борьбы с «панславизмом» пришла пропаганда единства и вековых связей славянских народов, родства их языков и близости культур. Объединение сил славянских и неславянских народов перед лицом нависшей опасности, проводившееся под руководством Советского Союза, требовало необходимого идеологического обеспечения и определённого уровня знаний о славянах и их соседях. Таким образом, общественные запросы сделали в это время славяноведение наукой, получившей поддержку со стороны властей.

Борьба славян против фашизма стала мощным стимулом для расширения сферы приложения славяноведения. Соответствующие разработки велись в Институте истории, Институте русского языка, Славянской комиссии АН СССР. Была очевидна необходимость четко спланированной и достаточно широкой разработки славянской тематики. Уже во время войны обсуждались перспективы создания единого научного учреждения, в котором было бы сосредоточено изучение комплекса проблем, связанных с жизнью славянских народов. Образование после второй мировой войны военно-политического и экономического блока социалистических государств, основу которого составили славянские страны, наряду с факторами развития самой науки, укрепили позиции

славяноведения в СССР (хотя само это понятие было сужено, т. к. изучение восточных славян было отнесено к области отечествоведения). Однако в этом случае практика оказалась мобильнее теории: в 1943 г. в МГУ в дополнение к кафедре истории южных и западных славян открылась кафедра славянской филологии под руководством Самуила Борисовича Бернштейна.

Решение об организации в Москве Института славяноведения было принято через два года: 30 мая 1946 года. Первым его директором стал академик Б. Д. Греков. В январе 1947 г. институт начал работу, став научным и координационным центром славистических исследований не только в системе Академии наук, но и в целом в стране.

У истоков славянского литературоведения стояли Н. И. Кравцов (один из первых исследователей словенской литературы), С. П. Обнорский, С. В. Никольский, В. И. Злыднев, А. П. Соловьева и многие другие. В 1950 году было создано подразделение Института в Ленинграде. Научные разработки развивались в нескольких направлениях, тесно связанных между собой. С одной стороны, исследовались отдельные периоды и явления тех или иных литератур, творчество отдельных, как правило, крупных писателей. С другой, усилия были направлены на осмысление общего развития литератур южных и западных славян, на подготовку историй национальных литератур, потребность в которых ощущалась как в вузах (Московский, Ленинградский, Киевский университеты), так и в литературной, журналистской, дипломатической среде. Ведь если не считать «Новейшей польской литературы» А. И. Яцимирского (СПб, 1908), отечественные читатели располагали только уже вышеупомянутой «Историей славянских литератур» А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича, доведённой авторами лишь до середины XIX века. Систематизированных сведений о развитии литератур западных и южных славян за последнее столетие в стране тогда практически не существовало. Именно в 50-е гг. в Институте была начата работа по созданию историй национальных литератур зарубежных славянских народов.

Конечно, в этот период славистическое литературоведение в целом и изучение литератур народов Югославии, в том числе словенцев, были ориентированы общественным сознанием на социальную роль и гражданскую функцию литературы и её интерпретации. Однако изменения, произошедшие в общественном сознании в середине 50-х гг., особенно после 1956 г., сказались не только на литературе, но и на науке о литературе. Этот год принёс надежды на свободное развитие общества и его культуры в странах Восточной Европы. Надежды не осуществились, но импульсы развития, которые получил литературный процесс (а вместе с ним неизбежно – и процесс осмысления результатов творчества)

продолжали действовать. Они характеризуются расширением контактов с мировой литературой XX века, обращением авторов ко всей совокупности национальных литературных традиций. Исторической необходимостью в литературе были противопоставлены ценность и неповторимость личности, было отвоено право на художественный эксперимент. Литературоведение не могло не отозваться на эти изменения. Авторы большинства исследований стремились сочетать историко-литературный подход к рассматриваемым явлениям с их теоретическим осмыслением. Так, в конце 60-х гг. в центре литературоведческих дискуссий о литературе XX века (в СССР и в ряде социалистических стран) оказалась проблема социалистического реализма. В советском литературоведении, а вслед за ним и в литературоведческой науке большинства социалистических стран он считался универсальным методом литературы социалистического этапа. На практике же он превращался в сумму норм и требований, предъявляемых коммунистической идеологией художнику: наиболее полно отвечающими его критериям признавались конъюнктурные политические произведения. К началу 70-х гг. в СССР была выдвинута концепция социалистического реализма как исторически открытой эстетической системы (работы Д. Ф. Маркова). Для того времени это была смелая концепция, направленная против агрессивно-нормативного толкования социалистического реализма, утверждающая многообразие его истоков и художественного спектра, его «открытость». Она вызвала резкую критику со стороны партийного руководства и ортодоксальных литературоведов. Конечно в годы «застоя», и даже в начальные годы «перестройки» подход к исследованию современных литератур страдал неполнотой охвата явлений и определенной идеологической скованностью, вследствие чего сглаживались многие острые углы, а о целом ряде фактов вообще приходилось умалчивать. Далеко не все зависело от самих исследователей. Им, как правило, оставалась недоступной обширная эмигрантская, самиздатовская, диссидентская литература, большие трудности возникали на издательской стадии.

И всё же, несмотря на идеологическое декретирование и методологическую несвободу, историки славянских литератур в 1960–80 гг. делали свое дело, создав определённую научную базу, на которую в настоящее время могут опираться литературоведы-слависты. Определенные трудности, в большей степени идеологического и политического характера, встали на пути учёных, обративших свои исследования к достижениям литератур многонациональной Югославии. Они привели в конечном итоге к тому, что очерки истории литератур народов Югославии увидели свет лишь совсем недавно, тогда как истории других

славянских литератур разных периодов (польской, чешской, словацкой, болгарской) начали выходить уже со второй половины 60-х гг.

В 1995 г. в первом томе «Истории литератур стран Восточной Европы после второй мировой войны. 1945–1960 гг.», подготовленном литературоведами Центра по изучению литератур стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН опубликована глава (написанная ведущим научным сотрудником института Г. Я. Ильиной) «Литература Югославии», в которой много внимания уделено словенским авторам. Во втором томе этого издания (2001), освещающем 1970–80-е годы, словенская литература указанного периода представлена отдельной главой, написанной Н. Н. Стариковой. В «Истории литератур западных и южных славян» (Тт. I, II – 1997, III – 2001) словенской литературе посвящены отдельные главы: о литературе средневековья писала Л. К. Гаврюшина, о литературе Нового времени – Т. И. Чепелевская и М. Л. Бершадская, о литературе рубежа веков и межвоенного периода М. И. Рыжова и В. В. Сонькин. В целом за период существования в институте славяноведческой специализации (т. е. за полвека) увидели свет свыше ста научных публикаций, связанных со словенской тематикой. Уже в самом начале работы историков литературы Института понимание специфики и дифференцированное исследование национальных традиций каждой из литератур народов, составляющих СФРЮ, были налицо. Хочется особо привлечь внимание к учёному, чей вклад в изучение и популяризацию именно словенской литературы был огромен, к той, кого фактически можно назвать пионером советской литературоведческой словенистики, – к Евгении Ивановне Рябовой. Её нет с нами более 20 лет, и на её работах уже выросло следующее поколение литературоведов-словенистов. Памяти Е. И. Рябовой была посвящена конференция «На рубеже веков (Проблемы развития славянских и балканских литератур конца 19 – начала 20 века)», прошедшая в Институте славяноведения в 1989 г.

Е. И. Рябова (1925–1976), уроженка Твери, выпускница МГУ (сербо-кroatист), пришла в Институт в 1954 г. и проработала там всю жизнь, свыше 20 лет, вплоть до своей безвременной кончины. В 1956 году она защитила диссертацию, исследующую творчество крупнейшего хорватского писателя второй половины XIX века Августа Шеноа «Август Шеноа и его роман “Крестьянское восстание”». В дальнейшем в сферу ее научных интересов попала словенская литература, и она много и плодотворно занималась исследованием особенностей литературного процесса в Словении в 20 веке. Это такие ключевые проблемы, как развитие, становление и модификации реализма, проблемы социального реализма и его жанровая систематизация, вопросы специфики формирования словенской национальной критики, проблема литературных



связей России с южными славянами. Е. И. Рябова принимала участие во многих научных конференциях Института, посвящённых вопросам славянского литературоведения, например, в симпозиуме «Сравнительное изучение славянских литератур», 1971; «Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций», 1974.

Наряду с немногими филологами, знавшими тогда словенский язык, Евгения Ивановна много сил отдала также переводческой деятельности, став одним из настоящих популяризаторов прозы словенских писателей в СССР. Благодаря её самоотверженной работе советские читатели получили возможность познакомиться с творчеством М. Краньца, И. Потрча, Ф. Бевка, П. Зидара, Ю. Козака, Ц. Космача, И. Цанкара. Её можно назвать первым в Советском Союзе профессиональным исследователем поэтики И. Цанкара, о чем свидетельствуют ряд серьезных научных статей, посвященных художественному методу этого выдающегося словенского прозаика, а также блестящий перевод его романа «На улице бедняков» и великолепные вступительные статьи к цанкаровским изданиям. Назову лишь несколько важнейших концептуальных академических исследований: «К характеристике «социального» реализма в словенской литературе» (в кн.: «Формирование социалистического реализма в литературах южных и западных славян», 1963), «Основные направления в межвоенной словенской литературе» (в кн.: «Зарубежные славянские литературы, XX век», 1970), «Иван Цанкар и литературные течения в словенской литературе конца 19 начала 20 века» (в кн.: «Литература славянских и балканских народов конца 19 начала 20 в. Реализм и другие течения», 1976), «Новое в спорах о реализме и модернизме в Словении» – посмертно (в кн.: «Литературная критика европейских социалистических стран», 1978), «Общественно политические и философские взгляды Ивана Цанкара» – посмертно (Балканские исследования, вып. 7, 1982). Даже при самом беглом взгляде на этот ряд обращает на себя внимание самостоятельность и независимость выбора тем и сюжетов исследований.

Как видно из представленных наименований, Е. И. Рябова не только много внимания уделяла И. Цанкару, но была также одним из первопроходцев в изучении нереалистических течений в славянских литературах XX века и их вкладе в литературу в целом, несмотря на известное предвзятое и весьма скептическое отношение к ним, распространенное тогда в официальном советском литературоведении. Благодаря её усилиям (и усилиям многих её коллег по Институту: Л. Н. Будаговой, Р. Ф. Дорониной, В. В. Витт, Г. Я. Ильиной, С. А. Шерлаимовой) было положено начало преодолению этого априорно настороженного подхода к существующим явлениям и представлен их серьезный анализ.

Историк литературы уже в силу самого предмета своего изучения вынужден столкнуться с принципом «историзма», важнейшим в системе ключевых мировоззренческих понятий. Прилагаемый к разного рода бытию, этот принцип всякий раз особо преломляется, ибо он, по мысли современного теоретика литературы А. В. Михайлова, размышляющего о проблемах исторической поэтики, не является готовым и сложившимся «инструментом», а «в исследовательском процессе должен быть заново создан... и должен отразить в себе свойства материала, с которыми взаимодействует»<sup>1</sup>. Отсюда – необходимость осмысления истории литературы как процесса со своими внутренними закономерностями, и как процесса, где всякое явление, всякий факт может существовать лишь на своем, предопределенном развитии, месте, и где любые явления и факты не могут быть связанными между собой иначе, как в самом процессе развития, через него.

Россия, как известно, – страна крайностей, и как сказал недавно о специфике современных литературоведческих подходов и методологий профессор МГУ Л. Г. Андреев: «Маятник – эмблема российского менталитета»<sup>2</sup>. Литературоведческая наука в этом не исключение. Совсем недавно уверенно произносимое слово «реализм» теперь заменено на постмодернизм (или на любой другой «изм»). В свете этих «шараханий» современной литературной критики, и славистической в частности, не менее конъюнктурных, чем предыдущие «идеологически подкованные» умозаключения, оказывается особенно ценной позиция учёных, которые вели и ведут себя профессионально и достойно.

Приведу только один пример. В 1978 году (то есть в разгар советского «застоя» и югославского «свинцового» десятилетия) в сборнике «Литературная критика европейских социалистических стран» в рубрике «Проблемы традиций в марксистской критике» была опубликована посмертная статья Е. И. Рябовой «Новое в спорах о реализме и модернизме в Словении», которую, по свидетельству одного из членов редколлегии этого издания, непосредственного участника событий Ю. В. Богданова, удалось напечатать, только замаскировав под марксистскую критику (сыграло роль также то, что эта публикация была подготовлена автором незадолго до смерти). Эта небольшая (объемом 0,4 а. л.) работа фактически оказалась первым знакомством русскоязычного читателя со спецификой словенской внутрилитературной ситуации конца 1960-х – начала 70-х гг. Конечно, без противопоставления реа-

---

<sup>1</sup> Михайлов А. В. Проблемы исторической поэтики в истории немецкой культуры. М., 1989. С. 64.

<sup>2</sup> Андреев Л. Г. Литература конца XX века и современное литературоведение // Литературоведение на пороге XXI века. М., 1998. С. 17.

лизма, «характеризующегося стремлением к анализу важнейших проблем современности» и модернизма как «кризисного мироощущения, уверенного в вечной непримиримости личности и общества»<sup>1</sup> автору статьи обойтись не удалось, именно на этом антагонизме композиционно построена заметка (все-таки, в середине 70-х в советском литературоведении, акцент в сторону равноправия этих направлений был ещё невозможен). В то же время в этой небольшой статье содержится весьма существенная и совершенно новая информация. Впервые на страницах советского издания открыто констатируется, что в словенской литературе на современном этапе представлены авторы «различных эстетических ориентаций» и налицо сосуществование двух разнонаправленных литературных течений. При этом подчёркивается злободневность и критическая заострённость творчества ряда модернистских авторов, которые «пытаются критически рассмотреть важные проблемы современного общества: проблему власти, проблему современного мещанства, потребительства»<sup>2</sup>. Также здесь впервые представлена краткая характеристика творчества не только уже известных в Союзе писателей реалистического направления, таких, как М. Кранец, Ц. Космач, И. Потрч, Б. Зупанчич, Л. Кракар, М. Михелич, но и незнакомых русскоязычному читателю и не исследованных советской критикой модернистов. Упомянуты Д. Смоле и его драма «Антигона», П. Козак и его пьеса «Афера», романы В. Кавчича «Туда и обратно», «По ту сторону и дальше», поэзия Д. Зайца, также сделана попытка найти в отдельных произведениях нереалистического направления позитивные черты. Наряду с известными и даже публиковавшимися в Союзе литературными критиками Б. Зихерлом и Й. Видмаром, не только называются, но и цитируются молодые и энергичные теоретики модернизма Я. Кос, Т. Кермаунер, Н. Графенауэр, раскрывается суть полемики Й. Видмара с модернистами (книга «К нашей ситуации» (1973), вызвавшая большой резонанс своей полемикой с Кермаунером).

Наука о литературе движется вперёд не только через раскрытие новых фактов, освоение ранее недоступных областей, создание новых методов, но – в известные эпохи – не в последнюю очередь через самокритику, через самопознание своих начал, через анализ «аксиоматического уровня» научного сознания. Обращение к своей истории необходимо литературоведению для того, чтобы уяснить и проверить свой путь, вспомнить и собрать всё ценное, что было им создано. Однако, помимо этой традиционной задачи в наши дни намечается и новая функция

---

<sup>1</sup> Рябова Е. И. Новое в спорах о реализме и модернизме в Словении // Литературная критика европейских социалистических стран. М., 1978. С. 297.

<sup>2</sup> Ibid. С. 298.

литературоведения, связанная с осознанием того, что любое относящееся к науке о литературе знание включено в непрерывный поток осмысления. Литературоведение таким образом само находится в движении относительно движущегося материала.

В настоящее время литературоведы-словенисты М. И. Рыжова, Н. М. Вагапова, Т. И. Чепелевская, Н. Н. Старикова, Ю. А. Созина, продолжая развивать традиции уже ушедших от нас Н. И. Кравцова и Е. И. Рябовой, в своих научных изысканиях делают успешные попытки описать и проанализировать литературную жизнь Словении с историко-теоретической, социальной, культурологической, эстетической точек зрения, опираясь на принцип «осознанного» историзма. Естественная смена поколений, происходящая в российской литературоведческой словенистике, несмотря на неизбежное (в условиях всех произошедших как в Словении, так и в России общественно-политических изменений) столкновение точек зрения и совершающийся пересмотр иерархии литературных ценностей, лишь подтверждает, что «раздвинутый идеологический занавес», открывая необозримый мир культуры, даёт право на свободную и объективную интерпретацию.

## ИСТОРИЯ

---

В. П. Гудков

### **К ИЗУЧЕНИЮ РУССКИХ СВЯЗЕЙ ВУКА КАРАДЖИЧА. КАРАДЖИЧ И АЛЕКСАНДР ТУРГЕНЕВ**

Контакты корифея сербской культуры Вука Стефановича Караджича с гражданами и жителями России и выявление творческого соучастия русских современников в жизни и деятельности великого серба – давняя и все еще не исчерпанная тема исторического славяноведения.

Наступившее идеологическое раскрепощение отечественной науки с устранением идейно-политических ограничений советского времени, накладывавших вполне определенную печать на оценочные суждения о деятелях и делах прошлого и обуславливавших их прямолинейно-догматическое ранжирование по признаку «прогрессивный / реакционный», позволяет ныне более объективно осветить круг русских знакомых Караджича, его корреспондентов, рецензентов его изданий и непредвзято оценить роль каждого из них в судьбе сербского ученого и его трудов.

Необходимо критическое осмысление всей литературы о русских связях Вука, в которой есть и фактические ошибки, и тенденциозная идеологическая ретушь в трактовке некоторых эпизодов биографии Караджича. Все еще возможно пополнение источниковедческого корпуса сведений о контактах Вука с русскими и откликах в России на его труды путем более широкого и тщательного обследования архивных собраний и российской периодики.

Остается недостаточно изученной важная веха в жизни Караджича – его поездка в Россию, куда в декабре 1818 г. отправился Вук сразу после выхода в свет его «Сербского словаря», ставшего манифестом и воплощением реформы сербского литературного языка, его графики и орфографии. «Путешествие сербского лексикографа» (по выражению самого Вука) продолжалось почти десять месяцев. Из них около четырех месяцев Караджич находился в российских столицах: с 25 февраля (9 марта) 1819 г. по 26 мая (7 июня), т. е. три месяца, в Петербурге, а с 31 мая (12 июня) по 18 (30) июня, т. е. две с половиной недели, в Москве<sup>1</sup>.

В биографической литературе эта поездка описана бегло и скупо. Показательно, что в созданной Любомиром Стояновичем хрони-

---

<sup>1</sup> *Добрашиновић Г. Вукова путовања // Ковчежић. Прилози и грађа о Доситеју и Вуку. Књ. 5. Београд, 1963. С. 86–87.*

кальной биографии Караджича пребыванию Вука в России посвящены всего две страницы из семисот пятидесяти.

Нет единогласия в освещении и оценке причин и мотивов, побудивших Караджича отправиться зимой, несмотря на инвалидность (он, как известно, был хром и не мог ходить без деревянного костыля), в дальнюю дорогу. Согласно высказываниям самого Вука, известным из его писем, он надеялся достичь три конкретные цели: 1) заключить договор с Российским Библейским обществом об издании перевода на сербский язык Нового завета; 2) получить средства на обследование сербских монастырей на предмет выявления в них рукописных и иных древностей; 3) выхлопотать пенсию, которую российские власти предоставляли многим сербским беженцам – участникам освободительного антитурецкого восстания<sup>1</sup>.

Биографы небезосновательно присовокупляют к названным «материальным» мотивам еще и стремление Вука заручиться знаками одобрения его деятельности со стороны авторитетных представителей русского общества и государства. Так, Голуб Добрашинович писал: «Момент [поездки] не был случайным. В начале года Вук женился, вскоре родился его сын. В конце года вышел из печати словарь. Первое требовало материального обеспечения; второе – еще и моральной поддержки. Вук должен был предчувствовать, что произведение, в котором впервые самым последовательным образом выражены и реализованы его революционные преобразования, вызовет негодование и нападки со стороны соотечественников. Поэтому он захватил с собой тридцать свежепереплетенных экземпляров словаря»<sup>2</sup>. Сходное определение целей путешествия сербского филолога в Россию фигурирует во многих публикациях, в частности в работах П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова<sup>3</sup>.

Однако Миодраг Попович, автор биографии, изданной к столетию со дня смерти Вука, усмотрел глубинную подоплеку обращения Караджича к русской стороне в ином: в его тактическом лавировании между католической Европой и православной Россией. После женитьбы на «швабице» Анне Краус, писал М. Попович, Вук «сам, кажется, испугался чрезмерного приближения к Австрии и католикам. Венчанье в католическом храме и использование латинской буквы йот вели не только к обострению конфликта с митрополитом Стратимировичем, но и к отчуждению от собственного народа. Это, судя по всему, и явилось причиной того, что он, не договорившись предварительно с Ернеем Копитаром, в

---

<sup>1</sup> Стојановић Љ. Живот и рад Вука Стеф. Караџића. Београд, 1924. С. 184.

<sup>2</sup> Добрашиновић Г. Вук и Руси // Ковчежић. Прилози и грађа о Доситеју и Вуку. Књ. 6. Београд, 1964. С. 36.

<sup>3</sup> Дмитриев П. А., Сафронов Г. И. Из истории русско-югославянских литературных и научных связей. Ленинград, 1975. С. 124.

декабре 1818 г. внезапно покинул Вену и почти без денег выехал в направлении православной России»<sup>1</sup>.

Прежде чем комментировать суждения, содержащиеся в приведенной цитате, следует отметить, что книга заслуженного литературоведа, историка сербской литературы XIX в. Миодрага Поповича является, в отличие от хроникально-объективистского труда Любомира Стояновича, беллетризованно-публицистическим освещением жизненного пути Караджича. Повествовательной манере М. Поповича свойственно настойчивое стремление автора увязать описываемые события, эпизоды, взаимоотношения персонажей с противоборством политических сил на Балканах, в Австрии и в России. Не везде, однако, это сделано равно убедительно, местами в оценках автора очевиден пристрастный социально-политический схематизм. При том, повествуя о жизни и деяниях Вука эссеистическим слогом, М. Попович позволял себе порой игнорировать исторические факты и весьма вольно осветил некоторые ситуации и эпизоды<sup>2</sup>.

В выезде Караджича в начале декабря 1818 г. из Вены он увидел, что следует из вышеприведенной цитаты, чуть ли не бегство Вука от австрофила Копитара. На самом деле не кто иной как Ерней Копитар подготовил поездку Караджича в Россию. Согласно сведениям, содержащимся в давно опубликованных документах, обзор которых представлен в известной монографии В. А. Мошина<sup>3</sup>, именно Копитар, активный сторонник идеи перевода Библии на современные славянские языки, предложил Британскому, а через него Российскому Библейскому обществу кандидатуру Вука Караджича в качестве переводчика Нового завета на язык сербского народа. Он вел переписку об этом проекте с полномочными лицами и, по словам В. А. Мошина, «через Аделунга непосредственно готовил в Петербурге почву для визита Караджича»<sup>4</sup>.

Знаменательно, что в официально оформленном соглашении об издании перевода Копитар самостоятельно фигурирует как участник планируемого дела. В договоре, подписанном Вуком в Петербурге 15 апреля 1819 г., читаем: «Комитет Российского Библейского общества, при-

---

<sup>1</sup> *Поповић М.* Вук Стеф. Караџић. Београд, 1964. С. 125.

<sup>2</sup> На проявления неоправданного субъективизма в работах М. Поповича уже указывалось в филологической литературе. См., например: *Гавела Ђ.* Вук у својој породици // *Ковчежић.* Књ. 11. Београд, 1973. С. 108–109; *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Еще раз на тему «Вук Караджич и Россия» // *Из истории славяноведения в России (Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 649).* Тарту, 1983. С. 67–76.

<sup>3</sup> *Мошин В.* Вуков Нови завјет // *Сабрана дела Вука Караџића.* Књ. 10. Београд, 1974. С. 511–522.

<sup>4</sup> *Мошин В.* Указ. соч. С. 521.

емля вызов находящегося здесь сербского уроженца г-на Вука Стефановича, известного по литературным трудам своим, перевести на сербский язык книгу Нового завета и иметь смотрение за печатанием оной, положил воспользоваться сим удобным случаем для споспешествования распространению чтения Слова Божия между единоплеменным и единоверным нам народом сербским. В вознаграждение за сей предприемлемый г-м Вуком Стефановичем труд комитет определяет ему пять тысяч рублей... О способах к напечатанию сербского Нового завета Комитет Великобританского и Иностранного Библейского общества, приешлющий в сем издании равномерное участие, не оставит войти в сношение с известным в Вене г. Копитаром, который может также уведомлять об успехах в производстве сего дела»<sup>1</sup>.

Приведенный документ и личные письма Караджича недвусмысленно говорят о том, что помыслы и ожидания отправлявшегося в Россию Караджича были далеки от версии Миодрага Поповича. Сирый и убогий Вук стремился обеспечить своей семье элементарный материальный достаток и изыскать средства для реализации своих творческих планов.

Его приезд в Россию был, как уже сказано, подготовлен Копитаром. В свете этого непреложного факта странно читать в книге М. Поповича: «Копитар был недоволен поездкой Вука на восток. Опасаясь, что Вук, находясь в России, совсем отвратится от Вены и Австрии, он непрестанно, иногда неоднократно в одном и том же письме, повторял: «Постарайтесь скорее вернуться»<sup>2</sup>. Более чем сомнительно, что преданный науке славист Копитар, обращаясь к своему подопечному, руководствовался исключительно политическими пристрастиями. За его понуканием стояла, скорее всего, забота о безотлагательном возвращении Вука к исполнению ширококомасштабных научных замыслов.

Благодаря усилиям Копитара, рекомендовавшего Вука Караджича, во-первых, Библейскому обществу как литератора, способного перевести Новый завет на сербский язык, и, во-вторых, направившего Вука посредничеством Ф. П. Аделунга к ученому меценату Н. П. Румянцеву, приезд Караджича был в Петербурге ожидаем.

26 марта 1819 г. Вук писал своему покровителю: «В чистый вторник я прибыл сюда живым и здоровым. Аделунг, г. Р[умянцев] и все прочие приняли меня самым наилучшим образом»<sup>3</sup>. Далее он сообщал, что уже выполнил два дела: достиг соглашения с Библейским обществом о переводе Нового завета и договорился с Н. П. Румянцевым о получении субсидии на обследование древностей (надо полагать, в первую

---

<sup>1</sup> Мошин В. Указ. соч. С. 522.

<sup>2</sup> Поповић М. Указ. соч. С. 128.

<sup>3</sup> Караџић В. С. Писма. Београд, 1947. С. 32–33.



очередь рукописей), хранящихся в сербских монастырях, а к третьему делу (имелись в виду хлопоты о регулярной пенсии) еще не приступил.

Общение Караджича с людьми разного статуса в Петербурге и Москве не ограничилось деловыми контактами и переговорами. Скромный тридцатилетний серб, простолюдин, не имевший ни дворянского достоинства, ни ученых титулов, был введен в круг российской интеллектуальной элиты, где ему оказывалось, можно сказать, беспрецедентное внимание. Кроме служащих Библейского общества и графа Румянцева с его учеными сподвижниками – членами «румянцевского кружка», Вука радушно принимали президент Российской Академии А. С. Шишков<sup>1</sup>, знаменитый историк Н. М. Карамзин, поэт И. И. Дмитриев, историк и издатель журнала М. Т. Каченовский. Караджич познакомился с В. А. Жуковским и другими выдающимися деятелями русской культуры. Польщенный трогательным приемом, он писал впоследствии Лукиану Мушицкому: «Могу сказать Вам, что в Москве я был подлинно ВО ЦАРСТВѢ СЛАВЫ МОЕЯ!»<sup>2</sup>

Филологи и историки, касаясь темы связей Караджича с Россией, пытались раскрыть и осмыслить подоплеку необычайно широкого и активного интереса российских интеллектуалов к новому знакомому – выходцу из далекой Сербии. Объяснения находились разные.

Так, ленинградские слависты П. А. Дмитриев и Г. И. Сафронов в статье, опубликованной в 1965 г. в Югославии, утверждали: «...До приезда и во время пребывания Вука Караджича в России его труды были довольно хорошо известны русской научной общественности. Не случайно поэтому, что где бы ни бывал Караджич в России, ему всегда оказывались большие почести и внимание»<sup>3</sup>.

Высказывание, что труды Вука были «довольно хорошо» известны в России до 1819 г., когда он появился со своим словарем в Петербурге, является, конечно, необоснованным преувеличением. Авторы статьи смогли привести лишь одно русское издание, вышедшее до 1819 г., в котором названы грамматика Караджича и опубликованные им народные сербские песни: напечатанное в 1817 г. сочинение А. Х. Востокова «Опыт о русском стихосложении». Вряд ли беглое упоминание в этой специальной работе имени сербского филолога могло

---

<sup>1</sup> Следует заметить, что в литературе о Вуке Караджиче Российская Академия нередко ошибочно идентифицируется с Академией наук. Так, в частности, в книге М. Поповича (с. 129).

<sup>2</sup> *Караџић В. С.* Писма. С. 52–53.

<sup>3</sup> *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Вук Караджич и Россия // Сборник Матице српске за књижевност и језик. Књ. XIII / 2. Нови Сад, 1965. Здесь статья цитируется по переизданию в сборнике: *Дмитриев П. А., Сафронов Г. И.* Сербия и Россия (страницы истории культурных и научных взаимосвязей). СПб, 1997. С. 107.

принести Вуку большую известность. Показательно, что редактор московского журнала «Вестник Европы» М. Т. Каченовский, пристально следивший за отечественными и зарубежными публикациями о славянстве, не знал трудов Караджича до его появления в Москве и судил в том же 1817 г. о сербском языке только на основании анонимного «славяно-сербского» словаря 1790 г.<sup>1</sup>

Миодраг Попович объяснял особенное расположение и внимание русских к Вуку Караджичу иначе. Он усмотрел в этом действии двух разнородных факторов: характерного для русского общества страстного интереса к литературе (цитируя соответствующее свидетельство Вука) и, с другой стороны, стремления официальных лиц обаять Караджича, чтобы через него усилить влияние России на сербов.

Аргументируя этот второй тезис, М. Попович писал: «Чрезмерно любезный министр юстиции Дмитриев даже вышел навстречу Вуку в прихожую и, пока они не сели, “поклонился десять раз, повторяя, что это для него *достопамятнейший день*”<sup>2</sup>. Министр кланялся с определенной целью: в 1819 г. царская политика старалась любым способом привязать сербов к России»<sup>3</sup>.

Тут М. Попович попал впросак. Его трактовка поведения хозяина дома – плод элементарной неосведомленности и идеологической предвзятости. Поэт И. И. Дмитриев, к которому Вука послали А. И. Тургенев и Н. М. Карамзин, принимал гостя-славянина в Москве как частного лица. Его служба в должности министра правосудия закончилась отставкой еще в 1814 г., после чего поэт доживал свой век в старой столице, томясь и тоскуя. Его подавленное настроение запечатлено в письмах оставшимся в Петербурге друзьям. Так, 16 марта 1816 г. он писал А. И. Тургеневу: «Искренне благодарю Вас, милостивый государь любезный Александр Иванович, за доставление копии с высочайшего указа о издании Библии на славянском и русском языках. [...] Благодарю Вас не меньше и за то, что вспомнили отшельника, дремлющего на пепелище в ожидании долгой ночи. Он совершенно сиротствует. Петербург завладел и друзьями его, и московскими сладкопевцами»<sup>4</sup>. Обращаясь к тому же А. И. Тургеневу 25 мая 1819 г., Дмитриев сетовал: «Грустно жить как в чужой семье, далеко от всех, которых любил»<sup>5</sup>. Направление Караджича к И. И. Дмитриеву было со стороны петербуржцев, очевидно, своеобразным выражением внимания и сочувствия старому другу.

---

<sup>1</sup> Известие о Словаре немецко-сербском // Вестник Европы. М., 1817. № 22.

<sup>2</sup> Цитата из письма Вука Караджича Л. Мушицкому.

<sup>3</sup> Поповић М. Указ. соч. С. 129.

<sup>4</sup> Русский архив. Год V, 1867. С. 1084.

<sup>5</sup> Дмитриев И. И. Сочинения. Т. II. Проза. Письма. СПб, 1893. С. 248.

В письме Мушицкому, малый фрагмент которого привел М. Попович, Вук снабдил русское выражение «достопамятнейший день», которым охарактеризовал Дмитриев встречу с сербом, пояснением самого поэта: «достопамятнейший день, потому, мол, что ему писали обо мне и Тургенев, и Карамзин»<sup>1</sup>. Ясно, что радушие, с которым Дмитриев встретил Караджича, было естественным выражением старческой расстроганности, а отнюдь не лицемерной маской державного чиновника.

Взвешенно-объективное видение факторов, предопределивших теплый прием Караджича в Петербурге и Москве, находим в напечатанной одновременно с книгой М. Поповича статье Радована Лалича «Вук и русские». Югославский литературовед-русист отметил некоторые типичные обстоятельства и приоритеты, характеризовавшие интеллектуальную жизнь русского общества первой четверти XIX в. и своей сутью благоприятствовавшие успеху поездки Караджича. По мнению Лалича, труды Вука были созвучны духовной атмосфере русской интеллектуальной среды того времени, а сама незаурядная личность их автора очаровала русских.

Лалич писал: «В России Вук Караджич очень быстро нашел понимание и поддержку со стороны ученых, историков и филологов, и со стороны писателей. Как и другие славяне, русские в первой половине XIX в. переживали свое культурное возрождение, но у них оно имело иные формы, нежели у других родственных народов, у которых культурное возрождение сопрягалось с борьбой за национальное освобождение. Поскольку русский народ был в национальном отношении свободным, возрожденческие тенденции, наряду с борьбой за социальное раскрепощение, проявлялись в изучении национального прошлого и современной народной жизни, в стремлении обрести в русской культуре и особенно в литературе свое собственное национальное выражение. Труды Вука Караджича, его книги – сборники сербских народных песен, грамматика, словарь – вызвали большой интерес деятелей русской науки и культуры, поскольку открывали для них неведомые дотоле ценности, имевшие свой смысл и значение для литературного и культурного движения в России.

Живому интересу к деяниям Вука могли способствовать и древние сербско-русские связи, и стремление российской культурной общности, усилившееся под влиянием славянского возрожденческого процесса, как можно лучше познакомиться со славянскими народами. Но все же главным импульсом этого интереса был сам Караджич, его дела и его необыкновенная личность. Впечатление, произведенное сербским филологом, было чрезвычайно сильным. Вряд ли в то время еще кому-

---

<sup>1</sup> *Karadžić B. C. Писма. С. 53.*

либо из славянских писателей его возраста мог быть оказан прием, какой встретил Вук в России в 1819 году»<sup>1</sup>.

Суждения Р. Лалича представляются весомыми и достоверными. Действительно, первая четверть XIX столетия отмечена в летописи России обостренным вниманием активного слоя образованного общества к национальной истории, к научным изысканиям в этой области, равно как и на ниве истории словесности. Среди живо обсуждавшихся и осмысливавшихся тем был вопрос о природе русского языка, о его отношении к церковнославянскому и к другим родственным языкам. Как писал историк науки С. К. Булич, «никогда раньше и никогда после наши общелитературные журналы не обнаруживали такого живого интереса к языку и языкознанию и не помещали так часто статей филологического и грамматического содержания, как в течение первой четверти XIX в.»<sup>2</sup>.

В этих условиях пребывание в Петербурге и Москве Вука Караджича, который привез свой словарь экзотического для тогдашних русских сербского языка и имел намерение издать в России свой перевод Библии, оказалось, несомненно, желанным событием для многих российских ученых и литераторов, охотно и приветливо общавшихся с пришельцем из «инославянского» мира, тружеником на поприще своей славянской национальной культуры.

Из писем Караджича и других документальных свидетельств той поры в основном известен круг людей, с которыми Вук познакомился и встречался во время его пребывания в России. Остается, однако, не вполне проясненным непраздный вопрос, как устанавливались и развивались контакты и связи с деятелями русской культуры и какова роль отдельных лиц в осуществленных в России делах Вука.

В книге М. Поповича читаем: «В Петербурге Вука принимали и привечали князья, министры, академики и писатели. Но более всего его успеху способствовали друг Копитара немец Фридрих Аделунг, ректор Института восточных языков<sup>3</sup>, которого в Петербурге звали Федор Павлович, и Петр Иванович Кеппен, увлеченный исследователь древностей, бывший лет на пять моложе Вука. Именно Аделунг первый представил Вука русским ученым и объяснил им достоинства его творчества. По ходатайству Аделунга русский меценат граф Румянцев обещал Вуку субсидию в 400 рублей для обследования сербских монастырей с доставкой научного отчета. Точно так же Аделунг выступал в апреле 1819 г. посредником при заключении договора между петербург-

---

<sup>1</sup> Лалић Р. Вук и Руси // *Анали филолошког факултета*. Књ. IV. Београд, 1964. С. 233–234.

<sup>2</sup> Булич С. К. *Очерк истории языкознания в России*. СПб, 1904. С. 68.

<sup>3</sup> Хронологическая небрежность. Аделунг был назначен директором Института восточных языков гораздо позже, в 1824 г.

ским Библейским обществом и Вуком Стефановичем о переводе на сербский язык Нового завета»<sup>1</sup>.

Данная М. Поповичем оценка роли Аделунга и Кеппена в российских контактах Караджича неточна. Участие того и другого в делах Вука значительно, но привели сербского филолога к историографу и писателю Карамзину, к поэтам Жуковскому и Дмитриеву не они.

В цитированном выше письме Вук сообщал Копитару, что в российской столице его «наилучшим образом встретили Аделунг, г. Р[умянцев] и прочие». За этим перечнем лиц, без объяснений, кто есть кто, угадывается подтекст: Караджич увидел тех, кого и ожидал увидеть, т. е. петербуржцы, в частности граф Румянцев и Аделунг, были предуведомлены о визите Вука и готовы к встрече.

Как известно, видный государственный деятель Николай Петрович Румянцев, откликаясь на возросший после Отечественной войны 1812 г. общественный интерес к национальной истории, направил свое избыточное состояние на стимулирование и организацию научных исследований, главным образом на разыскание, изучение и публикацию исторических источников. Покровитель наук Н. П. Румянцев, как констатирует в монографии «Колумбы российских древностей» В. П. Козлов, «сумел объединить вокруг себя блестящую плеяду ученых, преимущественно историков, исследовательская деятельность которых по размаху и организационным формам не имела аналогий в предшествующее время. Разыскания в архивах, археологические раскопки, этнографические наблюдения, осуществленные в небывалом для того времени масштабе, увенчались великолепными изданиями нескольких десятков книг, созданием музея древностей»<sup>2</sup>.

Среди активных членов этого неофициального объединения, вошедшего в историю под названием Румянцевский кружок, были библиограф Ф. П. Аделунг, племянник немецкого филолога И. Х. Аделунга, служивший в российском Министерстве иностранных дел, и ученый-гуманитарий широкого профиля П. И. Кеппен, известный, в частности, как один из основателей Вольного общества любителей российской словесности.

Н. П. Румянцев, отметил В. П. Козлов, широко использовал связи Аделунга с западноевропейскими учеными<sup>3</sup>. В установлении контакта между Вуком Караджичем и «покровителем наук» Н. П. Румянцевым посредничество Копитара, с одной стороны, и Аделунга, с другой, очевидно. Что же касается другого участника Румянцевского кружка, П. И. Кеппена, известно, что он принимал Караджича в своем доме и тогда Вук оставил в альбоме Кеппена запись –

---

<sup>1</sup> Поповић М. Указ. соч. С. 129.

<sup>2</sup> Козлов В. П. Колумбы российских древностей. М., 1981. С. 4–5.

<sup>3</sup> Козлов В. П. Указ. соч. С. 25.

краткую автобиографию<sup>1</sup>. Перу Кеппена принадлежат, как полагают, первые опубликованные в России анонимные рецензии на Вуков словарь<sup>2</sup>. Впоследствии Кеппен участвовал в ходатайствах о назначении Караджичу российской пенсии.

Биографы Караджича отмечают, что пребывание Вука в России ознаменовалось началом нового для него дела – изучения памятников письменности и истории языка. Кроме побуждения со стороны Копитара, о чем известно из переписки, непосредственным импульсом к этому стало общение Вука с Н. П. Румянцевым и его соратниками в Петербурге и особенно в Москве, которая была в то время средоточием археографических разысканий и штудий. Московские сотрудники Румянцева, в частности К. Ф. Калайдович и П. М. Строев, ввели Караджича в книгохранилища и архивы и познакомили его с находящимися в Москве древнесербскими рукописями, что впоследствии нашло отражение в научных публикациях и других делах сербского филолога.

Установлению связей Вука с учеными и писателями, не принадлежавшими к Румянцевскому кружку, способствовали служащие Библейского общества – институции, посещение которой было одной из главных целей поездки Караджича. Энергичное содействие и помощь оказал Вуку, судя по многим данным, А. И. Тургенев. Однако участие этого человека в сношениях Караджича с жителями Петербурга и Москвы не освещено в биографической литературе достойным образом. Так, у Л. Стояновича в перечне петербургских знакомых Вука фамилия А. И. Тургенева стоит на последнем месте<sup>3</sup>, а М. Попович, подчеркнув заслуги Аделунга и Кеппена, вообще не упомянул имени Тургенева.

Александр Иванович Тургенев (1784–1845), сын И. П. Тургенева, занимавшего на рубеже XVIII и XIX вв. должность директора Московского университета, брат декабриста Николая Тургенева, воспитывался вместе с В. А. Жуковским в Благородном пансионе при Московском университете, а затем продолжил образование по «историко-политическим наукам» в Геттингенском университете. Выдвинувшись на службе при дворе Александра I, он во время пребывания Караджича в России заведовал департаментом духовных дел в двуедином Министерстве духовных дел и народного просвещения, которое возглавлял князь А. Н. Голицын.

Министр А. Н. Голицын был одновременно президентом Российского Библейского общества, главной целью которого было издание и распространение Библии на языках народов России и мира, а А. И. Турге-

---

<sup>1</sup> *Модзалевский Л. Б.* Неизданная автобиография В. С. Караджича // Научный бюллетень Ленинградского гос. университета. № 11–12. Л., 1946. С. 4–7.

<sup>2</sup> *Добрашиновић Г.* Петар Иванович Кепен и Вук // *Анали филолошког факултета*. Књ. IV. Београд, 1964. С. 123–125.

<sup>3</sup> *Стојановић Љ.* Указ. соч. С. 183.

нев – одним из двух секретарей Общества. Таким образом, знакомство прибывшего в Петербург для заключения договора на перевод Нового завета Вука Караджича с А. И. Тургеневым было предопределено самими служебными функциями последнего. Однако помимо этого существовали некоторые другие обстоятельства, которые предрасполагали Тургенева к встрече с гостем-сербом.

Еще в ранней молодости у А. И. Тургенева пробудился интерес к зарубежному славянству. В 1804 г., будучи студентом, он вместе с А. И. Кайсаровым совершил путешествие по землям западных и южных славян. В Сремских Карловцах друзья тепло принимали сербский митрополит С. Стратимирович и монах, впоследствии известный поэт-классицист Л. Мушицкий<sup>1</sup>. Кайсаров намеревался составить «Сравнительный словарь славянских наречий», но этому и другим его замыслам не суждено было исполниться: молодой ученый погиб в армии в 1813 г. на исходе Отечественной войны. На обратном пути из России в Вену, Вук писал Л. Мушицкому: «Из тех двух русских, что были когда-то в Карловцах, Кайсаров погиб под Лейпцигом, а Тургенев – действительный статский советник, камергер и директор департамента духовных дел у министра князя Голицына. Тургенев много расспрашивал меня о Вас...»<sup>2</sup>

А. И. Тургенев неформально, неказенно отнесся к Вуку. Это было обусловлено не только ожившими воспоминаниями о давних встречах с сербами. Сказались неординарные личностные качества Тургенева. Призванием этого высокопоставленного чиновника, что отмечено в многочисленных свидетельствах современников, была повседневная готовность к соучастию, роль ходатая или посредника между нуждающимися в помощи людьми (независимо от их социального статуса) и теми, кто мог оказать эту помощь. Стоит напомнить, что А. Пушкин был принят в Царскосельский лицей по ходатайству А. И. Тургенева, и тот же Тургенев по личному распоряжению Николая I сопровождал тело поэта к месту погребения.

В анонимном некрологе А. И. Тургенева говорилось, что он «способствовал успеху повсеместного по России сбора приношений в посольство греческим пришельцам, укрывавшимся в России от турецкого гонения... Карамзин, Дмитриев, Жуковский, кн. Вяземский были его друзьями... Участие его в трудах и судьбе Батюшкова, Пушкина, Козлова,

---

<sup>1</sup> В библиографическом словаре «Славяноведение в дореволюционной России» (М., 1979, с. 170) сказано, что Кайсаров и Тургенев встретились тогда и с Вуком Караджичем. Это ошибка.

<sup>2</sup> *Караџић В. С.* Писма. С. 40–41.

Баратынского и многих других было участием родного и покровительством друга»<sup>1</sup>.

Рельефный портрет личности А. И. Тургенева оставил в своих записках П. А. Вяземский. По его характеристике, Тургенев, «от природы человек мягкий, довольно легкомысленный и готовый ужиться с людьми и обстоятельствами»<sup>2</sup>, «дилетант по службе, науке и литературе»<sup>3</sup>, «принадлежал к либералам, желающим улучшений в гражданском быту, а не к либералам, желающим ниспровержения и революции во что бы то ни стало»<sup>4</sup>. «Но был один круг деятельности, – расширял личностный портрет Тургенева Вяземский, – в котором являлся он далеко не дилетантом, а пламенным виртуозом и неутомимым тружеником. Это – круг добра. Он не только делал добро по вызову, по просьбе: он отыскивал случаи помочь, обеспечить, устроить участь меньшей братии, где ни была бы она. Он был провидением забытых, а часто обстоятельствами и судьбою забытых чиновников, провидением сирых, бесприютных, беспомощных. [...] Русская литература, русские литераторы, нуждавшиеся в покровительстве, в поддержке, молодые новички, еще не успевшие проложить себе дорогу, всегда встречали в нем ходатая и умного руководителя. Он был, так сказать, долгое время посредником, агентом, по собственной воле уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах русской литературы при предержавших властях и образованном обществе. Одна эта заслуга, мало известная, ныне забытая, дает ему почетное место в литературе нашей, особенно когда вспомнишь, что он был другом Карамзина и Жуковского»<sup>5</sup>.

Отношения Тургенева с Карамзиным красочными штрихами очерчены в письмах Карамзина И. И. Дмитриеву: «Имея мало людей, пользуюсь услужливостью доброго А. И. Тургенева, который отправляет мои письма на почту»<sup>6</sup>; «Сидим дома одни, пока не явится добрый Тургенев или Жуковский»<sup>7</sup>; «Любезного Тургенева видим через день за своим чайным столиком»<sup>8</sup>; «Сердечно благодарю за стихи... Тургенев отнимал и даже крал их у меня, чтобы читать своим многочисленным друзьям»<sup>9</sup>.

---

<sup>1</sup> Журнал Министерства народного просвещения. 1846. Ч. 49, отдел VII. С. 21.

<sup>2</sup> *Вяземский П. А.* Стихотворения. Воспоминания. Записные книжки. М., 1988. С. 361.

<sup>3</sup> Там же. С. 363.

<sup>4</sup> Там же. С. 374–375.

<sup>5</sup> Там же. С. 365–366.

<sup>6</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб, 1866. С. 204–205.

<sup>7</sup> Там же. С. 214.

<sup>8</sup> Там же. С. 240.

<sup>9</sup> Там же. С. 344.



В уже цитированном послании Караджича Ернею Копитару от 26 марта 1819 г. вслед за сообщением о встрече с Румянцевым и Аделунгом Вук писал: «Я познакомился с Карамзиным (на днях обедал у него с Тургеневым...)»<sup>1</sup>, а позже в письме Мушицкому указал определенно, что на обед к Карамзину его отвел Тургенев<sup>2</sup>. У Карамзина Вук познакомился с «нынешним первым русским поэтом», по его определению, – В. А. Жуковским. Всего он виделся с Карамзиным четырежды, а с Жуковским дважды.

Не зная себе равных коммуникабельность и отзывчивость А. И. Тургенева создавала вокруг Вука атмосферу всеобщего благорасположения. Не исключено посредничество Тургенева и в представлении Караджича президенту Российской Академии А. С. Шишкову, у которого был свой резон привечать сербского лексикографа: Академия планировала подготовку сравнительного словаря славянских языков.

В Москву Караджич ехал с семью рекомендательными письмами. Четыре из них были написаны Тургеневым. Московское гостеприимство, размаху которого способствовали привезенные рекомендации, очаровало Вука, побудив прибегнуть при описании его жизни в старой столице к торжественному библеизму «ВО ЦАРСТВѢ СЛАВЫ МОЕЯ».

Все это не означает, что посещение Караджичем России было во всех отношениях успешным. Ему не удалось издать перевод Нового завета. Спротивление консервативного духовенства и политические распри в Петербурге, приведшие к отставке министра Голицына и к ликвидации Библейского общества, сорвали замыслы распространения Библии на современных языках<sup>3</sup>. Чиновники хотели потребовать от Вука возвращения аванса в 3000 рублей, но А. И. Тургенев сумел пресечь это намерение<sup>4</sup>. Это было последним его благодеянием Караджичу. После упразднения департамента духовных дел и роспуска Библейского общества А. И. Тургенев уехал за границу.

Сохранилось грандиозное по объему эпистолярное наследие Тургенева. Значительная часть его переписки опубликована, но еще возможны находки в архивах, которые прольют новый свет на историю межславянских отношений и связей, включая российские контакты Вука Караджича.

---

<sup>1</sup> Караџић В. С. Писма. С. 32.

<sup>2</sup> Там же. С. 53.

<sup>3</sup> Подробнее об этом см.: Гудков В. П. Из истории сербских переводов и изданий Нового завета // Роль библейских переводов в развитии литературных языков и культуры славян. Тезисы докладов международной научной конференции. М., 1999. С. 19–21.

<sup>4</sup> Стојановић Љ. Указ. соч. С. 609.

## ХРОНИКА

---

*К. В. Лифанов*

### **НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ПИТТСБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (США)**

С января по сентябрь 2002 г. я проходил научную стажировку в Питтсбургском университете (США) в рамках «Программы Фулбрайт», осуществляемой с 1946 г. и финансируемой в основном Конгрессом США. В настоящее время данная программа функционирует в 140 странах мира, в том числе и в России. Ею предполагаются два вида грантов, предоставляемых на конкурсной основе для проведения исследований или чтения лекций в одном из американских университетов, прежде всего в области гуманитарных и общественных наук. Я получил исследовательский грант для выполнения проекта «Специфический идиом, функционировавший в словацких публикациях в конце XIX – начале XX вв. в США». Место стажировки – г. Питтсбург – было выбрано потому, что именно в этом городе и в его окрестностях в конце XIX – начале XX вв. существовала наиболее многочисленная колония словацких иммигрантов. Кроме того, только в Питтсбургском университете, единственном из всех университетов США, реализуется «Программа по словакистике» (Slovak Studies Program), в рамках которой студенты изучают словацкий язык, а также литературу, историю и кинематографию Словакии. Директор этой программы, проф. М. Вотруба, курировал мою работу над данным проектом.

История словацкой письменности в США освещена исследователями, но она никогда не была специальным объектом внимания лингвистов. Между тем язык части словацко-американских публикаций представляет собой интересный феномен, возникновение которого было обусловлено целым рядом социолингвистических факторов. Этот идиом возник в результате взаимодействия восточнословацкого диалекта и словацкого литературного языка, которое объясняется тем, что большую часть словацких переселенцев в Америке составляли выходцы из Восточной Словакии. В Словакии же к концу XIX в. сложилась неблагоприятная ситуация для развития своего литературного языка вследствие «мадьяризаторской» политики властей, так что значительная часть словаков не владела словацким литературным языком. К тому же, восточнословацкий диалект существенно отличается от литературного языка, и его носители испытывали большие проблемы при восприятии последнего. В связи с этим неудивительно, что первые словацкие газеты в США «Американско-Словенске Новины» (выходили с 1886 г.) и «Сло-

вак в Америке» (выходят с 1889 г. вплоть до настоящего времени), а также первая книга, изданная словацкими иммигрантами, «Американский переводчик» (учебник английского языка для словаков), создавались на специфическом языке, который представлял собой конгломерат элементов словацкого литературного языка и восточнословацкого диалекта. Есть основания предполагать, что данный идиом был воспринят как естественный многими словаками, проживавшими в США, ибо даже лидеры словацких национальных организаций в этой стране не возражали против его кодификации.

Однако по мере того как формировалось национальное самосознание американских словаков, их отношение к данному идиому изменялось, так что он зачастую становился показателем политической ориентации соответствующей газеты. Так, обе вышеназванные газеты, на страницах которых отстаивались национальные интересы словаков, вскоре перешли на словацкий литературный язык. В то же время появился целый ряд других изданий, в которых использовался смешанный идиом, причем часть из них финансировалась венгерским правительством. После же отделения Словакии от Венгрии в 1918 г. словацкие газеты в США издавались уже только на словацком литературном языке.

Питтсбургский университет – это крупный центр университетского образования, библиотека которого входит в десятку богатейших библиотек в США. Мне были предоставлены все необходимые условия для выполнения проекта: отдельная комната для занятий непосредственно в библиотеке, компьютер с выходом в интернет, возможность прямо на месте распечатывать материалы с компьютера и ксерокопировать печатную продукцию, а также пользоваться всемирным каталогом книг и межбиблиотечным абонементом. Последнее оказалось особенно важным, так как газеты и другие публикации на интересовавшем меня идиоме не собирались и сохранились лишь их отдельные номера в разных библиотеках. Кроме того, мне удалось посетить библиотеку с коллекцией словацких книг, находящуюся в монастыре св. Кирилла и Мефодия в г. Денвилл (штат Пенсильвания), за что я благодарен моему куратору доктору М. Вотрубе.

В настоящее время собранный материал мною изучается и анализируется. Предполагается написание серии статей или монографии. Результаты исследований будут отражены в курсе истории словацкого литературного языка, а также – в более глобальном плане – могут быть использованы для решения различных проблем социолингвистики и общей теории литературного языка.

### **НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА В ГАРВАРДСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

Для любого слависта название одного из самых престижных западных университетов – Гарвардского (Кембридж, США) – в первую очередь связано с именем Романа Осиповича Якобсона. История славистики в Гарвардском университете насчитывает более ста лет; при этом особое место в ней занимает период пребывания здесь Р. Якобсона. Именно благодаря ему, его студентам и выпускникам сформировалось в своем нынешнем виде отделение славянских языков и литератур и была заложена прочная основа сравнительно-исторического изучения славянских языков (в первую очередь русского), а также научного исследования литератур славянских народов. Традиции Р. Якобсона в области языкознания были продолжены и развиты в работах Хеннинга Андерсена, Алана Тимберлейка, Гораца Ланта, Майкла Флаера, посвященных анализу ряда ключевых для сравнительной грамматики славянских языков проблем. Гарвардские славистические семинары и сегодня по праву считаются одними из наиболее престижных в среде ученых, работающих в области исторической и описательной грамматики славянских языков, истории и типологии славянских литературных языков.

Возможность воочию познакомиться с сегодняшним состоянием гарвардской славистики я получила благодаря гранту частного фонда, основанного Эуженом и Даймель Шкляр в целях поддержки украинистических исследований.

Украинистика в Гарвардском университете развивается в рамках славистики уже больше полувека. Преподавание украинского языка ведется здесь с 1939 г. Во времена Р. Якобсона в Гарварде работал известный украинский литературовед Дмитрий Чижевский, позже здесь читал лекции один из авторитетнейших специалистов в области истории украинского языка Юрий Шевелев. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в Гарвардском университете были созданы три украинистические кафедры: вначале истории, а затем литературы и языка. Сегодня эти кафедры занимают соответственно профессора Роман Шпорлюк, Григорий Грабович и Майкл Флаер. С 1970 г. функционируют еженедельные научные семинары, посвященные различным аспектам изучения украинской истории, языка и литературы, в рамках которых особое внимание уделяется сопоставительной проблематике. В этом году свой 30-летний юбилей отмечает Украинский научный институт, основанный в 1973 г. как своего рода координационный центр гарвардской и всей американской украинистики. Благодаря усилиям как собственно украинистов, так и славистов в целом Гарвардский украинский институт за короткий срок добился всемирного научного признания и сегодня явля-

ется одним из ведущих исследовательских центров в этой области. Официальным научным органом Института является журнал «Harvard Ukrainian Studies», который издается с 1977 г. и освещает целый комплекс проблем – филологических, исторических, политологических, философских, искусствоведческих и т. д., так или иначе связанных с Украиной.

Для исследователя, занимающегося историей украинского литературного языка, в Гарварде открываются особые возможности, что объясняется как доступом к уникальным материалам, хранящимся в одной из богатейших научных библиотек мира, так и представляющимся здесь случаем познакомиться с украинистическими работами западных исследователей, которые зачастую остаются неизвестными российским специалистам. Особо следует сказать о том, что все стипендиаты (включая меня) активно вовлекаются в научную жизнь института и славянского отделения в целом. Участие в проходивших регулярно научных семинарах (как украинистических, так и более широких славистических) задавало необходимый рабочий ритм и создавало уникальные возможности для общения с коллегами.

За более чем 30 лет существования украинистических семинаров их участниками стали практически все ведущие гарвардские слависты – специалисты в области славянской филологии, истории, философии и культуры, такие, как Р. Конквест, Н. Дэвис, А. Гейштор, Я. Исаевич, Д. Оболенский, Р. Пиккио, Б. Успенский, И. Рудницкий. В ходе осеннего семестра 2002 г. тематика семинарских выступлений включала самый широкий спектр проблем: от анализа характерных черт «суржика» как формы субстандарта и общей характеристики современной языковой ситуации на Украине (М. Флаер) до исследования этнической идентичности в Кубанском регионе (Б. Боек), от очерка истории евреев в Киеве начиная с середины XVIII в. (В. Хитерер) до представления взглядов русской эмиграции первой волны на советскую национальную политику (И. Торбаков). Интердисциплинарность подхода и широту охвата проблематики можно считать одной из характерных черт этих выступлений, что не умаляет солидной фактической и теоретической базы докладов, к какой бы сфере гуманистических исследований они ни относились.

В рамках семинаров в Украинском научном институте состоялось и мое выступление, посвященное проблемам билингвизма в истории украинского языка. Доклад был подготовлен в рамках более широкого проекта, который реализовывался в ходе всего моего пребывания в Гарвардском университете и затрагивал различные аспекты анализа социолингвистической ситуации на Украине. Это выступление основывалось на архивных материалах и литературных текстах первой половины

XIX в. с территории Правобережной Украины. Ряд уникальных материалов начала – середины XIX в. был обнаружен мною во время работы в Гарвардской научной библиотеке. Основное внимание в докладе было уделено рассмотрению ситуации полилингвизма как явления, характерного для всего коммуникативного сообщества в рассматриваемый период. Были исследованы характер и специфика взаимоотношений сосуществующих на Правобережье языков (русского, польского и украинского) в различных сферах коммуникации – от официально-деловой до сферы повседневного общения. Особое внимание было уделено явлению литературного польско-украинского билингвизма и возникающим в связи с этим проблемам языкового сознания и этнической самоидентификации в среде правобережной шляхты после разделов Речи Посполитой. Участие в дискуссии не только филологов, но также историков и антропологов сделало обсуждение доклада многоплановым и позволило очертить дальнейшие перспективы исследования и еще раз подтвердило эффективность междисциплинарного подхода к проблеме полилингвизма. Собранный мною в ходе работы в библиотеке Гарвардского университета ценный лингвистический материал, равно как и знакомство с новейшими теоретическими социолингвистическими трудами, создали солидную базу для продолжения исследований в области исторической социолингвистики, что представляется особенно важным ввиду того, что в настоящий момент такие работы на материале украинского языка фактически отсутствуют.

В связи с этим хотелось бы выразить особую благодарность за многочисленные консультации моим гарвардским коллегам, в частности, проф. Г. Грабовичу, который является одним из крупнейших специалистов по польско-украинским литературным связям в эпоху романтизма, а также проф. М. Флаеру, который занимается изучением функционирования украинского языка в связи с проблематикой его нормы, стиля и субстандарта.

Анализу языковой ситуации на Украине – на сей раз современной – были посвящены три другие мои выступления: в Колумбийском университете (Нью-Йорк), на конференции Американской ассоциации славистических исследований (Питтсбург) и на славистическом коллоквиуме в Гарварде (Кембридж). На основании статистических данных и собственно лингвистического анализа были исследованы основные черты государственной языковой политики на Украине, оценена степень ее эффективности в разных сферах коммуникации, затронуты проблемы билингвизма, языковой культуры и нормы. Особое внимание было уделено анализу функционирования украинского языка в такой новой коммуникативной области, как Интернет. Дискуссии, которые возникали

после каждого выступления, свидетельствовали об актуальности затронутой проблематики и об интересе к функционированию украинского языка в современных условиях.

Значительный интерес аудитории, будь то славистический коллоквиум в Гарварде или слушатели в Научном обществе им. Шевченко (Нью-Йорк), вызывала также информация о предпринимаемых в Московском университете усилиях по развитию украинистики как самостоятельной специализации. Благодаря поддержке Фонда кафедр украинистики кафедре славянской филологии МГУ были подарены все важнейшие гарвардские публикации по украинистике, в том числе серия «Библиотека древней украинской литературы» – уникальные репринтные издания памятников письменности разного времени.

Надеюсь, что этот первый опыт сотрудничества положит начало дальнейшему плодотворному взаимодействию московских и гарвардских славистов.

## БИБЛИОГРАФИЯ

---

### СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКОВ СТАТЕЙ «СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ» И «ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ»

В результате активизации научных исследований в области славянской филологии после лингвистической дискуссии 1950 года и развенчания вредоносного «нового учения о языке» было принято решение о публикации ученых записок кафедры славянской филологии МГУ. Под общим названием «Славянская филология» было выпущено 11 сборников, 12-ый сборник имел название – «Исследования по славянскому языкознанию». В этом продолжающемся издании печатались исследовательские работы лингвистов и литературоведов, славистов и русистов.

1. Славянская филология. Статьи и монографии. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна. [Вып. 1]. 1951. 134 стр.
2. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна. Вып. II. 1954 г. 188 стр.
3. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна. Вып. III. 1960. 174 стр.
4. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна и доц. Е. З. Цыбенко. Вып. IV. 1963. 296 стр.
5. Славянская филология. К пятому международному съезду славистов в Софии. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна, доц. Н. М. Шанского и доц. Е. З. Цыбенко. Вып. V. 1963. 494 стр.
6. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна и доц. Е. З. Цыбенко. Вып. VI. 1968. 216 стр.
7. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна и доц. Е. З. Цыбенко. Вып. VII. 1968. 187 стр.
8. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. проф. С. Б. Бернштейна и проф. Е. З. Цыбенко. Вып. VIII. 1973. 290 стр.
9. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. К. В. Горшковой и А. Г. Широковой. Вып. IX. 1973. 260 стр.
10. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. А. Г. Широковой и Е. З. Цыбенко. Вып. X. 1978. 134 стр.
11. Славянская филология. Сборник статей. Под ред. К. В. Горшковой и А. Г. Широковой. Вып. XI. 1979. 206 стр.
12. Исследования по славянскому языкознанию. Под ред. В. П. Гудкова. [Славянская филология. Вып. XII]. 1984. 176 стр.



## ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ

- Ананьева Н. Е.* Деклинационные типы субстантивов в одном периферийном польском говоре. X, 53–72; К вопросу о «неправильностях» в детской речи (на материале польского языка). [XII], 158–173.
- Арапова Н. С.* Замечания об образовании деминутивов от существительных с основами на \*ū. VII, 40–44.
- Арутюнова-Башинджагян Н. З.* Некоторые черты польской реалистической драматургии конца XIX – XX века (на материале творчества Т. Риттнера, В. Пежиньского, С. Жеромского, Я. Киселевского). IV, 228–270.
- Балакин А. М. М.* Горький в сербской литературной критике до первой мировой войны. III, 123–142; Максим Горький и сербская литература 30-х годов. VIII, 276–290.
- Бацулевский Я.* Мария Конопницкая о писателях – своих современниках. VIII, 158–177.
- Бернштейн С. Б.* О некоторых вопросах лингвистического картографирования. [I], 17–23; Труды И. В. Сталина по языкознанию и задачи кафедры славянских языков. [I], 3–8; Заметки по болгарской диалектологии. II, 68–75; Из истории македонского литературного языка. «Вардар» К. П. Мисиркова. III, 70–79; Очерки славянской морфологии (чередование согласных в именах на –а). VIII, 89–96.
- Бородич В. В.* К вопросу о значении аориста и имперфекта в старославянском языке. [I], 24–37; Об одной особенности болгарского глагола. II, 76–96; К вопросу о значении перфекта в болгарском языке. IV, 3–31; О категории определенности / неопределенности в старославянском языке. V, 162–202; О значении простого прошедшего времени в современном болгарском литературном языке. VI, 78–86.
- Бородич В. В., Новикова А. С.* Материалы о довидовых глагольных корреляциях в старославянском языке (каузатив – глагол вызванного состояния). IX, 102–125.
- Брагин Ю. А.* Гоголь в Сербии. III, 96–122.
- Васеко Е. Ф.* Приемы описания графики древнерусских памятников письменности в лингвистических исследованиях. IX, 25–40.
- Василенок С. И.* Адам Мицкевич и белорусская литература. [I], 124–134.
- Васильева В. Ф.* О видовых значениях отглагольных имен существительных (на материале чешского языка). VII, 24–39; Категория рода и существительные pluralia tantum в современном чешском языке. IX, 164–175; Дублетные падежные формы существительных женского рода типа kost в современном чешском языке. XI, 179–188; Прилагательные с приставками без- / бес- и bez- в русском и чешском языках (в плане эквивалентности). [XII], 81–90.

- Вендина Т. И.* К вопросу о результатах прогрессивной палатализации заднеязычных согласных (конкуренция суффиксов -ик(а) / -иц(а) в восточнославянских языках. IX, 41–61.
- Всеволодова М. В.* Синонимика некоторых временных конструкций в современном польском языке. V, 203–223.
- Галкина Н.* Послевоенная поэзия Франтишека Грубина. VI, 155–170.
- Галкина-Федорук Е. М.* Безличные предложения глагольного образования в древнерусском языке. V, 224–241.
- Гецова О. Г.* К вопросу о формах 3-го лица глагола в русских говорах. V, 105–131.
- Глаголев Н. А.* Формирование эстетических воззрений А. И. Герцена (30–40-е годы). V, 369–385.
- Гливинская В. Н.* Частотно стабильные и нестабильные предложно-префиксальные морфемы в болгарском языке в плане диахронии. XI, 88–111.
- Горикова К. В.* Соотношение вокализма и консонантизма в истории древнерусского языка. V, 40–53; О генезисе парного противопоставления твердых – мягких согласных в русском языке. IX, 83–91.
- Грозная З. П.* Из наблюдений над чешским глагольным словообразованием. IV, 118–141.
- Гудков В. П.* К вопросу о будущем времени в современном сербохорватском литературном языке. IV, 78–97; Вариантные формы творительного падежа III склонения в сербохорватском литературном языке. VII, 45–57; Из исторической фонетики сербохорватского языка (к истории [х] в воеводинских говорах). IX, 92–101; Из истории славяносербской лексикографии. «Целлариер Лексикон» в переложении для сербов (СПб., 1746 – Венеция, 1767). XI, 112–126.
- Гудков В. П., Новикова А. С., Широкова А. Г.* Славянское языкознание в Московском университете. [XII], 3–36.
- Державин Н. С. М. В. Ломоносов как филолог.* [I], 9–16.
- Железнова Р. В.* О происхождении суффикса -арь и путях его проникновения в праславянский и древнерусский языки. IX, 62–70.
- Зенчук В. Н.* Семантические особенности вопросительных предложений при наличии в них средств негации в современном сербохорватском языке. IX, 224–237; Семантика сложного предложения, содержащего элемент негации (на материале сербохорватского языка). XI, 127–139.
- Игнатов М. В.* От «устного портрета» к роману-исповеди. VIII, 214–227.
- Илюшина Л. А.* О синонимических однокорневых образованиях в списках одного памятника древнерусской письменности. XI, 67–74.
- Камынина А. А.* О формально-синтаксических признаках полупредикативных конструкций в русском языке. IX, 188–199; К вопросу о по-

- лупредикативности причастий в строе простого предложения. XI, 3–15.
- Карцева З. И.* Некоторые проблемы романа и тенденция к циклизации в новой болгарской прозе. X, 95–107.
- Качалкин А. Н.* Таможенные документы XVII в. как источник исторической лексикологии. IX, 18–24.
- Клобуков Е. В.* Структура русского глагольного слова и принципы морфемного членения. IX, 146–163; Об изучении падежных значений (к постановке проблемы). XI, 16–25.
- Кирпичникова Н. В.* К изучению грамматической природы бессоюзного сложного предложения в современном русском языке. IX, 200–206.
- Колташева И. Н., Хорев В. А.* Письма Юлиана Тувима. IV, 288–296.
- Кондакова Т. И.* Об именах существительных с суффиксом -тель в русском литературном языке XVIII в. V, 132–161.
- Кондрашов Н. А.* Очерк истории словацкой диалектологии. [I], 98–107; Категория личности имен существительных в словацком языке. II, 38–67; О формировании словацкого литературного языка. III, 3–26; Наблюдения над языком журнала «Словацкое обозрение» (фонетика и морфология). IV, 142–186.
- Константинова Т. И.* Функционирование качественных наречий, производных от прилагательных со значением цвета, в современном чешском языке. VIII, 16–40; О синтаксической мотивированности адвербиальных синтагм с адъективным определяемым членом. IX, 207–223; О функционально-семантической эквивалентности союзно-субстантивного и адвербиального «дополняющего детерминанта» в современном чешском языке. X, 28–52. См. *Степанова Т. И.*
- Копытянская Н. Ф.* Идеино-эстетическая борьба вокруг романа Ивана Ольбрахта «Никола Шугай, разбойник». VIII, 249–275.
- Котова Н. В.* Звуковая система говора района Горно Поле. IV, 32–63; Морфология существительных и прилагательных в говоре Горно Поле (юго-западная Болгария). VIII, 50–65; Фонологические типы морфем и морфемный анализ. [XII], 37–57.
- Котова Н. В., Янакиев М.* Сопоставление некоторых количественных характеристик славянских языков. VII, 58–77; Глоттометрический подход к вопросу о близости славянских языков. IX, 238–260; О многообразии морфем в славянских языках. X, 3–27; Морфема «демонстративное т» в истории болгарского языка (глоттометрическая характеристика). XI, 75–87.
- Кравцов Н. И.* Основные тенденции в развитии хорватской литературы конца XIX – начала XX века. VII, 78–117; Романтизм в славянских литературах и фольклор. VIII, 97–157.

- Кузнецова Р. Р.* О структуре повествования в романах Ярмилы Глазаровой. IV, 187–227; Художественные воплощения социальных проблем в романах-балладах Карела Нового в 30-х годах. VI, 87–114; Психологизм и гротеск в романе Веньямина Клички «Вот он – гражданин!». VIII, 228–248.
- Кулешов В. И.* Из истории русско-немецких литературных связей («Вестник Европы» Н. М. Карамзина и «Russische Miscellen» И. Г. Рихтера). V, 436–451.
- Кульпина В. Г.* Сопоставление грамматических категорий существительных и личных местоимений. [XII], 67–80.
- Липатов А. В.* Первый польский роман (И. Красицкий. «Приключения Миколая Досвядчиньского», 1775). VII, 118–139.
- Лифанов К. В.* Формирование категории одушевленности в истории словацкого языка. [XII], 115–132.
- Лебедь С. А.* Видовое формообразование и внутриглагольное словообразование в сфере глаголов с заимствованной основой в чешском языке. [XII], 91–114.
- Ломтев Т. П.* Классы позиций согласных фонем в современном русском языке, различающиеся по соотношению релевантных и нерелевантных дифференциальных признаков. V, 5–39; Структура предложений с глаголами эмоционального содержания. IX, 176–187.
- Лунина М. В.* Грамматика нынешнего болгарского наречия Ю. И. Венелина. [I], 108–123.
- Марков Д. Ф.* Источник силы поэзии Христо Ясенова. [I], 38–59.
- Матюшенко Л. И.* К вопросу о художественном своеобразии наследия Герцена. V, 386–400.
- Машикова А. Г.* Роль сатирического характера в трилогии Марии Пуймановой. X, 122–134.
- Милославский И. Г.* Дистрибуция звуков старославянского языка. V, 54–68; Об изучении звуковых чередований. IX, 133–145.
- Михальская Н. П.* Литературно-критические взгляды Ивана Вазова. Вазов и русская литература. II, 97–131.
- Мусяенко С. Ф.* Творческий путь Вильгельма Маха. VIII, 200–213.
- Новикова А. С.* О соотношении форм определения имени в Саввиной книге. XI, 189–206. См. *Бородич В. В., Новикова А. С.*; см. *Гудков В. П., Новикова А. С., Широкова А. Г.*
- Павлович А. И.* Чешские национально-освободительные движения конца XVIII – начала XIX в. в изображении Алоиза Ирасека. [I], 60–97.
- Панов М. В.* О разграничении сегментных и суперсегментных единиц. [XII], 58–66.

- Петров С. Г.* Творческая история романа Ежи Анджеевского «Пепел и алмаз». IV, 271–287; Творчество Ежи Анджеевского до романа «Пепел и алмаз». VII, 140–154.
- Пирогова Н. К.* Акцентологические процессы в системе глаголов с тематическим -и. V, 85–104; Нулевая реализация фонем и фонетическая компенсация в истории русского языка. IX, 71–82; Об орфоэпических стилях и их эволюции в русском языке. XI, 26–38.
- Пипер П.* О конверсивных предложениях с квантификативами всеобщности в сербохорватском языке сопоставительно с русским. [XII], 147–157.
- Писарев А. А.* Проблема характера в романе И. Неверли «Под фригийской звездой». VI, 168–191.
- Посвянская А. С.* Место одиночного определения, выраженного относительным прилагательным, в польском языке. III, 45–69.
- Прохорова В. Н.* Слова с различными типами лексических значений в синонимических рядах – микросистемах русского языка. IX, 126–132; Тематические группы лексики русского языка и терминообразования. XI, 39–45.
- Плотникова О. С.* Видообразовательные модели в словенском литературном языке. XI, 140–154.
- Редькин В. А.* К ударению имен прилагательных с суффиксом -н. V, 69–84.
- Рябченко В. С.* Творческая эволюция Франтишка Швантнера (к проблеме развития реализма в словацкой прозе после 1945 г.). X, 108–121.
- Скорвид С. С.* Проблема аттракции и становление связей в именных сочетаниях (на материале древнечешского языка XIV–XV вв.). [XII], 133–146.
- Стахеев Б. Ф.* Поэзия народно-демократической Польши в борьбе за мир и социализм. II, 132–185.
- Степанова (Константинова) Т. И.* К вопросу о синтаксической функции наречий в современном чешском языке. III, 27–44.
- Соколов А. Н.* Литературный процесс и вопросы терминологии. V, 335–368.
- Сятковский С. И.* Неопределенно-личные предложения в современных славянских языках. V, 267–297.
- Тихомирова Т. С.* О творительном тавтологическом в русском языке. V, 242–266; Некоторые вопросы адвербиализации падежных форм (на материале современного польского литературного языка). VII, 3–23; Варьирование значения падежных конструкций в зависимости от числовой принадлежности падежной формы (творительный целостноразделительный в современном польском языке). VIII, 3–15; О нелично-мужских формах существительных мужского лица в современном польском языке. XI, 162–178.

- Усикова Р. П.* О настоящем времени глаголов совершенного вида в македонском литературном языке. IV, 64–77; Из наблюдений над языком Кирилла Пейчиновича (глагол в книге «Утешенье грешным»). VIII, 66–88; К вопросу о характере категории переходности / непереходности глаголов в македонском языке. XI, 155–161.
- Флекенштейн К.* О кальках с немецкого в современном русском литературном языке. V, 298–309.
- Хабургаев Г. А.* Основные диалектологические понятия в свете данных лингвистической географии (на материале русского языка). IX, 3–17; Заметки об источниках исторического изучения русского языка. XI, 46–59.
- Холонина З. М.* Послевоенная поэзия Юлиана Тувима (1946–1953 гг.). VI, 192–216; Первая публикация Ю. Тувима в советской печати (стихотворение «К простому человеку» и его русские переводы). VII, 171–187; К проблеме перевода поэтических произведений на близкородственные языки (словотворческая фантазия Ю. Тувима «Зелень» и ее русский перевод Л. Мартынова). VIII, 178–199; Художественное своеобразие романов Тадеуша Новака. X, 84–94.
- Хорев В. А.* См. *Колташева И. Н., Хорев В. А.*
- Цыбенко Е. З.* Элиза Ожешко и Болеслав Прус в современной им русской критике. III, 80–95; Элиза Ожешко и русская литература. V, 401–435; Роман Болеслава Пруса «Кукла». VI, 115–167.
- Чудаков А. П.* Об эволюции стиля прозы Чехова. V, 310–334.
- Шимчук Э. Г.* К определению тождества формы слова в исторической лексикологии и лексикографии. XI, 60–66.
- Шмелькова И. А.* Повесть С. Чеха «Новое эпохальное путешествие пана Броучека на этот раз в XV столетие». III, 143–174.
- Широкова А. Г.* К вопросу о различии между чешским литературным языком и народно-разговорной речью. II, 3–37; Об употреблении глаголов совершенного вида для обозначения многократного действия в чешском языке. IV, 98–117; Возникновение и развитие маркированных многократных глаголов в истории чешского языка. VI, 3–77; Наблюдения над употреблением многократных глаголов второй степени в чешском языке. VIII, 41–49. См. *Гудков В. П., Новицова А. С., Широкова А. Г.*
- Штудинер М. А.* О фонологических последствиях монофтонгизации дифтонгических сочетаний в праславянском языке. X, 73–83.
- Якименко Л. Г.* «Поднятая целина» М. А. Шолохова и некоторые проблемы современного романа. V, 452–494.
- Янакиев М.* см. *Котова Н. В., Янакиев М.*

*перечень составлен Д. А. Николаевой*

*Научное издание*

**Славянский вестник**

**Выпуск 1**

Под редакцией В. П. Гудкова и А. Г. Машковой

Зав. редакционно-издательским отделом  
филологического факультета МГУ *Е. Г. Домогацкая*  
edit@philol.msu.ru

Компьютерная верстка: *Л. В. Ныклова*

Изд. лиц. № 040414 от 18.04.97 г.  
Подписано в печать 11.09.03. Формат 60 x 90 1/16.  
Бумага офс. № 1. Офсетная печать.  
Усл. печ. л. 16,5. Тираж 500 экз.  
Заказ

Ордена «Знак Почета»  
издательство Московского университета.  
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.

Типография ордена «Знак Почета»  
издательства Московского университета.  
119992, Москва, ул. Академика Хохлова, 11.